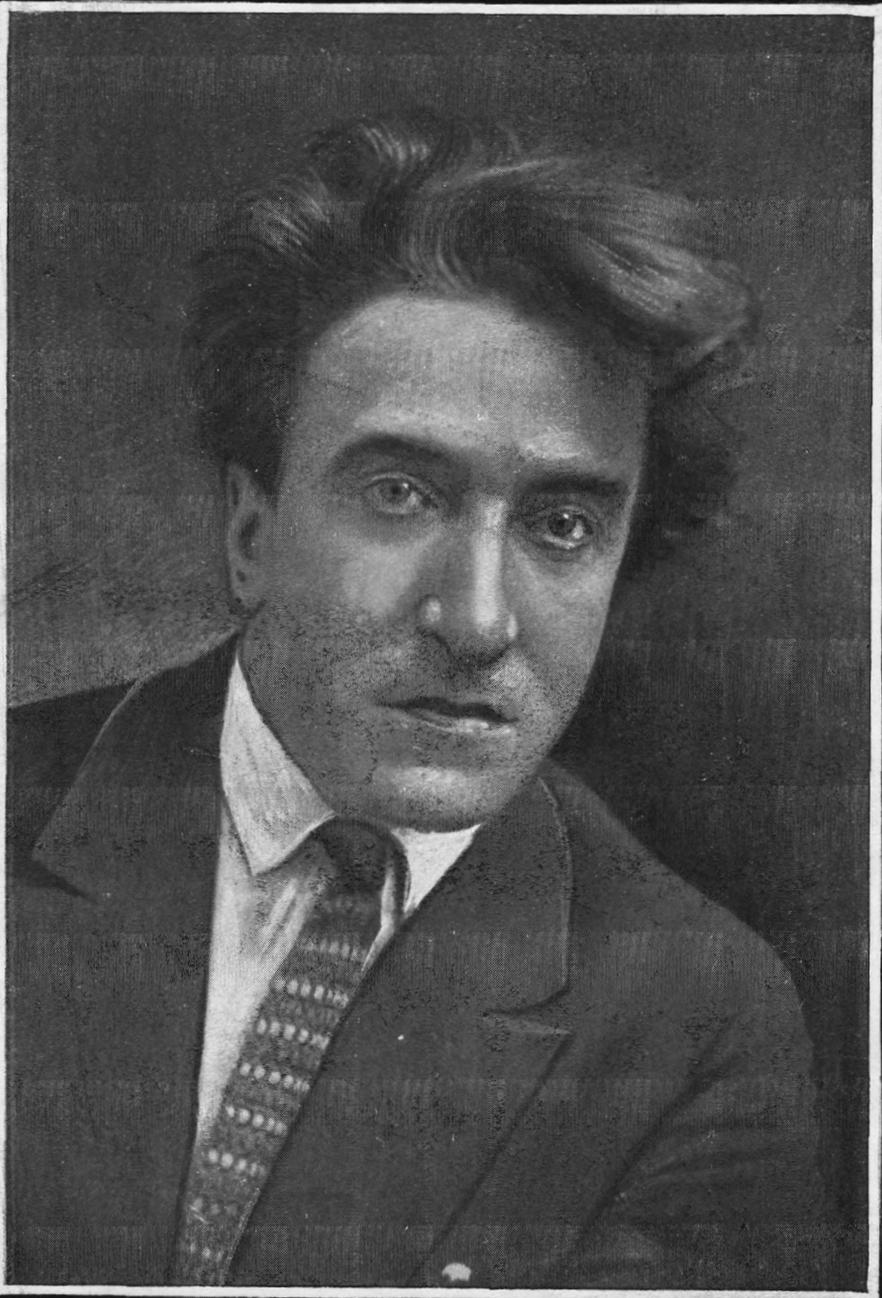


**НОВЫЙ
МИР**

3

1932



24 февраля 1932 года в гор. Магнитогорске скончался

**Вячеслав Павлович
ПОЛОНСКИЙ,**

редактор „Нового мира“ в годы 1925—1931.

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Т Р Е Т Ь Я

М А Р Т

М О С К В А

1 • 9 • 3 • 2

СТАТ — Формат Б/5 176 × 250.

Уполн. Глав. В 20847.Об'єм 18 печ. лист. по 64.000 знаков. Техн. ред. В. Белокопъ. Зак. 1598

Тип. им. тов. И. И. Ожворцова-Степанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
1. Мариэтта ШАГИНЯН. — Наследство Гете	5
2. М. ШОЛОХОВ. — Поднятая целина, роман, продолжение	20
3. Бор. ПАСТЕРНАК. — Весеннею порою льда, стихи	44
4. Федор ГЛАДКОВ. — Энергия, роман, продолжение	46
5. Бор. ПИЛЬНЯК. — О'кей, американский роман	86
6. И. БАБЕЛЬ. — Аргамак, рассказ	125
7. В. КИРИЛОВ. — Открытое письмо, стихи	128
8. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. — Эскадра идет дальше, повесть	130
9. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. — Устный счет, рассказ	160
10. В. КОЛОКОЛКИН. — О второй пятилетке, статья первая	179
ЗА РУБЕЖОМ:	
11. А. ГАРРИ. — Паника на Олимпе	192
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
12. А. ЕФРЕМИН. — С. Сергеев-Ценский (к 30-летию литературной деятельности).	203

Наследство Гете

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

I

Клопшток называл Гете «ein gewaltiger Nehmer» — замечательное и непередаваемое выражение; смысл его — человек, который здорово, во-всю умеет брать. Умение брать — огромное искусство, признак гения, если речь идет о единичном человеке; признак роста, если речь идет о целой общественной формации. Нам нужно учиться искусству брать. Мы еще очень плохо берем. Несмотря на то, что во всех наших школах сверху донизу, от пионера до научного работника, усваивается начальная азбука марксизма, о трех великих наследствах, полученных Марксом, — «французском утопизме, английской классической политэкономии и немецком идеализме», все же, зазубривая эту азбуку, мы как-то мало беспокоимся о собственных наследствах и даже забываем их во-время востребовать.

Такое неумение получить наследство, принадлежащее нам по праву, обнаружили мы и в отношении Гете. Юбилейная литература, базировавшаяся у нас почти целиком на изгестной характеристике Энгельса, ошибочно приписанной Марксу¹⁾, отнеслась к этой характеристике формально и вывод сделала из нее крайне простецкий: молодого «бунтующего» Гете взять, как явление прогрессивное; старого и зрелого Гете, как веймарского чиновника, отсесть за реакционность. Если б Маркс в свое время с подобным мерилom подошел к Гегелю, «Капитал» не был бы написан, а геге-

левская диалектика не была бы поставлена с головы на ноги.

В характеристике Энгельса, о которой мы будем говорить ниже, есть между тем замечательная путеводная нить. Следуя за этой нитью, мы можем подойти к явлению Гете с наиболее плодотворной для нас стороны и взять у Гете то, что имеет будущее, перекликается с будущим, включается в будущее: *элементы новой, чрезвычайно нам близкой теории познания.*

Эта путеводная нить дана у Энгельса в двух основных наметках: во-первых, в указании на деятельную сторону природы Гете, противоположной природе Шиллера: «его темперамент, его силы, все направление его духа толкали его к практической жизни», и во-вторых, в несколько даже презрительном отношении к тогдашнему либерализму и романтизму, представители которых — Берне и Менцель — нападали на Гете, а Энгельс и Маркс защищали Гете от этих нападков: «Мы не упрекаем Гете à la Берне и Менцель в том, что он не был либерален, а в том, что он мог быть по временам также и филистером».

Иначе сказать, Энгельс, а с ним вместе и Маркс отводят в Гете не те стороны, которые влекли его к практике (и прежде всего, разумеется, к практике веймарского периода, ибо до Веймара молодой Гете учился и писал стихи, а «практическую деятельность» начал лишь ступив на почву Веймара), а лишь то филистерство, примиренчество, уступку «дрянности», тот компромисс с действительностью, какими у Гете была куплена его работа в этой

¹⁾ См. том V собрания сочинений Маркса и Энгельса

действительности и какие отнюдь не уничтожили и не могли уничтожить огромного значения практической деятельности Гете в деле оформления его, как художника и мыслителя.

В дальнейшем я буду исходить как раз из этих наметок Энгельса, имеющих решающее значение для правильного подхода к Гете. Пусть и читатель запомнит для начала то резкое противопоставление практика Гете идеалисту Шиллеру (в лице которого идеализм очень показательно срачивается с либерализмом), которое завещал нам в своей характеристике Энгельс. Но прежде всего перед читателем должна быть целиком самая эта характеристика.

Цитированная у нас по Мерингу, она вошла в пятый том собрания Маркса и Энгельса (где, между прочим, разъясняется и недоразумение, по которому ее приписывали Марксу). Привожу ее почти полностью:

«У Гете наблюдается двойное отношение к современному ему немецкому обществу. То он враждебен этому обществу, пытаясь убежать от того, что противно ему, как в Ифигении и вообще во время итальянского путешествия, бунтует против него, как Гецц, Прометей и Фауст, едко издевается над ним, как Мефистофель; то наоборот: дружески относится к нему, приспосаблиется к нему, как в большинстве «Смирных Ксений» (Zahme Xenien) и во многих прозаических сочинениях, прославляет его (как в «Маскарадном шествии»), защищает его против надвигающегося исторического движения, как, например, во всех сочинениях, где он говорит о Французской революции. Гете не просто признает отдельные стороны немецкой жизни в противоположность другим, которые ему неприятны. Чаще это — различные настроения, в которых он находится; это — непрерывная борьба в нем между гениальным поэтом, которому противна дряньность (misère) окружающей его обстановки, и между осмотрительным сыном франкфуртского ратмана или веймарским министром, который вынужден заключить с ней перемирие и привыкнуть к ней. Поэтому Гете то колоссален, то мелок, то гордый, издающийся и презирающий мир ге-

ний, то осторожный, самодовольный, узкий филистер. И Гете не был в состоянии победить немецкую дряньность, наоборот, она побеждает его. И эта победа дряньности над величайшим немцем является лучшим доказательством того, что она (дряньность) вообще не может быть преодолена «изнутри». Гете был слишком универсален, слишком активной, плотской натурой, чтобы подобно Шиллеру искать спасения от дряньности бегством в кантовский идеализм, у него был слишком зоркий взгляд, чтобы не понять, что бегство это сводится в конце-концов к замене плотской дряньности дряньностью трансцендентной (überschwänglich). Его темперамент, его силы, все направление его духа толкали его к практической жизни, а практическая жизнь, которую он видел перед собой, была дряньна. Перед этой дилеммой, *перед необходимостью существовать в жизненной сфере, которую он не мог не презирать, будучи в то же время прикован к ней, как к единственной сфере, в которой он мог действовать*¹⁾ — перед этой дилеммой Гете стоял постоянно, и чем старше он становился, тем больше могучий поэт уступал место незначительному веймарскому министру. Мы не упрекаем Гете à la Берне и Менцель в том, что он не был либерален, а в том, что он мог быть по временам также и филистером; мы упрекаем его не за отсутствие энтузиазма к немецкой свободе, а за то, что он, в то время, когда Наполеон чистил великие немецкие Авгиевы конюшни, мог торжественно и серьезно заниматься ничтожнейшими делами и menus plaisirs (программой развлечений) одного из ничтожнейших немецких дворов».

Эта характеристика дана Энгельсом не по прямому поводу, он написал ее не в специальной работе о Гете. Энгельс высказал ее в разборе бездарной книги Грюна о Гете, напечатанном как библиографическая рецензия в Немецкой Брюссельской газете.²⁾

Что она значит в переводе на язык исторической действительности? Како-

¹⁾ Курсив мой.

²⁾ Карл Грюн. О Гете с человеческой точки зрения.

ва была эпоха, в которую выступил Гете?

Эпоха, предшествовавшая зарождению величайшей философии нашего времени, марксизма, была последним, кульминационным этапом метафизики, пропитавшей не только мышление, но и прикладные, житейские его формы, представлявшие собою типичный дуализм существования человека в *двух мирах* — «этом», гнусном, кажущемся, нереальном, презираемом, и «том», верхнем, идеальном, несбыточном мире человеческой проекции. Как и все кульминации, эта эпоха последнего ярчайшего расцвета метафизики неминуемо несла в себе и зерна собственной гибели, обострение тех противоречий, которые впоследствии стали предпосылками нового мировоззрения. Историческая действительность, подготовившая в Германии последний расцвет метафизики, изучена и описана у нас довольно тщательно; мы знаем мелкую раздробленность тогдашней Германии; медленную смену мануфактуры капиталистическими формами хозяйства; самостоятельную роль городов; приниженное национальное чувство, питавшееся этим разобщением, отсутствием масштабов, необходимостью мелкого и расчетливого в общественном и личном быту и вытекавшей из нее потребностью апологетизировать мещанские стороны быта, с одной стороны; с другой же, потребностью бунта вообще, бунта в космических масштабах. Буржуазия еще не выросла до роли руководящего класса; пролетариат еще не осознал себя и не выступил на исторической сцене; крестьянство в Германии было поработщено так, что самые консервативные круги неизбежно приходили к необходимости «облегчить ярмо», чтоб не подрубить под собой сук и не оказаться перед полным обнищанием класса-кормильца. В этих условиях самым дешевым и самым легким видом общественной реакции было *бегство в идеализм* (в проекцию иного, потустороннего мира) и *бунт в космическом масштабе*, который в последнем счете видит несчастье и несвободу человеческой личности не в реальных условиях того общественного строя, где данная личность должна жить и действовать, а в вечных причи-

нах рокового противоречия между личностью вообще и обществом вообще, между идеалом и данностью, идеалом и действительностью. Иначе сказать, как уход в трансцендентное, так и бунт против общества были явлениями глубочайшим образом идеалистическими крайними порождениями метафизики, крайним вывихом, до которого дошел человек в своем понимании мышления и бытия, как абстрактных отдельных форм. Преломлением того и другого в области общественно-политической, своего рода условною монетой хождения идеализма, котировки идеализма в обществе, была та форма всеобщего (и особенно возрастного — у молодежи) сочувствия к «бунту вообще», которую мы сейчас, да и тогда, называем либерализмом. Основной качественный показатель либерализма (химически точно определяющий его происхождение от идеализма и метафизики) заключается в том, что либерализм *не конкретен*. Он не переходит в революцию, не имеет содержания, не имеет образа действий, — он передвигается в том плане над-исторических эмоций, которые в исторической действительности могут ужиться с любой практикой, и прежде всего с практикой по линии наименьшего сопротивления. Одну величайшую закладку дает нашей психике молот ленинизма, если мы подставим нашу мысль и наши чувства под длительное воздействие этого молота: *ненависть* к либерализму, ко всем видам и формам либерализма, ненависть к нему, как к рептилии, к ползучему гаду, худшему, нежели любой гад реакционности, ибо в реакционности есть конкретное, в либерализме его нет. Кто пропитался наследством Ленина, кто через него подошел к Марксу и Энгельсу, как к родным истокам, и увидел в этих истоках ту же иронию, тот же блеск сарказма, ту же беспощадную ненависть к пустоте либерализма, — тот не может не прочесть вышеприведенную характеристику Энгельса зрячими глазами ленинца и не может не увидеть в ней, что Энгельс ни на пятак не ценит дешевый либерализм Берне и Менцеля («à la...»), ни на пятак не ценит бегство в идеализм Шиллера, считает положительной стороной Гете именно то, что он не

был ни идеалистом, ни либералом, ни другою дешевой разновидностью людей метафизических, так или иначе ушедших от работы над конкретной действительностью, а ставит ему другое в вину. Он ставит ему в вину то, что Маркс ставил в вину классической политэкономии: так называемое сползание в апологетику. Он как бы говорит Гете: ты должен был *действовать*, потому что обладал натурой действенной, а не страдательной, созерцательной, мечтательной натурой поэта, и это — твой великий плюс, твое отличие от всех других собратьев, твоя особенность, за которую я и назвал тебя *величайшим немцем*, а не только «величайшим немецким поэтом или писателем»; ты должен был действовать в *данной жизненной сфере*, ибо другой для тебя не было, ты был прикован к ней во времени и пространстве, и это было твоей исторической судьбой; ты должен был *принять* эту жизненную сферу и *войти в нее*, поскольку она была единственной, в которой ты мог действовать, и в этом было твое несчастье, несчастье крупнейшего творца, — и не за это несчастье я осуждаю тебя; но ты не только вошел и принял, а ты пытался, — для того ли, чтоб облегчить себе жизнь морально, оправдать себя в собственных глазах, для того ли, чтоб облегчить себе материальное течение жизни, завоевав полное доверие политических хозяев страны, — ты пытался неоднократно *апологетизировать* эту жизненную сферу, сравнивать убогий и мелкий быт немецкого двора с наилучшей средой для произрастания культуры, для роста гения, кадить ему, потакать его мизерным забавам, унижаться до роли прислужника, — вот за эту апологетику я и не могу не осудить тебя, и в ней я вижу твою гибель.

Можно ли делать отсюда вывод, что пребывание на стадии «космического бунта», то легкое и дешевое, потому что оно всегда стоило и будет стоит человеку дешево, направленное не на живых врагов и не вызывающее никакой серьезной исторической мести, блестящее молодое бунтарство Гете в компании других, менее одаренных людей, типа Ленца и Клингера, пребывание на этой стадии превратило бы для нас Ге-

те в более нужного и ценного, нежели тот Гете, каким он стал после Веймара? И более того, неужели произведение эпохи этого периода, безвыходный Вертер, безвыходный Гец, добродушное безбожие, абстрактный пафос свободолюбия, — ценнее и питательнее для пролетариата, нежели гимн труду и коллективу в «Фаусте», гимн непрерывному возделыванию природы в «Мейстере», разящее безбожие венецианских эпиграмм; выношенные в неизмеримой глубине опыта, ставшего у Гете мышлением, зачатки новой теории познания, о которой ниже, отложившиеся во всех позднейших трудах Гете; наконец, стихийный диалектический материализм, о котором Энгельс писал в 1843 году¹⁾: «... то, что Гете мог выразить лишь непосредственно, то-есть в известном смысле «пророчески», развито и доказано в новейшей немецкой философии», — неужели все это представляет для нас меньшую ценность?

Да разве можно хоть на секунду сомневаться в ответе! А между тем мы имеем, говоря без особой деликатности, прямо позорную литературу о Гете, мы не подготовили ко дню юбилея даже приблизительного (на-глаз) ключа к нему, ограничились той абстрактной внешностью, за которой скрывается, в конце-концов, только незнание, только перетаскивание пустой посуды, принятой из вторых рук.

Вернемся к Гете.

Апологетизм классической политэкономии не помешал Марксу взять из нее гениальное ядро, учение о прибавочной стоимости, которое в конце-концов и убивает, по самой сути своей, всякую апологетику капитала. Точно так же апологетичность гетеанского наследства не должна мешать нам взять из него гениальное ядро новой теории познания, того учения о практике, в котором действие, дело входит нерасторжимо в акт познания (а так как нет дела вообще, есть лишь конкретное дело, то тем самым конкретизируется и наука о мышлении, гносеология), — то-

¹⁾ Статья «Положение в Англии».

го учения о практике, которое только сейчас, в свете ленинизма, начинаем мы понимать во всей его революционной глубине. Чтоб выслушать у Гете это учение из апологетической скорлупы, мы должны сделать два предварительных «установочных» дела: четко наметить, в чем и как проявляется апологетика действительности в самом творчестве Гете; и не менее отчетливо разобрать, на что именно претендуют наши враги в наследии Гете и как именно они его захватывают и используют. Лишь после такой предварительной расчистки сумеем мы плодотворно подойти к своей части гетеанского наследства.

II

«Нужно остерегаться того таланта, который не имеешь надежды доразвить (auszuüben) до полного его совершенства»¹⁾.

Почему? Потому что силы одаренного человека, не упражняемые организованно, вырвутся в другом месте; несчастный, сумасшедший, чудаковатый, преступный человек — это все формы саморазрушения невыявленного таланта. Вот типичная гетевская концепция одаренности, необходимейшим спутником которой он считает организованность.

В свете такого самоощущения (возникшего у Гете очень рано, с детства) понятным становится постоянное стремление Гете: во-первых, избежать среды, направляющей его силы на саморазрушение, во-вторых, найти среду, способную дать его силам организованное развитие. Отсюда разрыв с Лили Шенеман, отрицательный рефлекс на Лейпциг и Страсбург за то, что они развязывают его силы впустую, в гениальничанье, хотя бы и эпохальное, вместо конкретной их организации; отсюда и отъезд в Веймар.

Но необходимость доразвить свой талант до полного совершенства приводит Гете к апологетике той среды, которая дала ему возможность организованного самовыявления. Он проявляет эту апологетику внешне: в усвоении

придворного церемониального существования человека, все время общающегося с иерархически вышележащими классами; в усвоении той почтительности и благообразия стиля, которые иногда проскальзывают в его писаньях, давая им особую интонацию, интонацию бюргера во дворянстве, дорожащего честью этого приобретенного дворянства; подобные элементы внешне возникшего стиля есть и у Бальзака. При чтении Гете они всякий раз вызывают глубочайшую досаду. Для определения элементов этого стиля на русском языке есть замечательное слово: «верноподданничество». Но Гете проявляет это верноподданничество иногда не только в налетах стиля, но и в деформации, в безобразящем искажении своей тематики, там, где глубоколежащий опыт Гете, диалектически проявляемый в законе отрицания (Entsagung), вдруг начинает из принципа вечного движения, из принципа вечного самосовершенствования и самовосполнения превращаться в метафизически-неподвижное, христианское смирение и требование каждому сидеть, где он сел, довольствоваться тем, что есть, — словом, из интеграла делается арифметикой простых чисел. Таковы две стороны той апологетики, к которой временами скатывается Гете. Назвав и определив их, мы легко можем отшелушить их от ядра гетеанства. Но для этого необходимо еще последнее действие распознавания, подведение частного под общее.

Значение и роль Гете в общемировом масштабе заключается в том, что стремление «развить себя до совершенства» гений Гете проявил не в согласии с общим метафизическим направлением эпохи, достигшим ко времени его жизни своей кульминации, — а в глубоком и радикальном разрыве с этим направлением, в разрыве с метафизикой. В лице Гете мы имеем человека, на много опередившего свой век. Вместо чудовищно одностороннего саморазвития в метафизическую сторону, при полном отрыве от действительности (путь Канта), вместо полного ухода в идеалистические проекции (путь Шиллера, романтиков, уто-

¹⁾ Слова Ярно: «Mann soll sich vor einem Talente hüten das man in Volkommenheit auszuüben nicht Hoffnung hat», — Wilhelm Meisters Lehrjahre, S. 273. Erste illustrierte Ausgabe

пистов), Гете резко соединил познавательную функцию с общественной, поставив конкретную деятельность во главу угла своей жизни. Он ненавидел метафизику и воевал с нею во всех ее проявлениях — в схематизме тогдашнего естествознания, в спекулятивной философии, в католических умственных пряностях, в наивных и несокрушимых догматах морали, наконец, в последней ее маске, еще не разоблаченной, в маске механицизма, механической физики, механистического понимания природы у Гольбаха (именно последнее оттолкнуло Гете от великих освободительных идей французских энциклопедистов). Опережая свой век, стихийно стремясь к диалектике, Гете встает перед нами, как памятник сокрушительного удара по метафизике. Учась всю жизнь технике определенных «ремесл», к которым он относил прикладные знания, воспитывая руку наравне с глазом и прочими органами, еще на заре жизни, в письме к Гердеру, резко заявив: «всякий художник — ничто, покуда руки его не работают пластически» (1772 г.), — Гете, этот единственный конкретный человек своего времени, тем не менее остро сокрушался в зрелые годы, что не обладал ни одним точным ремеслом, то-есть не был, как нынче мы бы сказали, строгим специалистом¹⁾. Таков был его путь и такова его требовательность к себе.

Что же представляет собою разобранный выше апологетизм Гете? Он представляет не что иное, как срывы на этом пути, метафизические идиосинкразии, возвратные формы метафизического агавизма. Не изжитый вполне метафизический дух эпохи, как не изжиты были мифологемы уже ставшей иронией античной религии для Эврипида, — мстил за себя сохранением своей формы, своих «остаточных возбуждений» в самой слабой сфере Гете, политической. Вынужденный смириться, он апологетизирует, — это значит, он из-

меняет диалектике в области социальных отношений, позволяет себе метафизическое допущение незыблемости сквернейшего и ничтожнейшего вида монархии, незыблемости иерархий, сословных разделений, — и отсюда та философия благоговения (Ehrfürcht), которую проповедуют воспитатели его педагогических провинций в «Мейстере».

Нет нужды нам говорить здесь, что метафизическим пленением Гете обязан был в этой области рамкам классовой ограниченности и своеобразному историческому комплексу тогдашней дворянско-бюргерской Германии.

Спросим себя теперь, что же именно берут у Гете его официальные наследники, а наши классовые враги — фашисты и буржуазия во всех ее группировках. На что претендует в наследстве Гете современная Германия?

Не малую роль в деле идеологического оформления фашизма сыграл известнейший германский филолог, создатель теории «арийского мирозерцания», гегелец и юдофоб, Хоустон Чемберлен. Его огромный труд о Гете считается лучшим из сокровищ гегеляны, он глубоко продуман, блестяще изложен, всесторонне развит. Его не заслонили позднейшие работы ни Зиммеля, ни Гундольфа, и по степени популярности с ним могут сравниться лишь гегелянские работы антропософа Рудольфа Штейнера, вожака мелкой буржуазии и деклассированной интеллигенции Европы. Узнав совершенно точно, как именно и что именно берут у Гете Чемберлен и Штейнер, мы, следовательно, в общих чертах получим представление о том, как используется Гете фашизмом и стихией мелкой буржуазии.

На протяжении восьмисот пятидесяти одной страницы Чемберлен, этот образованнейший немец своего времени, ни единым словом не обмолвился о связи Гете с диалектикой, о диалектическом существе метода Гете. Более того, Чемберлен во всей книге (философском труде) только трижды и совершенно случайно упоминает о Гегеле, а в синхронических таблицах, приложенных к книге, где дается перечень всех современников Гете, даже таких, как сказочник Гримм, о Гегеле не упоминается вовсе, — неверо-

¹⁾ «Ich habe recht diese Zeit her zwei meiner Kapitalfehler, die mich mein ganzes Leben verfolgt und gepeinigt haben, entdecken Können. Einer ist, dass ich nie das Handwerk einer Sache, die ich treiben wollte oder sollte, lernen mochte». Zweiter Aufenthalt in Rom, 20 Juli 1787.

ятно, но факт! Ненависть Чемберлена к диалектике простирается до того, что он и вообще-то упоминает о ней в книге всего один раз — вдобавок с попыткой ее онемечить (*verdeutschen*), то есть лишить движения и сделать простой механической полярностью, — ровно столько же, сколько упоминает о глупости (*Dummheit*), тогда как о почитании высшего, благочестии (*Ehrfürcht*), на котором он строит весь свой труд, он дает развернутое определение, в десяти местах книги, по несколько страниц на каждое.

Эта внешняя справка достаточно говорит, с какой стороны Чемберлен берет Гете. Он берет его с метафизической стороны; а там, где живая стихия Гете чересчур противится такой операции, он ее попросту оскопляет. Но идеолог фашизма и должен был взять из Гете то, что так или иначе может служить укреплению империализма: идею типа (лишив ее движения и сделав из служебно-научной, гипотетической — метафизической и вечной); идею служения высшему (лишив ее движения и сделав из служебно-революционной, направленной к новым и новым формам совершенствования — неподвижно метафизической и авторитарной); идею коллективности (лишив ее движения и социальной сути и превратив в церковно-масонское, метафизическое понятие сообщества). Иначе сказать, Чемберлен выхолостил из Гете диалектику, Чемберлен после этой операции передал в руки читателя-немца оскопленное гетеанство в виде постоянно спящего, дремотного сгустка метафизики, как особого вида духовной гармонии.

А что взял у Гете Штейнер? Для этого надлежит в общих чертах вспомнить, что такое теософия и антропософия. Та и другая родились из тоски по согласованности, по синтезу, невозможному в условиях капитализма, раздираемого противоречиями. Там, где нет и не может быть синтеза, общество создает его искусственно. Искусственный синтез есть электизм, механический подбор всего ценного в истории мысли. Теософия и антропософия и есть две крупнейших системы электики. Если первая грубо материалистична и меха-

нистична, то вторая обладает большой эластичностью и тонкостью, благодаря своему пониманию диалектики. Нашу пав у мудрейших философов и ученых зерна диалектического подхода к природе, всегда результатного и практически плодотворного, потому что он соответствует самой природе, антропософы оторвали этот метод от исторических явлений, лишили его конкретности и сделали ключом-всеотмычкой.

Попробуйте спорить с антропософом, противопоставить ему свои взгляды, — он тотчас же вам скажет, что вы правы, что так оно и есть, но только он включит вашу правоту в порочный круг своей эклектики, где все мирно уживается и получает новое объяснение. Почему оно уживается, почему в антропософии разные истины друг друга не заклеивают, как не бьются рыбы в одной чашке, когда их выпотрошили? Да просто потому, что их лишили исторической конкретности. «Единство противоположностей» в конкретной истории есть жесточайшая борьба, движение, то же «единство противоположностей», как логическая форма, есть просто терпеливый мешок, который все сносит. Вернемся к главе антропософии, Рудольфу Штейнеру. Он берет наблюдения Гете над природой, выведенные из данного явления в данных условиях, и делает их из выводов исходными рецептами для построения законов природы; он произвольнейшим образом, пользуясь аналогиями, приблизительным сходством, сравнительным материалом всех наук, создает один выдуманный природный ряд за другим, и эти ряды, вычисленные, как логарифмические таблицы, радуют усталых интеллигентов Европы тем, что в них все хорошо сходится, в них можно играть в природу, как в карты, в них вообще можно играть. А что такое игра? Она есть, если можно так выразиться, бесцельная практика, практика, вынесенная за скобку исторического процесса. Если мы сейчас при помощи игры стараемся даже детей втянуть в социальную практику (сделать игру конкретной), то гибнущий капитализм силится взрослых людей увести от социальной практики при посредстве антропософской и теософской игры в надсоциаль-

ную, надысторическую жизнь. Эта игра увлекательна для усталого. Но она безжизненна, чтобы не сказать больше. И вождем этой мертвой, внутриобщинной практики антропософы делают Гете, величайшего врага всякой искусственности, всего изолированного и исторически безрезультатного!

Между тем именно в вопросе о практике все высказывания Гете отличаются совершенной ясностью и отчетливостью. Гете не признавал бесцельной практики, он не допускал существования внесоциальной практики: «Науки, рассматриваемые даже в их внутреннем кругу, разрабатываются под влиянием интересов данной минуты. Могучий импульс, в особенности исходящий от чего-нибудь нового и неслыханного или хотя бы мощно двинувшегося вперед, возбуждает общее участие, которое может длиться годами и которое стало очень плодотворным, особенно в последнее время», — вот замечательные слова Гете, сказанные в эпоху начала капитализма. Под ними могли бы подписаться Маркс и Энгельс. Но Гете знает, что не только жизнь стимулирует науки; самые науки неизбежно, в порядке ответа на стимул, должны обслуживать жизнь, должны, как мы сейчас проводим это у себя, стать в высоком смысле прикладными, стать общественной практикой человечества. Он говорит: «Только посредством повышенной практики должны бы науки воздействовать на внешний мир; собственно ведь все они эзотеричны (обращены внутрь себя) и могут стать экзотеричными (обращенными к внешнему миру) лишь улучшая какую-нибудь деятельность. Никакое иное участие ни к чему не ведет»¹⁾.

Это не только недвусмысленно, это — целое мировоззрение в двух словах: нет мышления вне практики, нет практики, не являющейся конкретной социальной практикой. А что делают Рудольф Штейнер и антропософия? Они «проявляют всякое иное участие», кроме социально-конкретного. Они не видят, что это «ни к чему не ведет». Иначе сказать, они метафизируют диалектику.

Мы видим, таким образом, что наиболее сильные претенденты в Германии на наследство Гете делают заявки как-раз на то, с чем нам надлежит бороться: на остатки метафизических идиосинкразий Гете.

Там же, где Гете выступает, как борец против метафизики, эти претенденты пытаются оскотить и обезвредить Гете, и в этом марксистская мысль должна дать им самый решительный отпор.

III.

В огромном наследстве Гете нас поражает одна удивительная вещь. Не будучи полностью диалектиком (хотя стихийно приближаясь к диалектике), Гете имел исключительную судьбу: он, как никто из мировых поэтов, послужил к созданию и укреплению диалектического метода. Чем послужил? Своей афористикой. Нельзя сказать, что сам Гете был в этом деле бессознателен. За одиннадцать лет до своей смерти в одном из писем он говорит: «Я почти и сам начинаю верить, что, быть может, одной поэзией удалось бы выразить такие тайны, которые в прозе обыкновенно кажутся абсурдом, потому что их можно выразить только в противоречиях, не приемлемых для человеческого рассудка»²⁾.

О каких тайнах здесь идет речь? Он пытается выразить их в прозе: «Противоположность крайностей, возникшая в некотором единстве, тем самым создает возможность синтеза». Как видите, формулировка закона единства противоположностей, составляющего по Ленину ядро диалектики; и в плане историческом: «Борьба старого, существующего, неизменного с развитием, разработкой и преобразованием всегда одна и та же. Из всякого порядка получается под конец педантизм: чтобы избавиться от последнего, разрушают

¹⁾ Перевод Лихтенштадта.

²⁾ Эта и последующие цитаты из Гете — в переводе Лихтенштадта.

первый... Классицизм и романтизм, цеховое принуждение и свобода промышленности, сохранение и дробление земельной собственности — это все один и тот же конфликт, порождающий в свою очередь новый конфликт». Эти «тайны», представляющие не что иное, как диалектический взгляд на развитие, Гете суждено было воплотить в глубоких стихотворных формулах, которые сослужили диалектике могучую службу. Ими щедро пользовался Гегель. К ним прибегали Маркс и Энгельс. Всякий раз, как нужно было дать образное определение закона единства противоположностей, отрицания отрицания, разрушить дуалистический взгляд на природу, ударить по метафизике, — страницы «Фауста», бесчисленные стихотворные наброски и инвективы раскрывают перед философом и политиком свои неисчерпаемые богатства. Отсюда совершенно особая, практическая, служебная роль Гете, как автора бесчисленных «цитат», пущенных в мировое обращение, организующих мысль и участвующих, как участвуют массовые лозунги в выработке и закреплении диалектического мировоззрения.

Спрашивается, откуда, на какой почве могла возникнуть у Гете эта афористика?

Гете умер, когда Марксу было всего четырнадцать лет. И Гете было уже под пятьдесят, когда выступил Гегель. Ни о каком влиянии творцов диалектики на Гете говорить не приходится; напротив, мы имеем свидетельства Гегеля о том, что как-раз Гете влиял на него и влиял очень сильно. Сложившийся, во многом высказавший себя до конца, уже стареющий Гете встретил появление молодого и начинающего Гегеля скорей отрицательно, потому что он не мог осилить абстрактного и запутанного языка Гегеля, не мог принудить себя читать его — и так оно осталось до самой смерти Гете; между тем, как Гегель, приветствовавший учение о цвете (о красках) Гете именно за его диалектичность, пропитал свои творения цитатами из Гете.

Итак, откуда же Гете почерпнул свой диалектизм? Можно, конечно, объяс-

нить его влиянием Спинозы, которого Гете любил и изучал, и греков, которых Гете знал. Можно объяснить его и своеобразным влиянием Шекспира, давшего живую диалектику в развитии человеческих характеров своих драм. Но это было бы и неполным и недостаточным объяснением. Основным и решающим обстоятельством, раскрывшим перед Гете диалектичность всякого развития, является связь Гете с природой, при чем такая связь, в которой практические задачи и предшествовали научным. Можно смело сказать, что во всей истории литературы нет ни одного поэта, который проделал бы путь, выпавший на долю Гете. Он начал свой «роман с природой» как практик, окончил его как ученый, и в результате того и другого, практической и научной деятельности, и явились те гениальные наброски будущей теории познания, далеко опередившие свой век, о которых я уже упоминала выше.

Здесь я должна сказать, что в этом вопросе на долю Гете выпало наибольшее невнимание биографов и критиков и наибольшее осуждение со стороны современников и потомков. Все знают Гете, как «чиновника и министра», и все осуждают Гете за роль «чиновника и министра». Все... кроме самого Гете, который с благодарностью вспоминал под старость «давление обязанностей», помогшее дозреть лучшим его поэтическим творениям.

Дело в том, что современники видели только мундир чиновника и ордена министра, то-есть символы поглощения человека государством. Но современники не видели практики, которая за этим скрывалась, практики, имевшей в себе не только отрицательные, но и глубоко положительные черты, потому что Гете, участвуя в социальном делании своего века, тем самым участвовал в первых прогрессивных шагах молодой, тогда только еще нарождавшейся, буржуазии. Прогрессивное стремление молодого класса, выступавшего на историческую сцену, делало и социальную практику того времени насыщенной положительным содержанием и тем оптимизмом, той борьбой с застойными остатками феодализма, которые придавали

ей характер не только экономического, но и познавательного движения вперед. Такая практика не могла не обогатить Гете, не могла не дать ему многогранного опыта. Он учился на ней и вряд ли смог бы без нее дать вторую часть «Фауста» и «Вильгельма Мейстера».

Обратимся к фактам и проследим путь Гете-практика. В 1775 году, в расцвете поэтического дарования, уже как прославленный поэт, он принимает приглашение герцога Карла-Августа переселиться в Веймар. Там он находит ничтожное немецкое герцогство, столица которого, по словам м-м де Сталь, представляет собою не город и не деревню, а только большой дворец,—это значит, что все интересы и вся общественная жизнь сконцентрированы в этом герцогстве лишь при дворе. Нам оставил остроумное свидетельство о Веймаре того времени наш «путешественник», Карамзин. Он рассказывает, что по приезде в Веймар заслал слугу к Гете и получил ответ: «во дворце»; к Хердеру—тот же ответ; к Ленцу—тот же ответ, и т. д.

Привыкшему к большим, вступавшим в промышленное развитие университетским городам с их бурной общественной жизнью, к Страсбургу, Лейпцигу, Франкфурту, молодому Гете в Веймаре как будто нечего было делать. В первые месяцы он погружается в придворные празднества, выкидывает кучу сумасбродств, со стороны кажется, будто он потакает молодому герцогу в беспутстве и разбрасывании государственных средств, и этот образ действий обманывает даже самых близких друзей Гете, начинаются слухи о недостойном его поведении, остерегающие письма, охлаждение к нему. Но на историческом отдалении этот первый период пребывания в Веймаре предстает перед нами, как тактический прием Гете: подобной пассивности и самоотдачей он достигал двух вещей: во-первых, четко уясняет себе взаимоотношения и характеры веймарского двора, то-есть узнает человеческий материал, а во-вторых, умеет не навязать и не противопоставить обществу, с которым в дальнейшем ему придется срабатываться, никакого морального превосходства, что неизбежно вызвало бы к нему то скрытое недруже-

любие, какое победить трудней, чем открытое недовольство. Между тем, кутя и забавляясь, он одновременно втягивается через герцога в государственные дела. Уже в 1776 году, то-есть через год, Гете назначается тайным советником с обязанностью участвовать в государственных делах герцогства, а с 1783 года становится полновластным министром. Насколько ругали его в первые месяцы за безделье, настолько теперь и друзья и родные начинают ужасаться по новому поводу, ужасаться тем, что поэт стал чиновником. Одни видят в этом тщеславие, измену искусству, признаки карьеризма; другие предрекают смерть Гете, как художнику, поскольку он предпочел «низменные» житейские дела вершинам творчества. Гете обороняется от упреков с удивительным упорством и страстно кидается в практику; мало того, он даже не испытывает обычного профессионального страха быть позабытым при жизни, как писатель, когда уже спустя несколько лет окружающие начинают забывать в нем блестящего автора Гетца и Вертера, прославленного на всю Германию лирика.

Спрашивается, в чем же заключалась та работа, которую Гете взял на себя, и как он ее проводил? Правительственный аппарат состоял тогда из так называемых «комиссий», заседавших в месяц положенное число раз и решавших ведомственные дела; финансы понимались скорей как вопросы придворной казны, шедшей на обслуживание двора и аппарата; войско состояло всего из шестисот солдат, но даже их содержать было герцогству не в состоянии. Промышленные предприятия, из которых главными были рудники в Ильменау, потому что Веймару принадлежал богатый рудой и камнем Харц, эти предприятия были заброшены и стояли в запустении. Гете начал свой «план реконструкции» веймарского государства с подема тяжелой индустрии, то-есть сразу же поставил вопрос о восстановлении горного дела в Ильменау. Но он это начал не с налету и не по-казенному. Уже в 1777 году, ни слова не говоря ни герцогу, ни веймарским друзьям, под именем художника Вебера, тайком от всех, Гете уезжает в Харц, где он пешком обходит забро-

шенные разработки, спускается в шахты, беседует с населением, словом, конкретно знакомится со страной. Затем он вызывает крупного специалиста горного дела, составляет ответственную комиссию и едет с этой комиссией по заброшенным шахтам, обследуя, какие из них можно пустить в первую очередь. Несколько лет проходит в повышенной деятельности, для которой Гете сумел собрать и зажечь энтузиазмом лучших специалистов и государственных Веймара, при чем одновременно с административной работой и выступлениями в комиссиях, Гете успевает овладеть геологией и минералогией. Страсть к земле и камням с того времени становится одною из главных страстей всей его жизни и сопровождает Гете до самой смерти. В 1784 году, то-есть спустя тринадцать лет, вступает в работу первая шахта Ильнау,—тепмы, как видите, черепаши. На открытии Гете сам встречает рудокопов горячей речью и делает первый удар киркой. В дальнейшем он не забывает Ильменау, а продолжает ревливо и заботливо следить за ним. Когда мы в стотомном веймарском издании Гете открываем тома, посвященные минералогии и геологии, когда мы встречаем в «Вильгельме Мейстера» прозрения Гете о рудных ископаемых, мы должны прежде всего вспомнить об этом ударе киркой и об этой конкретной, неутомимой, проверенной на опыте социальной практике Гете, как восстановителя горного дела в Ильменау.

Одновременно с этим он работает в строительной комиссии, об'езжает страну, изучая дорожное дело, и приводит разрушенные дороги в порядок, а также прокладывает новые. Он сокращает маленькую армию и в то же время открывает для солдатских детей прилично-вязальную школу. Расширенные финансы страны он регулирует при помощи «жесткого бюджета». Он строит театр, поднимает на высоту университет в Иене, отдает много сил школьному делу и успевает при этом сам вести преподавание в художественной школе в качестве лектора по анатомии.

А в самом начале своего пребывания в Веймаре Гете проделал одинолично огромную работу по разбивке замечательного веймарского парка. Эта разбивка,

между прочим, была очень нелегким делом в условиях консервативного мелкобюргерского уклада,—приходилось затрагивать частнобюргерские интересы, нарушать налаженные городские привычки. Гете провел это дело планомерно, путем последовательных работ—осушки четырех прудов так называемого Штерна («Звезды» — незастроенного предместья Веймара), засыпки канав, освоения полученного пространства, при чем по рассадке и насаждению под руководством Гете работали два талантливейших садовника, Рейхерт и Скелл, а положено было в основу работ мастерство знаменитого Франциска Дессавиа,—так из заброшенного пустыря, незастроенного предместья был создан один из лучших парков во всей Германии. На этой работе Гете воспитал особое чувство природы, которое я могу лишь очень приблизительно назвать «чувством возделывания природы», чувством связи человека с природой, которое выражается в ее планомерной организации и которое является составною частью истории культуры. С тех самых пор у Гете, неплохого рисовальщика, появляется особый мотив «социального пейзажа», то-есть изображение местности, непременно оживленной тем или иным памятником человеческого труда—или мостом, или мельницей, или дорогами, особенно дорогами, Гете терпеть не мог бездорожья. В стихотворной надписи к одному из своих таких рисунков Гете так и пишет:

Здесь все, как видите, о странниках в
заботе. —

Ведь даже в полночь вы тропу найдете.

Иначе сказать, природа предстает перед Гете не как изолированная стихия, а как часть общественного комплекса. Когда мы читаем изумительные первые страницы «Сродства по выбору» или «Метаморфозу растений» в лесах научного редакционного багажа; когда нам по-школьному рассказывают, как Гете определил свой век, став одним из первых морфологов—эволюционистов и предшественников дарвинизма,—мы должны помнить, что до этих творческих вершин Гете дошел через практи-

ку разбивки парка, через конкретное общение с садовниками, через жизненный опыт возделывания природы.

Ясно, как много радости должен был испытать Гете в этих неусыпных, реальных, практических занятиях, в общении с наиболее деловыми, специально образованными людьми его времени. Но ясно также, что такая работа не могла даваться даром. Она требовала времени, внимания, двигательной энергии, непрерывной учебы, общения со специалистами на конкретном материале, знания этого материала,—словом, она должна была забирать всего Гете. Спрашивается, где был писатель Гете, что осталось от него, как от художника? На это есть только один ответ. Мы знаем, что Гете не только не погиб, но именно всем своим последующим полновесным творчеством, двумя Фаустами, двумя Вильгельмами Мейстерами, «Средством по выбору», «Правдой и вымыслом», Тассо, Ифигениями,—всем он обязан в огромной степени именно этой школе практики. Через нее он углубил в себе что сказать человечеству; через нее он усовершенствовал как сказать,—овладел диалектикой формы. Наполеон, величайший практик своего века и знаток человеческого материала, при первой встрече с Гете посмотрел на него и сказал: «*Vous êtes un homme!*» (вы—человек). Вряд ли бы эти слова могли быть сказаны Наполеоном кабинетному писателю, на лице которого неизбежно отражаются рассеянность, бездеятельность и беспомощность.

Итак, именно эта практика, поставившая Гете в непрерывное взаимодействие с природой, в преобразование и возделывание природы, научила его понимать законы диалектического развития, заложенные во всем живом. Она, кстати, и биографически научила Гете своим грузом, своим давлением обязанностей, своим ежедневным долгом,—тому простому диалектическому закону отдачи себя, чтоб получить себя с приращением, закону отрицания отрицания, которому следовал Гете и в личной жизни, называя его «*Entsagung*» (отречение для высшей формы самоосуществления, переключение личного в общественное) и которое он формулировал в этих стихах:

Und solange du das nicht hast,
Dieses «stirb und werde»,—
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.

(Пока ты не дойдешь до этого требования «умри и осуществись», ты останешься лишь унылым гостем на сумрачной земле).

Напомним опять, что эта деятельность Гете—практика, связанная с прогрессивными стремлениями молодой буржуазии. сковывалась рамками мелкого и ничтожного монархического строя, во всей его карикатурной затхлости и «дрянности». Гете не сумел возвыситься над политическим строем, не сумел научиться у тех самых производительных сил, которые пробуждал и освобождал в своей практике, более прогрессивным политическим взглядом, не сумел вступить в борьбу с системой, унижавшей и связывавшей его самого. Однако же это не уничтожает основного урока, данного Гете человечеству, и особенно нам, людям искусства: урока познания мира через социальную практику своего времени.

В конце «Вильгельма Мейстера» старый Гете говорит следующие замечательные слова:

«При распространении техники не о чем беспокоиться; она мало-помалу поднимет человечество над самим собою и подготовит для высшего разума, высшей воли чрезвычайно приспособленные органы... Распространение же искусства порождает копательство».

В этих словах, убийственных для нас, людей искусства, как бы уже нащупывается тот факт, что под техникой, делом коллективным, лежит производственное отношение, и поэтому техника, неизбежно ведущая к развитию производительных сил, в конечном счете всегда прогрессивна; а под искусством, кустарным делом одиночек, производственное отношение не лежит непосредственно, и потому оно обречено на отставание. Вывод отсюда только один, и он подтверждается внимательным изучением литературного наследия Гете: чтобы не породить «копательство», художник должен глубоко погрузиться в социальную практику своего времени.

IV

Что влекло Гете к практике?

Свыше ста лет ворохи комментариев пытались закрыть доступ к Гете для правильного ответа на этот вопрос. Свыше ста лет покойник держит живого за плечу, метафизика в той или иной маске не желает отдать диалектика Гете и дерется за него, особенно настойчиво дерётся за него под флагом неокантианства. Огромное литературное наследство Гете, как и все живое, разноречиво; до него не каждый имеет время и силы дойти самостоятельно; марксистских книг о Гете нет. Поэтому даже лучшие наши критики, даже такие страстные гетеанцы, как Лихтенштадт, неизбежно находились и находятся под гипнозом установившихся разработок, известных цитат и препарированных под определенным углом зрения отдельных высказываний Гете. Стараниями неокантианцев установлена незыблемая легенда о прививке Гете критицизма через Шиллера, о необычайной плодотворности и насущности дружбы Шиллера с Гете и о том, что после встречи с Шиллером «наивный» Гете впервые стал интересоваться гносеологией и понимать ее через соприкосновение с Кантом.

Правда, легенда построена на твердых высказываниях самого Гете. Но мы знаем, что высказываниям автобиографическим цена грош, поскольку их не подтверждает материальный субстрат, — дело человека. Задача марксистского гетеведения тщательно проработать, насколько и в чем помог или повредил Шиллер Гете, насколько и в чем понял, воспринял и претворил в дело Гете Канта, где кончается работа комментариев и где начинается историческая правда, — в целом для нас результаты такой работы, конечно, предreshены, но ее тщательное обоснование — труд многих лет, и не одного человека. Пока же с полной определенностью можно сказать лишь одно: нелепость и бессмыслица думать, что к теории познания, к вопросам гносеологическим Гете повернулся лицом лишь после «прививки кантианства». Штейнер, походом идущий на неокантианцев и защищающий Гете от критических оскоплений, в этом пункте совершенно прав (хоть и делает это для сво-

их, тоже неверных, целей). То, что отличало поэта Гете, лирика Гете, творца Гете с первых же шагов его ранней творческой деятельности от других собратьев по перу, было как раз сильнейшей страстью познания, тем упором, который делал Гете на вопросе познания мира. В «Правде и вымысле», рассказывая нам историю своей жизни, раскрытую в общественном разрезе, как историю среды и общества, Гете последовательно говорит о себе, как о существе с одною преобладающей страстью: не оставлять ни одного явления не познанным. Это характеризует Гете с первых дней жизни почти курьезно. Мы все, например, живем на улицах с разными названиями, но вряд ли кто из нас ставит себе задачей докапываться, почему улица называется именно так, — название вплывает в нас не как предмет, а совершенно формально. А теперь послушайте маленького Гете:

«Мы слышали, что улица, по которой мы жили, называлась Хиршграбен (канав оленей); но так как мы ни канав, ни оленей не видели, мы хотели получить объяснение этому названию.»¹⁾

Тут уже дан весь Гете. Название (он употребляет слово «выражение» Ausdruck) у него лишь путевка к предмету, поэтому без самого предмета он удовлетвориться не может.

Как и в чем реализовалась страсть к познанию в век метафизики? В разделении, анализе, статике представлений, мертвой неподвижности антиномий, в той архитектурной схеме мышления, которой недостает движения, чтоб обнаружить свой смысл и тем убить себя, как таковую. Отвлечение мышления от бытия, спекулятивная философия, мир абстракций, не связанных с конкретным явлением, были, как уже сказано, органически чужды и ненавистны Гете, и, стремясь познать, он никогда не был в неведении относительного того, как познать, то-есть не был безразличен к формам теории познания. Ни в одном пункте нет у него более частых и более однокоренных высказываний, нежели в этом, и такое однообразие, установленность взгляда (развивающегося

¹⁾ «Wahrheit und Dichtung», illustrierte Ausgabe, S. 9.

с годами и обогащающегося), проходит у него через всю жизнь к старости, не испытывая ни малейшей встряски от так называемой «поворотной встречи» с Шиллером. Не раз, десятки раз Гете дает формулу: «последний критерий истины — есть практика»; «хочешь познать самого себя — начни действовать»; «в начале было дело» и т. д. Известнейший его афоризм: «Материал каждый видит перед собою; содержание (Gehalt) находит только тот, кто имеет что приложить к нему...», — истолковывали сотни раз в духе кантианства, мол-де, Гете имеет тут в виду категории чистого разума, прирожденные идеи, вне которых нельзя иметь опыта, — как будто «идею», «чистую форму мышления» можно «приложить к содержанию»!

Но расшифровка этого исключительного по своему для нас значению афоризма дана самим Гете в «Пролегоменах», и кажется диким, как можно столетие проходить мимо и не видеть ее. Вот эта расшифровка, абсолютная в своей недвусмысленности:

«Идея и опыт никогда не встретятся на полпути; соединить их можно лишь искусством и практикой».

Содержание того, что лежит в материале, есть опыт. Идея не может сойтись с опытом на полпути, иначе сказать при помощи одной идеи человек не может приобрести опыта. Для того, чтобы мог человек этот опыт приобрести, «содержание материала» и «идею» должны соединить практика и искусство. В данном случае Гете не отделяет искусства от практики (не говорит «или»), он понимает сферу действия искусства, как деятельность практическую, действительно создающую форму (вспомним замечание о пластике!).

Итак, вот полная формула: познать содержание мира, приобрести опыт нельзя при помощи голого мышления; надо к содержанию материала приложить от себя практику, сделать опыт действенным, и тогда, в результате связи мышления и деятельности, родится познание.

Вот то новое, те элементы исключительного нам близкой теории познания, о

которых я несколько раз бегло упоминала выше. Понять их во всем их значении мы, в сущности, можем только сейчас, в свете опубликованных философских записей Ленина (в IX и XII ленинских сборниках). Но, прежде чем перейти непосредственно к ним, я обращаю внимание читателя на то, что речь здесь идет не об одной историчности процесса познания. Со времени Энгельса и Лафарга мы четко знаем, какую роль играла практика (рука и речь) в деле исторического выработки мышления; имеет огромную ценность для нас, что об этом знал и Гете.

«Сколько лет нужно делать, чтобы хоть сколько-нибудь знать, что и как делать», говорит он в одном месте и добавляет в другом: «ложное обладает тем преимуществом, что о нем можно постоянно болтать; истинное нужно сейчас же использовать, иначе оно ускользает».

Но Гете не был бы эволюционистом, не стоял бы в первых рядах своего времени, если бы не понимал, как складывалось исторически мышление. Важно для нас, что он пытался сделать последний вывод, перенести вопрос из истории в самую науку о мышлении, как таковую.

Могло ли это ему удасться целиком? Нет, потому что перенос практики в познавательный акт есть конкретизация познания, переход мышления в мировоззрение, ибо «практика вообще» не существует, она есть определенное действие с показателем общественной формации, времени, пространства. Такое радикальное перенесение практики в гносеологию стало возможно лишь на почве новой классовой правды, в условиях марксистского подхода к мышлению.

Читая последнюю книгу «Логики» Гегеля, Ленин выписал из нее типичную гегельянскую формулу, представляющую собою ультра-идеалистическое замыкание всей его ситемы:

«...Абсолютная идея есть тождество теоретической и практической идей» (Die absolute Idee... ist die Identität der theoretischen und der praktischen).

И что же извлек из этой формулы Ленин? Настораживая внимание курсивом, прибавляя к одному слову еще и другое для подкрепления всей глубины

того смысла, какой он придал этой формуле, Ленин написал:

«Единство теоретической идеи (познания) и практики — это **НВ** — и это единство именно в теории познания...»

Нотабена призывает остановиться. Курсив внедряет важность сказанного. Вместо гегелевской «практической идеи», которая вполне безболезненно может войти в качестве идеи в гносеологию, у Ленина просто и ясно сказано практика; вместо теоретической идеи — познание. Это значит, что самая теория познания должна иметь своим предметом две вещи: практику и мышление человека, ибо познавательный процесс не вершится без того и другого. А практика — дело конкретной общественной формации, и поэтому общего, отвлеченного, лишенного своей общественной (классовой) определенности познания, как и теории познания, быть не может.

Здесь Ленин сделал то, к чему ощущую подходил Гете, но не мог до конца подойти, как не могли подойти к конечному выводу классики политэкономии...

Начальная степень мышления (греки) была некогда именно такой конкретной формой связи практики с мыслью; только она замыкалась на индивидууме. Говоря «циник», или «гедоник», «эпикуреец», «стойк», мы представляем себе не только систему философии, но и систему жизни, образ поведения. Но говоря «спиритуалист», «идеалист», «скептик», разве что-нибудь можем мы себе представить, кроме системы голых идей? Никакой конкретной практики нет под этими методами познания, и они не вызывают к ней. Отделение бытия от мышления, точнее — отделение практики от мышления в познавательном акте, тут уже налицо. Но, возвращаясь к прежней конкретности, наше время, говоря «марксизм-ленинизм», опять совершенно точно

представляет себе систему идей, теснейшим образом слитых с практикой, только уже обязательных не для одного индивидуума, а как коллективное мировоззрение, возникшее на почве осознанных законов исторического развития.

Это — конкретная философия.

Вернемся теперь на солнечную землю искусства, к Гете-мастеру, и, как вывод из сказанного, просим себя: чем же практически может быть ценен, питателен, поучителен для нас гений Гете, каким он воплотился в художественных созданиях? На что именно привлечь внимание пролетариата, как на школу для литературной учебы? Прежде всего на манеру и метод письма Гете, в их тщательной чистоте отображения мира не как серии предметов, а как серии явлений. Попробуйте проследить за ходом рассказа на любой странице «Сродства по выбору», или «Правды и вымысла», или «Мейстера», и вы увидите свое восприятие в непрерывном движении вслед за пером поэта, вслед за разворачивающимся объектом его описания. Необычайная, непревзойденная чистота передачи явления — вот особенность литературного стиля Гете. Она учит издаека распознавать фальшь. Она прививает такое острое стремление к правде, что фальшь становится невыносимой и присутствие ее ощущается, как остановка в движении, как перерыв. Глаз и ухо писателя, дышащего воздухом Гете, длительно пребывающего в школе Гете, неизбежно становятся гетеанскими, то-есть уже обреченными на чистоту и ненависть к фальши. Так сильно и так определенно не действует ни один из великих мастеров слова, — быть может, потому, что Гете не только был стихийным диалектиком и отражал явление диалектически, а и был в то же время дидактом, иначе сказать, свой метод и свою правду он воплощал не бессознательно. Гете знал, что он делал, и Гете хотел передать свое дело и знание другим.

Поднятая целина

Роман

М. ШОЛОХОВ

(Продолжение¹)

Глава 15

С легкой руки Якова Лукича каждую ночь стали резать в Гремячем скот. Чуть стемнеет, и уже слышно, как где-нибудь приглушенно и коротко заблеет овца, предсмертным визгом просверлит тишину свинья, или мыкнёт телка. Резали и вступившие в колхоз и единоличники. Резали быков, овец, свиней, даже коров; резали то, что оставлялось на завод... В две ночи было ополовинено поголовье рогатого скота в Гремячем. По хутору собаки начали таскать кишки и требушки, мясом наполнились погреба и амбары. За два дня еповский ларек распродал около двухсот пудов соли, полтора года лежавшей на складе. «Режь, теперь оно не наше!» «Режьте, все одно заберут на мясозаготовку!» «Режь, а то в колхозе мяса не придется кусануть!» — полз черный слушок. И резали. Ели невпроворот. Животами болели все, от мала до велика. В обеденное время столы в куренях ломились от вареного и жареного мяса. В обеденное время у каждого — масляный рот, всяк отрыгивает, как на поминках; и от пьяной сытости у всех посевелые глаза.

Дед Шукарь в числе первых подвалил телку-летошницу. Вдвоем со старухой хотели подвесить ее на переруб, чтобы ловчее было свежевать; мучились долго и понапрасну (тяжела оказалась нагулявшая жиру телка!), старуха даже

поясницу свихнула, поднимая задок телушки, и неделю после этого накидывала ей на спину чугунок бабка-лекарка. А дед Шукарь на следующее утро сам настряпал и, то ли от огорчения, что окалечилась старуха, то ли от великой жадности, так употребил за обедом вареной грудинки, что несколько суток после этого обеда с база не шел, мешечных штанов не застегивал и круглые сутки пропадал по великому холоду за сараем, в подсолнухах. Кто мимо Шукаревой полуразваленной хатенки ходил в те дни, видел: торчит, бывало, дедов малахай на огороде, среди подсолнечных будыльев, торчит не шелохнется; потом и сам дед Шукарь из подсолнухов вдруг окажется, поковыляет к хате, не глядя на проулок, на ходу поддерживая руками незастегнутые штаны. Измученной псходкой, еле волоча ноги, дойдет до воротцев и вдруг, будто вспомнив что-то неотложное, повернется, дробной рысью ударится опять в подсолнухи. И снова недвижно и важно торчит из будыльев дедов малахай. А мороз давит! А ветер пушит на огороде позёмкой, наметая вокруг деда стоячие острокрышие сугробы!..

Размётнов на вторые сутки, к вечеру, как только узнал о том, что убой скота принял массовый характер, прибежал к Давыдову.

— Сидишь?

— Читаю. — Давыдов завернул страницу небольшой желтоватой книжки, раздумчиво улыбнулся: — Вот, брат, книжка, — дух захватывает! — засмеял-

¹) См. «Новый мир», кн. 1 и 2 с. г.

ся, ощеряя щербатый рот, раскинув курые сильные руки.

— Романы читаешь! Либо песенник какой, а в хуторе...

— Дура! Дура! Романы! Какие там песенники! — Давыдов, похахатывая, усадил Андрея на табурет против себя, гкнул в руки книжку. — Это же доклад Андреева на ростовском партактиве. Это, брат, десять романов стоит! Факт! Начал читать и вот шамануть забыл, зачитался. Э, чорт, досадо... Теперь все, наверно, застыло.—Гля смугловатое лицо Давыдова пали досада и огорчение. Он встал, уныло подсмыкнул короткие штаны, сунув руки в карманы, пошел в кухню.

— Ты меня-то будешь слушать? — ожесточаясь спросил Размётнов.

— А то как же! Конечно, буду. Сейчас.

Давыдов принес из кухни глиняную чашку с холодными щами, сел. Он сразу откусил огромный кус хлеба, прожевывая, гоняя по-над розоватыми скулами желваки, молча уставился на Размётнова устало-прижмуренными серыми глазами. На щак сверху застыли оранжевые блестяшки-круговины говяжьего жира, красным пламенем посвечивал плавающий стручок горчицы.

— С мясом щи? — ехидно спросил Андрей, указывая на чашку обкуренным пальцем.

Давыдов, даваясь и напряженно улыбаясь, довольно качнул головой.

— А откуда мясо?

— Не знаю, а что?

— А то, что половину скотины перерезали в хуторе!

— Кто? — Давыдов повертел ломоть хлеба и отодвинул его.

— Черти! — шрам на лбу у Размётнова побагровел. — Председатель колхоза! Гиганту строишь! Твои же колхозники режут, вот кто! И единоличники. Перebesились, распротакую ихню мать! Режут наповал все, и даже, сказать, быков режут!

— Вот у тебя привычка... орать, как на митинге... — принимаясь за щи, досадливо сказал Давыдов. — Ты мне спокойно и толком расскажи, кто режет, почему.

— А я знаю почему?

— А ты всегда с ревом, с криком..

Глаза закрыть — и вот он родненький, семнадцатый годок.

— Небось, заревешь!

Размётнов рассказал, что знал, о начавшемся убое скота. Под конец Давыдов ел, почти не прожевывая, шутиливость как рукой с него сняло, около глаз собрались расщепы морщин, и лицо как-то словно постарело.

— Сейчас же иди и созывай общее собрание. Нагульнова... а впрочем, я сам найду к нему.

— Чего созывать-то?

— Как чего? Запретим резать скот! Из колхоза будем гнать и судить. Это же страшно важно, факт! Это опять кулак нам палки в колеса! Ну, на — закуривай и валяй. Да кстати, я и забыл похвалиться. — По лицу Давыдова побежала, тепля глаза, счастливая улыбка; радости он не мог скрыть, как ни'пробовал сурово ёжить губы.

— Получил я сегодня посылку из Ленинграда... Да, посылочку от ребят... — Он нагнулся, вытащил из-под кровати небольшой ящик и, багровый от удовольствия, поднял крышку.

В ящике беспорядочно лежали пачки папирос, коробка печенья, книги, деревянный с резьбой портсигар, еще что-то в пачетниках и свертках.

— Товарищи вспомнили, прислали вот... Это, брат, наши папироски, ленинградские.. Даже вот, видишь, шоколад, а на кой он мне? Надо чьей-нибудь детворе... Ну, да тут важен факт, а не это. Верно? Главное—вспомнили, прислали, и письмо вот есть...

Голос Давыдова был необычно мягок; таким растерянно-счастливым Андрей видел товарища Давыдова впервые. Волнение его, неведомо как, передалось и Размётнову. Желая сказать приятное, он буркнул:

— Ну и хорошо. Ты — парень славный, вот, стало быть, и послали. Тут, гляди не на один рубль добра наложено.

— Дело не в этом! Ты же понимаешь, я, чорт его подери, в роде безродного, ни жены, никого, факт! А тут — хлоп! — и вот она посылка. Трогательный факт... В письме смотри, сколько подписей. — Давыдов в одной руке протягивал коробку папирос, в другой держал письмо, испещренное многочисленными подписями. Руки его дрожали.

Размётнов закурил ленинградскую папиросу, спросил:

— Ну, как ты доволен новой квартирой? Хозяйка — ничего? Насчет стирки как устроился? Ты либо матери что ли принес бы постирать, а? Или с хозяйкой договорился бы... Рубашка на тебе — шашкой не прорубишь, и потом разит, как от морёного коня.

Давыдов порозовел, вспыхнул:

— Да, есть такое дело... У Нагульнова жил, как-то неудобоно там... Что зашить, это я сам, и стирал как-то тоже сам. А так вообще я еще с приезда не мылся, это — факт. И фуфайка тоже... Мыла тут нет в дарьке, просил уже хозяйку, а она говорит: «мыла дайте». Напишу ребятам, чтобы прислали стирального. А квартира ничего, детей нет, можно без помехи читать и вообще...

— Так ты принеси матери, она постирает. Ты, пожалуйста, не стесняйся. Она у меня старуха добрая.

— С этим обойдусь, не беспокойся, спасибо. Надо баню сделать для колхоза, вот это да! Устроим, факт! Ну, ступай, организуешь собрание.

Размётнов, покурив, ушел. Давыдов бесцельно переложил в посылке пакетики, вздохнул, поправил растянувшийся ворот желто-бурой, загрязнившейся фуфайки и, пригладив черные зачесанные вверх волосы, стал одеваться.

По пути зашел к Нагульнову. Тот встретил его, хмурия разлтые брови, глядя в сторону.

— Скотину режут... Жалко стало собственности. Такая в мелком буржуе идет смятения, — слов не найдешь... — забормотал он, поздоровавшись. И сейчас же строго повернулся к жене. — Ты, Гликерья, выйди зараз же отсель. Посиди трошки у хозяйки, я при тебе гутарить не в силах.

Грустная с виду, Лушка вышла в кухню. Все эти дни, после того как с кулацкими семьями уехал и Тимофей Рваный, она ходила, как в воду опущенная. Под опухшими глазами ее — печальная озерская синь; нос, и тот заострился, как у неживой. Видно, тяжело пало на сердце расставанье с милым. Тогда на проводах кулаков, уезжающих в студёные полярные края, она открыто, не стыдясь, битый день слонялась возле борщевского двора, поджидая Тимофея.

И когда на вечер из Гремячего тронулись подводы с кулацкими семьями и пожитками, она крикнула дурным кликушеским криком, забилась на снегу. Тимофей, было, кинулся к ней от подводы, но Фрол Рваный вернул его грозным окликом. Ушел за подводой Тимофей, часто оглядываясь на Гремячий, покусывая белые от жаркой ненависти губы.

Будто листы на тополе отроптали ласковые Тимофеевы слова, видно, не слышать уж больше их Лушке. Как же бабочке не сохнуть от тоски-немочи, как не убиваться! Кто теперь скажет ей, с любовью засматривая в глаза: «Вам эта зеленая юбка до того под стать, Луша! Вы в ней позвончее офицерши старого времени». Или словами бабьей песенки: «Ты прости, прощай, раскрасавица. Красота твоя мне очень нравится». Только Тимофей мог лестью и сердечным бесстыдством ворогнуть Лушкину душеньку.

Мужа она с того дня вовсе зачужалась. А Макар тогда говорил спокойно, веско и необычно много:

— Живи у меня остатние деньки, доживай. А потом собирай свои огарки, резинки и склянки с помадой и жарь, куда хошь. Я, любя тебя, много стыдобы перетерпел, а зараз разорвало мое терпенье! С кулацким сыном путалась — я молчал. А уж ежели ты при всем колхозном сознательном народе по нем в слезы ударялась, нету больше моего терпенья! Я, девка, с тобой не то, что до мировой революции не дотяну, а во все могу с катушек долой. Ты мне в жизни — лишний выюк на горбу. Скидаю я этот выюк! Поняла?

— Поняла, — ответила Лушка и притихла.

Вечером тогда был у Давыдова с Макаром сокровенный разговор.

— Обмарала тебя баба в доску! Как ты теперь будешь перед колхозной массой глазами моргать, Нагульнов?

— Ты опять за старое...

— Колода ты! Сычуг бычий! — у Давыдова шея багровела, вспухали жилы на лбу.

— С тобою как говорить-то? — Нагульнов ходил по комнате, похрустывал пальцами, тихо с лукавинкой улыбался. — Чуть не туда скажешь, и ты зараз

же на крюк цепляешь: «Анархист! Уклонщик! Троцкист!» Ты знаешь, как я на бабу взглядываю и через какую надобность терпел такое смывание? Я уж тебе, никак, говорил: у меня не об ней думки. Ты об овечьем курюке думал что-нибудь?

— Не-е-ет... — ошарашенный неожиданным оборотом макаровской речи, протянул Давыдов.

— А вот я думал: к чему бы овце курюк, приваренный от природы? Кажись, не к чему. Ну, бык, конь, али кобель — энти хвостом мух отгоняют. А овце навесили восемь фунтов жиру, она и трясет им, мухи отогнать не может, жарко ей летом от курюка, орешки за него хватаются...

— При чем тут курюк, хвосты разные? — Давыдов снова начинал тихо злиться.

Но Нагульнов невозмутимо продолжал:

— Это ей приделано, по-моему, чтобы стыд закрыть. Неудобно, а куда же на ее месте денешься? Вот и мне баба, жена то-есть, нужна, как овце курюк. Я весь заостренный на мировую революцию. Я ее, любушку, жду... А баба мне — тьфу, и больше ничего. Баба так, между прочим. Без ней тоже нельзя, стыд-то надо прикрыть... Мужчина я в самом прыску, хучь и хворый, а между делов могу и соответствовать. Ежели она у меня на передок слабая, да прах ее дери! Я ей так и сказал: «Ветрийся, ежели нужду имеешь, но гляди в подоле не принеси или хворости не захвати, а то голову на бок сверну!» А вот ты, товарищ Давыдов, ничего этого не понимаешь. Ты, как железный аршин-складень. И к революции не так ты прислухаешься... Ну, чего ты меня за бабий грех шпыняешь? У ней и для меня хватит, а вот что с кулаком связалась и кричала по нем, по классовой вражине, за это она — гада, и я ее — что не видно — сгоню с базу. Бить же я ее не в силах. Я в новую жизнь вступаю и руки поганить не хочу. А вот ты, небось, побил бы, а? А тогда какая же будет разница между тобой, коммунистом, и, скажем, прошедшим человеком, каким-нибудь чиновником? Энти всегда жен били. То-го и оно! Нет, брат, ты перестань со мной об Лушке гутарить. Я сам с ней

рассчитаюсь, ты в этом деле лишний. Баба — это дело даже сурьезное! От нее многое зависает. — Нагульнов мечтательно улыбнулся и с жаром продолжал: — Вот как поломаем все границы, я первый шумну: «Валяйте, женитесь на инакокровных!» Все посмешаются, и не будет на белом свете такой страны, что один телом белый, другой желтый, а третий черный; и белые других цветом ихней кожи попрекают и считают ниже себя. Все будут личиками приятно-смуглявые, и все одинаковые. Я и об этом иной раз ночами думаю...

— Живешь ты, как во сне, Макар! — недовольно сказал Давыдов, — многое мне в тебе непонятное. Расовая рознь — это так, а вот остальное... В вопросах быта я с тобой не согласен. Ну, да чорт с тобой! Только я у тебя больше не живу... Факт!

Давыдов выгтащил из-под стола чемодан (глухо загремели в нем бездельно провалявшиеся инструменты), вышел. Нагульнов проводил его на новую квартиру, к бездетному колхознику Филимонову. Тогда всю дорогу до филимоновского база они проговорили о посеве, но вопросов семьи и быта больше уже не касались. Еще ошутимее стал холодок в их взаимоотношениях с той поры...

Вот и на этот раз Нагульнов встретил Давыдова, все как-то поглядывая вкось и вниз, но после того, как Лушка вышла, заговорил оживленнее.

— Режут скотину, гады! Готовы в три горла жрать, лишь бы в колхоз не сдавать. Я вот что предлагаю: нынче же вынести собранием ходатайство, чтобы зlostных резаков расстрелять!

— Что-о-о?

— Расстрелять, говорю. Перед кем это надо хлопотать об расстреле? Народный суд не сможет, а? А вот как шлепнули бы парочку таких, какие стельных жоров порезали, остальные, небось, поочухались бы! Теперь надо со всей строгостью.

Давыдов кинул на сундук кепку, зашагал по комнате. В голосе его было недовольство и раздумье:

— Вот опять ты загинаешь... Беда с тобой, Макар! Ну ты подумай: разве можно за убой коровы расстреливать? И законов таких нет, факт! Было постановление ВЦИК, а на этот счет там пря-

мо сказано: на два года посадить, лишить земли можно, злостных выселять из края, а ты — ходатайствовать об расстреле. Ну, право, ты какой-то...

— Какой-то! Никакой я! Ты все примеряешься, да планируешь. А на чем будем сеять? На каком, ежели не вступившие в колхоз быков порежут. — Макар подошел к Давыдову вплотную, полсжил ладони на его широкие плечи. Он был почти на голову выше Давыдова, поглядывая на него сверху вниз, заговорил:

— Сёма! Жаль ты моя! Чего у тебя мозга такая ленивая? — и почти закричал. — Ить пропадем мы, ежели с посевом не управимся! Неужели не понимаешь? Надо, беспрерывно, расстрелять двоих-троих гадов за скотину! Кулаков надо расстрелять! Ихние дела! Просить надо высшие власти!

— Дурак!

— Вот опять я вышел дурак... — Нагульнов понуро опустил голову и тотчас же вскинул ее, как конь, почувствовавший шенкеля, загремел: — Всё порежу! Время подошло позиционное, как в гражданскую войну, враг кругом ломится, а ты! Загубите вы, такие-то, мировую революцию!.. Не присплет она через вас, тугодумщиков! Там кругом буржуи рабочий народ истязают, красных китайцев в дым уничтожают, всяких черных побивают, а ты с врагами тут нежничает! Совестно! Стыдоба великая! В сердце кровя сожнут, как вздумает о наших родных братьях, над какими за границами буржуи измываются! Я газеты через это самое не могу читать!.. У меня от газетов все внутри переворачивается! А ты... Как ты думаешь о родных братьях, каких враги в тюрьмах гноят? Не жалеешь ты их!..

Давыдов страшно засопел, взерошил пятерней масляно-черные волосы:

— Чорт тебя! Как так не жалеешь? Факт! И не ори, пожалуйста! Сам псих и других такими делаешь! Я в войну ради лешкиных глаз что ли с контрой расправлялся? Чего ты предлагаешь? Опомнись! Нет речи о расстреле! Ты бы лучше массовую работу вел, разъясняй нашу политику, а расстрелять — это просто! И вот ты всегда так! Чуть неустойка, и ты сейчас падаешь в крайность, факт! А где ты был до этого?

— Там же, где и ты!

— В том-то и факт! Проморгали все мы эту компанию, а теперь надо исправлять, а не о расстрелах говорить! Хватит тебе истерики закатывать! Работать берись! Барышня, чорт! Хуже барышни, у которой ногти крашеные!

— У меня они кровью крашенные!

— У всех так, кто без перчаток воевал, факт!

— Семен, как ты можешь меня барышней прозывать?

— Это к слову.

— Возьми это слово обратно, — тихо попросил Нагульнов.

Давыдов молча посмотрел на него, засмеялся.

— Беру. Ты успокойся, и пойдем на собрание. Надо здорово агитнуть против убоя!

— Я вчера целый день по дворам шлялся, уговаривал.

— Это — хороший метод. Надо пройти еще, да всем нам.

— Вот опять ты... Я вчера только с базу выхожу, думаю: «Ну, кажись, уговорил!». Выйду и слышу: «Куви-и-и. куви-и-и!» — под свинок какой-нибудь угод ножом визжит. А я гаду-собственнику до этого час говорил про мировую революцию и про коммунизм! Да как говорил-то! Ажник самого до скольких разов слеза прошибала от трогательности. Нет, не уговаривать их надо, а бить по головам, бить да приговаривать: «Не слухай кулака, вредный гад! Не учишь у него собственности! Не режь, подлюга, скотину!» Он думает, что он быка режет, а на самом деле он мировой революции нож в спину сажает!

— Кого бить, а кого и учить, — упорствовал Давыдов.

Они вышли на баз. Порошила мокрая мятель. Липкие снежные хлопья крыли застарелый снег, таяли на крышах. В аспидной темени добрались до школы. На собрание пришла только половина гремлянцев. Разметнов прочитал постановление ЦИК и Совнаркома «О мерах борьбы с хищническим убоем скота», потом держал речь Давыдов. В конце он прямо поставил вопрос:

— У нас есть, граждане, двадцать шесть заявлений о вступлении в колхоз, завтра на собрании будем разбирать их, и того, кто поддался на кулацкую удоч-

ку и порезал скот перед тем, как вступить в колхоз, мы не примем, факт!

— А ежели вступившие в колхоз режут молодник, тогда как? — спросил Любишкин.

— Тех будем исключать!

Собрание ахнуло, глухо загудело.

— Тогда распушайте колхоз! Нету в хуторе такого двора, где бы скотиняки не резали! — крикнул Борщев.

Нагульнов насыпался на него, потрясая кулаками:

— Ты цыц, подкулачник! В колхозные дела не лезь, без тебя управимся! Ты сам не зарезал бычка-третьяка?

— Я своей скотине сам хозяин!

— Вот я тебя завтра приправлю на отсидку, там похозяйствуешь!

— Строго дюже! Дюже строго устанавливаете! — орал чей-то сильный голос.

Собрание было хоть и малочисленно, но бурно. Расходясь хуторцы помалкивали, и только выйдя из школы и разбившись на группы, на ходу стали обмениваться мнениями.

— Чорт меня дернул зарезать двух овец! — жаловался Любишкину колхозник Куженков Семен. — Вы эту мясу теперь из горла вынете...

— Я, парень, сам опаскудился, прирезал козу... — тяжело вздыхал Любишкин. — Теперь моргай глазами перед собранием. Ох, ты, мать твою раззтак с этой бабой! Втравила в грех, туды ее в голень! «Режь да режь». Мяса ей захотелось! Ах, ты, анцибел в юбке! Приду зараз и выбью ей бубну!

— Следует, следует поучить, — советовал сват Любишкина — престарелый дед Бесхлебнов Аким. — Тебе, сваток, вовсе неловко, ты ить колхозный член.

— То-то и есть, — вздыхал Любишкин, в темноте смахивая с усов налипшие хлопья снега, спотыкаясь о кочки.

— А ты, дедушка Аким, рябого быка, кубыть, тоже зарезал? — покашливая, спросил Демка Ушаков, живший с Бесхлебновым по соседству.

— Зарезал, милый. Да и как его не зарезать? Сломал бык ногу, сломал окаянный, рябой! На погребницу занесла его нечистая сила, провалился в погреб и сломал ногу.

— То-то я на зорьке видал, как ты

со снохой хворостинами направляли его на погребницу...

— Что ты! Что ты, Дементий! Окстись! — испугался дед Аким и даже стал середь проулка, часто моргая в беспросветной ночной темени.

— Пойдем, пойдем, дедок, — успокаивал его Демка. — Ну, чего стал, как врытая соха? Загнал быка-то в погреб...

— Сам зашел, Дементий! Не грехи. Ох, грех великий!

— Хитер ты, а не хитрее быка. Бык энтот языком под хвост достает, а ты, небось, не умеешь так, а? Думал: «Окалечу быка, и взятки гладки?»

Над хутором бесновался влажный ветер. Шумовито гудели над речкой в левадах тополя и вербы. Черная — глазоколи — наволочь крыла хутор. Придушенные сыростью, по проулкам долго звучали голоса. Валил снег. Зима вытряхала последние озимки...

Глава 16.

С собрания Давыдов пошел с Размётновым. Снег бил густо, мокро. В темноте кое-где поблескивали огоньки. Собачий брех, разорванный порывами ветра, звучал по хутору тоскливо и неумолчно. Давыдов вспомнил рассказ Якова Лукича о снегозадержании, вздохнул: «Нет, в нынешнем году не до этого. А сколько вот в такую мятель снегу легло бы на пашнях! Просто жалко даже, факт!»

— Зайдем в конюшню, поглядим на колхозных коней, — предложил Размётнов.

— Давай.

Свернули в проулок. Вскоре показался огонек: возле лапшиновского сеника, приспособленного под конюшню, висел фонарь. Вошли во двор. Около дверей в конюшню, под навесом, стояло человек восемь казаков.

— Кто нынче дневалит? — спросил Размётнов. Один из стоявших затушил о сапог цыгарку, ответил:

— Кондрат Майданников.

— А почему тут народу много? Что вы тут делаете? — поинтересовался Давыдов.

— Так, товарищ Давыдов... Стоим. обчий кур устраиваем...

— Сено вечером привозили с гумна.

— Стали покурить да загутарились. Мятель думаем перегодить.

В разгороженных станках мерно жуют лошади. Запахи пота, конского кала и мочи смешаны с легким, парящим духом степного полынистого сена. Против каждого станка, на деревянных рашках, висит хомут, шлея или постромки. Проход чисто выметен и слегка присыпан желтым речным песком.

— Майданников! — окликнул Андрей.

— Аю! — отозвался голос в конце конюшни.

Майданников на навильнике нес время житной соломы. Он зашел в четвертый от дверей станок, ногою поднял улегшегося вороного коня, раструсил солому.

— Повернись! Чо-о-орт! — зло крикнул он и замахнулся держакон навильника на придремавшего коня.

Тот испуганно застучал, засучил ногами по деревянному полу, зафыркал и потянулся к яслям, передумав, как видно, ложиться. Кондрат подошел к Давыдову весь пропитанный запахом конюшни и соломы, протянул черствую холодную ладонь.

— Ну как, товарищ Майданников?

— Ничего, товарищ председатель колхоза.

— Чтой-то ты уж больно официально: «товарищ председатель колхоза»... — Давыдов улыбнулся.

— Я зараз при исполнении обязанностей.

— Почему народ возле конюшни толчется?

— Спросите сами их! — в голосе Кондрата послышалась озлобленная досада. — Как на ночь метать коням, так и их чорт несет. Народ никак не может отрешиться от единоличности. Это все хозяева сидят! Приходят: «А моему гнедому положил сена?», «А буланому постелил?» «Кобыленка моя тут целая?». А куда же, к примеру, его кобыленка денется? В рот я ее захну что ли? Все лезут, просят: «Дай подсоблю наметать коням!» И всяк норовит своему больше сена кинуть... Беда! Надо постановление вынести, чтоб лишний народ тут не околачивался.

— Слышал? — Андрей подмигнул Давыдову, сокрушенно покачал головой.

— Гони всех отсюда! — суровая приказал Давыдов. — Чтобы, кроме дежурного и помощников, никого не было. Сена поскольку даешь? Весишь дачу?

— Нету. Не вешаю. На-глазок, с полпуда на животину.

— Стелешь всем?

— Да что, ей-богу! — Кондрат яростно тряхнул буденновкой, на смуглый стог его шеи, на воротник приношенного зипуна посыпались мягкие остья. — Завхоз наш, Островнов, Яков Лукич-то, ноне перед вечером был, говорит: «Стели коням об'едья». Да разве это порядки? Ить он, чорт, лучшим хозяином почитается, а такую чушь порет!

— А что?

— Да как же, Давыдов! Об'едья — все начисто едвые. Полынок промеж них, он мелкий, с'естной, или бурьянина; все это овцы, козы дотла с'едят, переберут, а он приказывает на постилку коням гатить! Я ему, было, сказал насупротив, а он: «Не твое дело мне указывать!»

— Не стели об'едьев. Правильно! А мы ему завтра хвост наломаем! — пообещал Давыдов.

— И ишо одно дело: расчали прикладок, какой возля колодезя склали. К чему, спрашивается?

— Мне Яков Лукич говорил, что это сено похуже. Он хочет дрянненькое зимую скормить, а хорошее оставить к пахоте.

— Ну, когда так, это верно, — согласился Кондрат. — А насчет об'едьев ему скажите.

— Скажу. На вот закуривай ленинградскую папироску... — Давыдов кашлянул, — прислали мне товарищи с завода... Лошади-то все здоровы?

— Благодарствую. Огонька дайте. Кони все справные. Пршедшую ночь завалился наш виноходец, бывший лапшиновский, доглядели. А так все в порядке. Вот один есть чертяка, никак не ложится. Всю ночь, говорят простаивает. Завтра на передки будем всех перековырять, Сколизь была, шипы начисто пос'ел ледок. Ну, прощевайте. Я ишо не всем постелил.

Размётнов пошел проводить Давыдова. Разговаривая, прошли они квартал.

но на повороте к квартире Давыдова Размётнов остановился против база единоличника Лукашки Чебакова, тронул плечо Давыдова, шепнул:

— Гляди!

Около калитки — в трех шагах от них — чернела фигура человека. Размётнов вдруг быстро подбежал, левой рукой схватил человека, стоявшего по ту сторону калитки, в правой стиснул рукоять нагана.

— Ты, Лука?

— Никак это вы, Андрей Степаныч?

— Что у тебя в правой руке? А ну отдай! Живо!

— Да что вы? Товарищ Размётнов!

— Отдай, говорят! Вдарю!..

Давыдов подошел на голоса, близко руко шурясь.

— Что ты у него отбираешь?

— Отдай, Лука! Выстрелю!

— Да возьмите, чего вы сбесились-то?

— Вот он с чем стоял у калиточки! Эх, ты, твою мать! Ты это для чего же с ножом ночью стоишь? Ты это кого ждал? Не Давыдова? Зачем, спрашиваю, с финкой стоял? Контра? Убивцем захотел стать?

Только острые охотничьи глаза Андрея могли разглядеть в руке стоявшего около калитки человека белое лезвие ножа. Он и бросился обезоруживать. И обезоружил. Но когда стал, задыхаясь, допрашивать ошалевшего Лукашку, тот открыл калитку, изменившимся голосом сказал:

— Уж коли вы так дело поворачиваете, я не могу промолчать! Вы меня в чем не надо подозревать можете, упаси бог, Андрей Степаныч! Пройдемте.

— Куда это?

— В катух.

— Зачем это?

— Поглядите, и все вам станет ясное, зачем я с ножом на проулок выглядал..

— Пойдем, посмотрим, — предложил Давыдов, первым входя на Лукашкин баз. — Куда итти-то?

— Пожалуйте за мной.

В катухе, заваленном внутри обрушившимся прикладком кизяк, стоял на табурете зажженный фонарь, возле него на корточках сидела жена Лукашки — красивая, полнолицая и тонкобровая баба. Она испуганно встала, увидя чужих, за-

слонила собой стоявшие возле стены две дыбарки с водой и таз. За нею в самом углу, на чистой соломе, как видно, только постланной, топтался сытый боров. Опустив голову в огромную лохань, он чавкал, пожирал помои.

— Видите, какая беда... — указывая на кабана, смущенно, бессвязно говорил Лукашка. — Борова надумали потихоньку заколоть... Баба его прикармывает, а я только хотел валять его, резать, слышу томят где-то на проулке. «Семка, — думаю, — выйду, гляну, неровен час, кто услышит». Как был я с засученными рукавами и при фартуке и при ноже, так и вышел к калитке. И вы — вот они! А вы на меня что подумали? Разве же человека резать при фартуке и с засученными рукавами выходят? — Лукашка, снимая фартук, смущенно улыбулся и с сдержанной злостью крикнул на жену: — Ну, чего стала, дуриха? Выгони борова!

— Ты не режь его, — несколько смущенный, сказал Размётнов. — Зараз собрание было, нету дозволения скотину резать.

— Да я и не буду. Всю охоту вы мне перебили..

Давыдов вышел и до самой квартиры подтрунивал над Андреем:

— Покушение на жизнь председателя колхоза отвратил! Контр-революционера обезоружил! Аника-воин, факт! Хо-хо-хо!..

— Зато кабану жизнь спас, — отшучивался Размётнов.

Глава 17.

На следующий день на закрытом собрании гремяченской партиячейки было единогласно принято решение обобществить весь скот, как крупный гулевой, так и мелкий, принадлежащий членам гремяченского колхоза имени Сталина. Кроме скота, было решено обобществить и птицу.

Давыдов вначале упорно выступал против обобществления мелкого скота и птицы, но Нагульнов решительно заявил, что если на собрании колхозников не провести решения об обобществлении всей живности, то весенняя посевная будет сорвана, так как скот весь будет перерезан, и заодно и птица. Его поддер-

жал Размётнов, и, поколебавшись, Давыдов согласился.

Помимо этого, было решено и занесено в протокол собрания: развернуть усиленную агитационную кампанию за прекращение злостного убоя, для чего в порядке самообязательства все члены партии должны были отправиться в этот же день по дворам. Что касается судебных мероприятий по отношению к избыточным в убое, то пока решено было их не применять ни к кому, а подождать результатов агиткампании.

— Так-то скотинка и птица посохранней будет. А то к весне ни бычьего мыку, ни кочетинного крику в хуторе не услышишь, — говорил обрадованный Нагульнов, пряча протокол в папку.

Колхозное собрание охотно приняло решение насчет обобществления всего скота, сколь рабочих и молочно-продуктивный уже был обобществлен, и решение касалось лишь мслодняка да овец и свиней, но по поводу птицы возгорелись долгие прения. Особенно возражали бабы. Под конец их упорство было сломлено. Способствовал этому, в огромной мере, Нагульнов. Это он, прижимая к ордену свои длинные ладони, проникновенно говорил:

— Бабочки, дорогие мои! Не тянитесь вы за курами, гусями! На спине не удержались, а уж на хвосте и подавно. Пущай и куры колхозом живут. К весне выпишем мы кубатор, и, вместо квочков, зачнет он нам выпущать цыплятков сотнями. Есть такая машина — кубатор, она высиживает цыплятков преотлично. Пожалуйста, вы не упирайтесь! Они ваши же будут куры, только в общем дворе. Собственности куриной не должно быть, дорогие тетушки! Да и какой вам от курей прок? Все одно они зараз не несутся. А к весне с ними суеты вы не оберетесь. То она, курица то есть, вскочит на огород и рассаду выклюет, то глядишь, а она — трижды клятая — яйцо где-нибудь под амбаром потеряет, то хорь ей вязы отвернет... Мало ли чего с ней не может случиться? И кажин раз вам, надо в курятник лазить, щупать: какая с яйцом, а какая холостая. Полезешь и наберешься куриных вшей, лазеры. Одна сухота с ними и сердцу остуда. А в колхозе как

они будут жить? Распрекрасно! Догляд за ними будет хороший: какого-нибудь старика вдвогого, вот хоть бы дедушку Акима Бесхлебнова, к ним приставим, и пущай он их целый день щупает, по нашестам полозит. Дело и веселое и легкое, самое стариковское. На таком деле грыжу сроду не наживешь. Приходите, милушки мои, в согласие!

Бабы посмеялись, повздыхали, посудачили и «пришли в согласие».

Сейчас же после собрания Нагульнов и Давыдов тронулись в обход по дворам. С первого же квартала выяснилось, что убоина есть доподлинно в каждом дворе... К обеду заглянули и к деду Шукарю.

— Активист он, говорил сам, что скотиняк беречь надо. Этот не зарежет, — уверял Нагульнов, входя за шукаревский баз.

«Активист» лежал на кровати, задрал ноги. Рубаха его была завернута до свалывшейся в клочья бороденки, а в тощий бледный живот, поросший седой гривастой шерстью, острыми краями вонзалась опрокинутая вверх дном глиняная махотка, вместимостью литров в шесть. По бокам пъявками торчали две аптекарских банки. Дед Шукарь не глянул на вошедших. Руки его, скрещенные на груди, как у мертвого, дрожали, вылезшие из орбит, осумасшедшие от боли глаза медленно вращались. Нагульному показалось, что в хате и воняет-то мертвежиной. Дородная Шукариха стояла у печи, а около кровати суетилась проворная, серая, как мышь, лекарка-бабка Мамычиха, широко известная в округе тем, что умела ставить банки, накидывать чугуны, костоправить, отворять и заговаривать кровь и делать аборты железной вязальной спицей. Она-то в данный момент и «пользовала» разнесчастного деда Шукаря.

Давыдов вошел и глаза вытаращил:

— Здравствуй, дед! Что это у тебя на пузе?

— Стррррра-даю! Жжжжи-вотом!.. — в два приема, с трудом, выговорил дед Шукарь. И тотчас же тоненьким голоском заголосил, заскулил по-щенячьему: — Ссыими махотку! Сыми, ведьма! Ой, живот мне порвет! Ой, родненькие, ослобоните!

— Терпи! Терпи! Зараз полегчает, — шопотом уговаривала бабка Мамычиха, тщетно пытаясь оторвать край махотки, вросавшийся в кожу.

Но дед Щукарь вдруг зарычал люгым зверем, лягнув лекарку ногой и обеими руками вцепился в махотку. Тогда Давыдов поспешил ему на выручку: схватив с приглубка деревянное скало, он оттолкнул старушенку, ахнул скалом по днищу махотки. Та рассыпалась, со свистом рванулся из-под черепков воздух, дед Щукарь утробно икнул, облегченно, часто задышал, без труда сорвал банки. Давыдов глянул на дедов живот, торчавший из-под черепков огромным посинелым пупом, и упал на лавку, давясь от бешеного приступа хохота. По щекам его текли слезы, шапка свалилась, на глаза повисли пряди черных волос...

Живуч оказался дед Щукарь! Едва лишь бабка Мамычиха запричитала над разбитой махоткой, он опустил рубаху, приподнялся.

— Головушка ты моя горькая! — навзрыд голосила бабка, — разбил, нечистый дух, посудину! Таковских вас лечить, и добра не сдохш!

— Удались, бабка! Сей момент удались отседова! — Щукарь указывал рукой на дверь, — ты меня чудок жизни не решила! Об твою бы головешку этот горшок надо разбить! Удались, а то до смертоубийства могу дойти! Я на эти штуки отчаянный!

— С чего это тебе подеялось? — спросил Нагульнов, едва лишь за Мамычихой захлопнулась дверь.

— Ох, сынки, кормилицы, верите: было, пропал во взят. Двое суток с базу не шел, так штаны в руках и носил... Такой пронос у меня открылся — удержу нет! Кубыть прохудился я, несло, как из куршивого гусенка: кажин секунд...

— Мяса обтрескался?

— Мяса...

— Телушку зарезал?

— Нету уж телушечки... Не в пользу она мне пошла... Макар крякнул, ненавистно оглядел деда, процедил:

— Тебе бы, чорту старому, надо не махотку на живот накинуть, а трехведерный чугуун! Чтобы он всего тебя с потрохом втянул! Вот выгоним из колхоза,

тогда не так тебя понесет! Зачем зарезал?

— Грех попутал, Макарушка... Старуха уговорила, а ночная кукушка, она перекукует завсегда... Вы смилуйтесь... Товарищ Давыдов! Приятели мы с вами были, вы меня не увольняйте из колхозу. Я и так пострадамши за свое доброе...

— Ну, чего ты с него возьмешь? — Нагульнов махнул рукой. — Пойдем, Давыдов. Ты, хвороба! Ружейного масла с солью намешай и выпей, рукой сымет.

Дед Щукарь обиженно задрожал губами:

— Надсмешку строишь?

— Верно говорю. Мы в старой армии от живота этим и спасались.

— Я что же, железный что ли? Чем бездушную ружье чистют, тем и я должен пользоваться? Не буду! Лучше помру в подсолнухах, а масла не приму!

На другой день, не успевший помереть, дед Щукарь уже ковылял по хутору и каждому встречному рассказывал, как в гости к нему приходили Давыдов с Нагульновым, как они спрашивали его советов насчет ремонта к посевной инвентаря и прочих колхозных дел. В конце рассказа дед выдерживал длительную паузу, сворачивая цыгарку, вздыхал:

— Трошки прихворнул я, и вот они уж пришли. Неуправка без меня у них. Лекарства всякие предлагали. «Лечись, — говорят, — дедушка, а то, не дай бог греха, помрешь, и мы пропадем без тебя!» И пропадут, истинный Христос! То чуть чего, — зовут в ичейку: глядишь, чего-нибудь и присоветую им. Уж я редко гутарю, да метко. Мое слово, небось, мимо не пройдет! — и поднимал на собеседника выпуклые ликующие глазки, угадывая, какое впечатление произвел рассказ.

Глава 18.

И снова заколобродил притихший, было, Гремячий Лог... Скот перестали резать. На общественные базы двое суток гнали и тянули разношерстных овец и коз, в мешках несли кур. Стон стоял по хутору от скотыного рева и птичьего гогота и крика.

В колхозе числилось уже сто шестьдесят хозяйств. Были созданы три брига-

ды. Якова Лукича правление колхоза уполномочило раздать бедноте — нуждающейся в одежде и обуви — кулацкие полушубки, сапоги и прочие носильные вещи. Произвели предварительную запись. Оказалось, что всех удовлетворить правление было не в состоянии.

На Титковом базу, где Яков Лукич распределял конфискованную кулацкую одежду, до потемок стоял неумолчный гул голосов. Тут же, возле амбара, прямо на снегу разувались, примеряя добротную кулацкую обувь, натягивая поддевки, пиджаки, кофты, полушубки. Счастливицы, которым комиссия определила выдать одежду или обувь в счет будущей выработки, прямо на амбарной приклетке телешились и, довольно крякая, сияя глазами, светлея смуглыми лицами от скупых, дрожащих улыбок, торопливо комкали свое старое, латанное-перелатанное веретё, облачались в новую справу, сквозь которую уже не просвечивало тело. А уж перед тем, как взять что-либо, сколько было разговоров, советов, высказываемых сомнений, ругни... Любишкину Давыдов распорядился выдать пиджак, шаровары и сапоги. Хмурый Яков Лукич вытащил из сундука ворох одежды, метнул под ноги Любишкину:

— Выбирай на совесть.

Дрогнули у атамана усы, затряслись руки... Уж он выбирал, выбирал пиджак — сорок потов с него сошло! Попробует сукно на зуб, поглядит на свет: не побил ли шашел или моль, минут десять мнет в черных пальцах. А кругом жарко дышат, гомонят:

— Бери, ишо детям достанется донашивать.

— Да где глаза-то у тебя? Не видишь, — перелицованное.

— Брешешь!

— Сам стрескай!

— Бери, Павло!

— Не бери, померяй другой!

У Любишкина лицо — красная обожженная кирпичина, жует он черный ус, затравленно озирается, тянется к другому пиджаку. Выберет. Всеми статьями хорош пиджак! Сунет длиннейшие свои руки в рукава, а они по локоть, трещат швы в плечах. И снова, смущенно и взволнованно улыбаясь, роется в ворохе одежды. Разбегаются глаза, как у малого дитяти на ярмарке перед обилием

игрушек; на губах такая ясная детская улыбка, что в пору бы кому-нибудь отечески погладить саженного атамана Любишкина по голове. Так за полдня и не выбрал. Шаровары и сапоги надел, хмурому Якову Лукичу сказал, проглотив вздох:

— Завтра уж прииду примерять. — С база пошел в новых шароварах с лампасами, в сапогах с рыпом, помолодевший сразу лет на десять. Нарочно вышел на главную улицу, хотя было ему и не под дорогу, на проулках часто останавливался, то закурить, то со встречным погугарить. Часа три шел до дому, хвалился, и к вечеру уже по всему Гремячему шел слух: «Там Любишкина нарядили, как на службу! Ноне целый день набирал одежды... Во всем новом домой шел, шаровары на нем праздничные. Как журавель, выступал, небось, ног под собой не чуял...»

Женёнка Демки Ушакова обмерла над сундуком, насилиу отпихнула. Надела сборчатую шерстяную юбку, некогда принадлежавшую Титковой бабе, сунула ноги в новые чирики, покрылась цветастой шалькой, и только тогда кинулось всем в глаза, только тогда разглядели, что Демкина женёнка вовсе недурна лицом и собою бабочка статна. А как же ей, сердяте, было не обмереть над колхозным добром, когда она за всю свою горячайшую жизнь доброго куска ни разу не с'ела, новой кофтёнки на плечах не износила? Как же можно было не побледнеть ее губам, выцветшим от постоянной нужды и недоеданий, когда Яков Лукич вывернул из сундука кошку бабьих нарядов? Из года в год рожала она детей, заворачивая сосунков в истлевшие пеленки да в поношенный овчинный локут. А сама, растерявшая от горя и вечных нехваток былую красоту, здоровье и свежесть, все лето исхаживала в одной редкой, как сито, юбченке; зимою же, выстирав единственную рубаху, в которой кишмя кишела вошь, сидела вместе с детьми на печи голая, потому что нечего было переменить...

— Родимые!.. Родименькие!.. Погодите, я, может, ишо не возьму эту юбку... Сменяю. Мне, может, детискам бы чего... Мишатке... Дуношке... — испуленно шептала она, вцепившись в крыш-

ку сундука, глаз пылающих не сводя с многоцветного вороха одежды.

У Давыдова, случайно присутствовавшего при этой сцене, сердце дрогнуло... Он протискался к сундуку, спросил:

— Сколько у тебя детей, праздничка?

— Семеро... — шопотом ответила Демкина жена, от сладкого ожидания боясь поднять глаза.

— У тебя тут есть детское? — негромко спросил Давыдов у Якова Лукича.

— Есть.

— Выдай этой женщине для детей все, что она скажет.

— Жирно ей будет!..

— Это еще что такое? Ну?... — Давыдов злобно ощерил щербатый рот, и Яков Лукич торопливо нагнулся над сундуком.

Демка Ушаков, обычно говорливый и злой на язык, стоял сзади жены, молча облизывая сохнувшие губы, затаив дыхание. Но при последних словах Давыдова он взглянул на него... Из косых Демкиных глаз, как сок из спелого плода, вдруг брызнули слезы. Он сорвался с места, побежал к выходу, левой рукой расталкивая народ, правой — закрывая глаза. Спрыгнув с приклетка, Демка зашагал с база, стыдясь, пряча от людей свои слезы. А они катились из-под черного щитка ладони по щекам, обгоняя одна другую, светлые и искрящиеся, как капельки росы.

К вечеру на дежж приспел и дед Щукарь. Он вломился в дом правления колхоза, еле переводя дух, — к Давыдову:

— Здорово живете, товарищ Давыдов! Живенького вас видеть.

— Здравствуй.

— Напишите мне бланку.

— Какой бланк?

— Бланку на полочку одежи.

— Это за что же тебе одежку справлять? — Нагульнов, сидевший у Давыдова, поднял разлтые брови, — за то, что телушку зарезал?

— Кто старое вспомянет, Макарушка, глаз ему долой к ядрене матери, знаешь? Как так, за что? А кто пострадал, когда Титка раскулачивали? Мы с товарищем Давыдовым! Ему хоть голову пробиши, это пустяковина, а мне кобель-

то шубу как произвел? Одни обмотки на ноги из шубы получились! Я же страдалец за советскую власть, и мне, значица, не надо? Пущай бы лучше мне Титок голову на черепки поколол, да шубы не касался. Шуба-то старухина, ай нет? Она, может, меня за шубу со света сживает, тогда как? Ага, то-то и оно!

— Не бегал бы, и шуба целая была.

— Как так не бегал бы? А ты слышал, Макарушка, что Титкова баба-яга сотворяла? Она травила на меня кобель шумела: «Узы его! Бери его, Серко! Он тут самый вредный!» Вот и товарищ Давыдов может подтвердить.

— Хоть ты и старик, а брешешь, как сивый мерин!

— Товарищ Давыдов, подтвердите!

— Я что-то не помню...

— Истинный Христос, так она шумела! Ну, страх в глазах, я, конечно, и тронулся с база. Кабы он, кобель, был, как все прочие собаки, а то тигра ажик страшнее!

— Никто на тебя кобеля не травил, выдумляешь!

— Макарушка, ты же не помнишь, соколик! Ты сам тогда так испужался, что на тебе лица не было, где уж там тебе помнить! Я ишо тогда, трешник, подумал: «Зараз Макар вдарится бечь!» А меня-то как кобель потягал по базу — я все это до нитки помню! Ежели б не кобель, Титку бы из моих рук живым не выйтить, забожусь! Я — отчаянный! Нагульнов сморщился, как от зубной боли, сказал Давыдову:

— Напиши ему скорее, нехай метется.

Но дед Щукарь на этот раз был больше, чем когда-либо, склонен к разговору.

— Я, Макарушка, смолоду бывало на кулачках любого...

— Ох, не балабонь, слышали тебя! Тебе, может, написать, чтобы чугунок ведечный выдали? Живот-то чем будешь лечить?

Кровно обиженный, дед Щукарь молча взял записку, вышел не попрощавшись. Но, получив из рук Якова Лукича просторный дубленный полушубок, вновь пришел в отличное расположение духа. Глазки его сыто жмурились, ликовали. Щепоткой, как соль из солонки, брал он полушубок, поднимал ее

наотлет, словно юбку баба, собравшаяся переходить через лужу, цокал языком, хвально перед казаками:

— Вот он, полшубочек-то! Своим горбом заработал. Всем известно: Титка когда мы раскулачивали, он и напади с занозой на товарища Давыдова. «Пропадет,—думаю,—мой приятель!» Сей момент же кинулся на выручку, как герой, отбил. Не будь меня — труба бы Давыдову!

— А гутарили, кубить ты от кобеля побег, да упал, а он тебе и зачал, как свинье, уши рвать, — вставил кто-то из слушателей.

— Брехня! Ить вот какой народ пошел: согнут не паримши! Ну, что там, кобель? Кобель, он тварь глупая и паскудная. Никакого глагола не разумеет... — и дед Щукарь искусно переводил разговор на другую тему.

Глава 19.

Ночь...

На север от Гремячего Лога, далеко-далеко за увалами сумеречных степных гребней, за логами и балками, за сплошными лесами, — столица Советского Союза. Над нею — половежье электрических огней. Их трепетное голубое мерцание заревом беззвучного пожара стоит над многоэтажными домами, затмевая ненужный свет полуночного месяца и звезд.

Отделенная от Гремячего Лога полутора тысячами километров, живет и ночью закованная в камень Москва: тягуче, призывно режут паровозные гудки, переборами огромной гармонии звучат автомобильные сирены, лязгают, визжат, скрегохот трамваи. А за ленинским мавзолеем, за крамлевской стеной, на вышнем холодном ветру, в озаренном небе трепещет и свивается полотнище красного флага. Освещенное снизу белым накалом электрического света, оно кипуче горит, струится, как льющая алая кровь. Коловертью кружит вышний ветер, поворачивает на минуту тяжко обвисающий флаг, и он снова взвизгивается, устремляясь концом то на запад, то на восток, пылает багровым полымем восстаний, зовет на борьбу...

Два года назад, ночью, Кондрат Майданников, бывший в то время в Москве,

на Всероссийском съезде советов, пришел на Красную площадь. Глянул на мавзолей, на победно сияющий в небе красный флаг и торопливо сдернул с головы буденновку. С обнаженной головой в распахнутом домотканном зипуне стоял долго и недвижно...

В Гремячем же Логу ночью стынет глухая тишина. Искрятся пустынные окрестные бугры, осыпанные лебяжьим пухом молодого снега. В балках, на сувалах, по бурьянам пролиты густосиние тени. Почти касается горизонта дышло Большой Медведицы. Черной свечей тянется к тягостно-высокому, черному небу раина, растущая возле сельсовета. Звенит, колдовски бормочет родниковая струя, стекая в речку. В текучей речной воде ты увидишь, как падают отцветившие миру звезды. Вслушайся в мнимое безмолвие ночи, и ты услышишь, друг, как заяц на кормежке гложет, скоблит ветку своими желтыми от древесного сока зубами. Под месяцем неярко светится на стволе вишни янтарный натёк замерзшего клея. Сорви его и посмотри: комочек клея, будто вызревшая нетронутая слива, покрыт нежнейшим дымчатым налетом. Изредка упадет с ветки ледяная корочка — ночь укутает хрустальный звяк тишиной. Мертвенно недвижны отростки вишневых веток с рубчатými серыми сережками на них; зовут их ребятишки «кукушкиными слезами»...

Тишина...

И только на зорьке, когда с севера из-под тучи, овеяная снег холодными крылами, прилетит московский ветер, зазвучат в Гремячем Логу утренние голоса жизни: зашуршат в левадах голые ветви тополей, зачиргикают, перекликаются, зазимовавшие возле хутора, кормившиеся ночью на гумнах куропатки. Они улетят дневать в заросли краснойбылы, на песчаные склоны яров, оставив возле мякинников на снегу вышитую крестиками, лучевую россыпь следов. накопы соломы. Замычат телята, требуя доступа к матерям, яростней вкличутся обобществленные кочета, потянет над хутором терпко-горьким кизяшным дымком...

А пока полегла над хутором ночь, наверное, один Кондрат Майданников не спит во всем Гремячем. Во рту у него

горько от табаку-самосаду, голова — как гирия, от курева тошнит...

Полночь. И мнятся Кондрату лякующее марево огней над Москвой, и видит он грозный и гневный мах алого полотнища, распростертого над Кремлем, над безбрежным миром, в котором так много льется слез из глаз вот таких же грудяг, как и Кондрат, живущих за границами Советского Союза. Вспоминаются ему слова покойной матери, сказанные как-то с тем, чтобы осушить его ребячьи слезы:

— Не кричи, милушка Кондрат, не гневай бога. Бедные люди по всему белому свету и так кажын день плачут, жалуются богу на свою нужду, на богатых, какне все богатство себе забрали. А бог бедным терпеть велел. И вот он огневается, что бедные да голодные все плачут, да плачут, и возьмет, соберет ихни слезы и сделает их туманом и кинет на синие моря, закутает небо невидью. Вот тут-то и начинают блудить по морям корабли, потерявши свою водяную дорогу. Напхнется корабль на морской горюч-камень и потопнет. А не то господь росой исделает слезы. В одну ночь падет соленая роса на хлеба по всей земле, нашей и чужедальней, выгорят от слезной горечи хлебные злаки, великий голод и мор пойдет по миру... Стало-быть, кричать бедным никак нельзя, а то накричишь на свою шею... Понял, родимушка? — и сурово кончила: — Молись богу, Кондратка! Твоя молитва скорей долетит.

— А мы бедные, маманя? Папаня бедный? — спрашивал маленький Кондрат свою богомольную мать.

— Бедные.

Кондрат падал на колени перед темным образом староверского письма, молился и досуха тер глаза, чтобы сердитому богу и слезинки не было видно...

Лежит Кондрат, как сетную дель, перебирает в памяти прошлое. Был он по отцу донским казаком, а теперь — колхозник. Много передумал за многие и длинные, как степные шляхи, ночи. Отец Кондрата, в бытность его на действительной военной службе, вместе со своей сотней порол плетью и рубил шашкой бастовавших иваново-вознесенских ткачей, защищая интересы фабрикантов. Умер отец, вырос Кондрат и в 1920 г.

рубил белополяков и врангелевцев, защищая свою советскую власть, власть тех же иваново-вознесенских ткачей, от нашествия фабрикантов и их наймитов.

Кондрат давно уже не верит в бога, а верит в коммунистическую партию, ведущую трудящихся всего мира к освобождению, к голубому будущему. Он свел на колхозный баз всю скотину, всю — до пера — отнес птицу. Он за то, чтобы хлеб ел и траву топтал только тот, кто работает. Он накрепко, неотрывно прирос к советской власти. А вот не спится Кондрату по ночам... И не спится потому, что осталась в нем жалость-гадюка к своему добру, к собственной худобе, которой сам он добровольно лишился... Свернулась на сердце гадюка-жалость, холодит тоской и скукой...

Бывало, прежде весь день напролет у него занят: с утра мечет корм быкам, корове, овцам и лошади, поит их; в обеденное время опять таскает с гумна в вахлях сено и солому, боясь потерять каждую былку, на ночь снова надо убирать. Да и ночью по несколько раз выходит на скотиний баз, проведывать, подобрать в ясли наметанное под ноги сенцо. Хозяйской заботой радуется сердце. А сейчас пусто, мертво у Кондрата на базу. Не к кому выйти. Порожняи стоят ясли, распахнуты хворостяные ворста, и даже кочетинного голоса не слышно за всю долгую ночь; не по чем определить время и течение ночи...

Только тогда смывается скука, когда приходится дежурить на колхозной конюшне. Днем же норовит он уйти поскорее из дому, чтобы не глядеть на страшно опустелый баз, чтобы не видеть скорбных, обрезавшихся глаз жены.

Вот сейчас она спит с ним рядом, дышит ровно. На печи Христишка мечется, сладко чмокает губами, лопочет во сне: «Батяня, потихонечку!.. Потихонечку, потихонечку...» Во сне она, наверное, видит свой особые, светлые, детские сны; ей легко живется, легко дышится. Ее радует порожняя спичечная коробка. Она возьмет и смастерит из нее сани для своего тряпичного кукленка. Санями этими будет забавляться до вечера, а грядущий день улыбнется ей новой забавой.

У Кондрата же свои думки. Бьется он в них как за сетившаяся рыба... «Когда же ты меня покинешь, проклятая жаль? Когда же ты засохнешь, вредная чертяка?.. И с чего бы это? Иду мимо лошадиных станков, чужие кони стоят,—мне хоть бы что, а как до своего дойду, гляну на его спину с черным ремнем до самой репки, на меченое левое ухо, и вот засосет в грудях, кажись, он мне роднее бабы в эту минуту. И все норовишь ему послаже сенца кинуть, попырейстей, помельче. И другие так-то: сохнет всяк возле своего, а об чужих и бай дюже. Ить нету зараз чужих, все наши, а вот так оно... За худобой не хотят смотреть, многим она обчужала... Вчера дежурил Куженков, коней сам не повел поить, послал парнишку; энтот сел верхи, погнал весь табун к речке в намет. Напилась какая, не напилась — опять захватил в намет и до конюшни. И никому не скажи супротив, оскалются: «Гааа, тебе больше всех надо!» Все это от того, что трудно наживалось. У кого всего по ноздри, энтому, небось, не так жалко... Не забыть сказать завтра Давыдову, как Куженков коней поил. С таким доглядом лошадюка к весне и борону с места не стронет. Поглядеть завтра утрецом, как курей доглядывают, бабы брехали, что, курей, штук семь уж издохли, от тесноты. Ох трудно И зачем зараз птицу сводить? Хоть бы по кочету на двор оставить, заместо часов... В еповской лавке товару нету, а Христиша босая. Хучь кричи—надо ей чириченки бы! Совесть зазревает спрашивать у Давыдова... Нет, нехай уж эту зиму перезимует на пече, а к лету они ей не нужны.» Кондрат думает о нужде, какую терпит строящая пятилетку страна, и сжимает под дерюжкой кулаки, с ненавистью мысленно говорит тем рабочим Запада, которые не за коммунистов: «Продали вы нас за хорошую жалованью от своих хозяев! Променяли вы нас, братушки, на сытую жизнь!.. Через чего до се нету у вас советской власти? Через чего вы так припозднились? Ежели б вам погано жилось, вы бы теперича уж революцию сработали, а то видно ишо жареный кочет вас в зад не клюнул; все вы чухаетесь, никак не раскочаетесь, да как-то недружно, шатко-валко идете..

А клюнет он вас! До болятки клюнет!.. Али вы не видите через границу, как нам тяжело подымать хозяйство? Какую нужду мы терпим, полубосые и полуголые ходим, а сами зубы сомкнем и работаем. Совестно вам будет, братушки, прийти на готовенькое! Исделать бы такой высоченный столб, чтобы всем вам видать его было, влезть бы мне на макушку этого столба, то-то я покрыл бы вас матерным словом!..» Кондрат засыпает. Из губ его валится дыгарка, прожигает большую черную дыру на единственной рубахе. Он просыпается от ожога, встает, шепотом ругаясь, шарит в темноте иголку, чтобы зашить дыру на рубахе; а то Анна утром доглядит и будет за эту дыру точить его часа два... Иголку он так и не находит. Снова засыпает.

На заре, проснувшись, выходит на баз до ветру и вдруг слышит диковинное: обобществленные, ночующие в одном сарае кочета ревуть одновременно разноголосым и мощным хором. Кондрат, удивленно раскрыв опухшие глаза, минуты две слушает сплошной, непрекращающийся кочетиный крик и, когда торопливо затихает последнее запоздавшее «ку-ке-кууу», сонно улыбается: «Ну и оруть чертовы сыны! Чисто — духовая музыка. Кто возля ихнего пристанища живет, сну, покою лишится. А раньше то в одном конце хутора, то в другом. Ни складу ни ладу... Эх! жизнь! — и идет дозоревывать.

Утром, позавтракав, он направляется на птичий двор. Дед Аким Бесхлебнов встречает его сердитым окриком:

— Ну, чего шляешься ни свет ни заря?

— Тебя да курей проведать пришел. Как живеш-могешь, дед?

— Жил, а зараз — не дай и не приведи!

— Что так?

— Служба при курах искореняет!

— Чем же это?

— А вот ты побудь тут денек, тогда узнаеш! Анафены-кочета целый день стражаются, от ног отстал, за ними преследуя. На что уж куры, кажись, бабьего полу, и энти схватют одна другую за хохол — и пошел по базу! Пропади она пропадом такая служба! Нынче же

пойду к Давыдову увольняться, отпрошусь к пчелам.

— Они свьжнутся, дед.

— Покуда они свьжнутся, дед ноги протянет. Да разве ж это мужинское дело? Я ить, как никак, а казак, в турецкой канпании участвовал. А тут — изволь радоваться — над курями главнокомандующим поставили. Два дня, как заступил на должность, а от ребятишков уж проходу нету. Как иду домой, они — вражешты — перестраивают, орут: «Дед курошуп! Дед Аким курошуп!» Был всеми уважаемый, да чтобы при старости лет помереть с клычкой курошупа? Нету моего желанья!

— Брось, дедушка Аким! С ребятишек какой вопрос?

— Кабы они одни, ребятишки, дурили, а то и бабы к ним иные припрягаются. Вчера иду домой голудновать, возля колодезя Настёнка Донецковых стоит, воду черпает. «Управляешься с курями, дед?» — спрашивает. «Управляюсь», — говорю. «А несутся какие курочки, дед?» «Несутся, — говорю, — мамушка, да что-то плохо». А она, кобыляка калмыцкая как заиржет: «Гляди, — говорит, — чтоб к пахоте кошелку яиц нанесли, а то самого себя заставим курей топтать!» Стар я такие шутки слушать. И должность эта дюже обидна!

Старик хотел еще что-то сказать, но возле плетня, грудь в грудь ударились кочета, у одного из гребня цевкой свистнула кровь, у другого с зоба вылетело с пригоршню перьев. Дед Аким рысцой затрусил к ним, на-бегу вооружившись хворостиной.

В правлении колхоза, несмотря на раннее утро, было полно народу. Во дворе, возле крыльца, стояла пара лошадей, запряженных в сани, поджидая Давыдова, собравшегося ехать в район. Оседлавший лапшиновский иноходец рыл ногою снег, а около топтался, подтягивая подруги, Любишкин. Он тоже готовился к поездке в Тубянской, где должен был договориться с тамошним правлением колхоза насчет триера.

Кондрат вошел в первую комнату. За столом рылся в книгах приехавший недавно из станицы счетовод. Осунувшийся и хмурый за последнее время, Яков Лукич что-то писал, сидя напротив. Тут

же толпились колхозники, назначенные нарядчиком на возку сена. Бригадир третьей бригады рябой Агафон Дубцов и Аркашка Менок о чем-то спорили в углу с единственным в хуторе кузнецом, Ипполитом Шалым. Из соседней комнаты слышался резкий и веселый голос Размётнова.

Он только-что пришел, торопясь и посмеиваясь, рассказывал Давыдову:

— Приходят ко мне спозаранок четыре старухи. Коноводит у них бабка Ульяна, мать Мишки Игнатенка. Знаешь ты ее? Нет? Старуха такая, пудов на семь весом, с бородавкой на носу. Приходят. Бабка Ульяна — буря-бурей, не сдышится от гнева, ажник бородавка на носу подсигивает. И с места намётом: «Ах, ты такой-сякой, разэтакий!» У меня в совете народ, а она — матюгается. Я ей, конечно, строго говорю: «Заткнись и прекрати выражение, а то отправлю в станицу за оскорбление власти. Чего ты, — спрашиваю, — взъярилась?» А она: «Вы чего это над старухами мудруете? Как вы можете над нашей старостью смываться?» Насилу дознался, в чем дело. Оказывается, прослыхали они, будто бы всех старух, какие к труду не способные, каким за шестьдесят перевалило, правление колхоза определит к весне... — Размётнов надулся, удерживая смех, кончил: — Будто бы за недостатей паровых машин, какие насиживают яйца, старух определяют на эту работенку. Они и взбесились. Бабка Ульяна и орет, как резанная: «Как узду твою мать! Меня на яйца сажать? Нету таких яиц на какие бы я села! И вас всех чапельником побью и сама утоплюсь!»

Насилу их урезонил: «Не торопись, — говорю, — бабка Ульяна, все одно в нашей речке воды тебе нехватит утопнуть. Все это — брехня, кулацкие сказки». Вот какие дела, товарищ Давыдов! Распускают враги брехню, тормоз нам делают. Начал допрашивать, откедова слухом пользовались, дознался: с Войскового монашка позавчера пришла в хутор, ночевала у Тимофея Борщева и рассказывала им, что, мол, для того и курей собирают, чтобы в город всех отправить на лапшу, а старухам, дескать, такие стульцы поделают, особого фасону, соломки постелют и заставят яйца насиживать, а какие будут бунтоваться,

этих, мол., к стулу будут привязывать.

— Где эта монашка зараз? — спросил присутствовавший при рассказе Нагульнов.

— Умелась. Она не глупая: сбросит — и ходу дальше.

— Таких сорок чернохвостых надо арестовывать и по принадлежности направлять. Не попалась она мне! Завязал бы ей на голове юбку, да плетюганов всыпал... А ты — председатель совета, а в хуторе у тебе ночует, кто хошь. Тоже порядочки!

— Чорт за ними за всеми углядит!

Давыдов, в тулупе поверх пальто, сидел за столом, в последний раз просматривая утвержденных колхозным собранием план весенних полевых работ; не поднимая глаз от бумаги, он сказал:

— Клевета на нас — старый прием врага. Он — паразит — все наше строительство хочет обмарать. А мы ему иногда козырь в руки даем, вот как с птицей...

— Чем это такое? — Нагульнов раздул ноздри.

— Тем самым, что пошли на обобществление птицы.

— Неверно!

— Факт, верно! Не надо бы нам на мелочи размениваться. У нас вон еще семенной материал не заготовлен, а мы за птицу взялись. Такая глупость! Я сейчас локот бы себе укусил... А в райкоме мне за семфонд хвост наломают, факт! Прямо-таки неприятный факт...

— Ты скажи, почему птицу-то не надо обобществлять? Собрание-то согласилось?

— Да не в собрании дело! — поморщился Давыдов. — Как ты не поймешь, что птица — мелочь, а нам надо решать главное: укрепить колхоз, довести процент вступивших до ста, наконец, посеят. И я, Макар, серьезно предлагаю вот что: мы политически ошиблись с проклятой птицей, факт, ошиблись! Я сегодня ночью почитал кое-что по поводу организации колхозов и понял, в чем ошибка: ведь у нас колхоз, то-есть артель, а мы на коммуну потянули. Верно? Это и есть левый уклон, факт! Вот ты и подумай. Я бы на твоём месте (ты провел это и нас сагитировал) с большевистской смелостью признал бы

эту ошибку и приказал разобрать кур и прочую птицу по домам. А? Ну, а если ты не сделаешь, то сделаю я на свою ответственность, как только вернусь. Я поехал, до свиданья.

Нахлобучил кепку, поднял высокий, провонявший нафталином воротник кулацкого тулупа, сказал, увязывая папку:

— Всякие же монашки недобитые ходят, и вот ну болтать про нас, женщин, старушек вооружать против. А колхозное дело такое молодое и страшно необходимое. Все должны быть за нас! И старушки и женщины. Женщина тоже имеет свою роль в колхозе, факт! — и вышел, широко и тяжело ступая.

— Пойдем, Макар, курей разгонять по домам. Давыдов правильные слова говорил. — Размётнов, выжидая ответ, долго смотрел на Нагульнова... Тот сидел на подоконнике, распахнув полушубок, вертел в руках шапку, беззвучно шевелил губами. Так прошло минуты три. Голову поднял Макар разом, и Размётнов встретил его открытый взгляд.

— Пойдем. Промажнулись. Верно! Давыдов-то, чорт шербатый, в аккурат и прав... — и улыбнулся чуть смущенно.

Давыдов сядился в сани, около его стоял Кондрат Майданников. Они о чем-то оживленно говорили. Кондрат размахивал руками, с жаром рассказывая, кучер нетерпеливо перебирал вожжи, поправляя подоткнутый под сиденье махорчатый кнут, Давыдов слушал, покусывая губы.

Сходя с крыльца, Размётнов слышал, как он сказал:

— Ты не волнуйся. Ты поспокойнее. Все в наших руках, все обтяпаем, факт! Введем систему штрафов, обяжем бригадиров следить под их личную ответственность. Ну, пока!

Над лошадиными спинами взвился и щелкнул кнут. Сани вычертили на снегу синие округлые следы полозьев, скрылись за воротами.

На птичьем дворе сотни кур рассыпаны разноцветной галькой. Дед Аким с хвостинкой похаживает по двору. Ветерок заигрывает с сивой его бородой, сушит на лбу зернистый пот. Ходит «курошуп», расталкивая валенками кур, через плечо у него висит мешок, наполовину наполненный оздаками. Сыплет

дед озадки узкой стежкой от амбара к сараю, а под ногами у него варом кипят куры, непрестанно звучит торопливо-заботливое: «Ко-ко-ко-ко-ко-ко!»

На гумне, отгороженном частоколом, сплошными завалами известняка белеют гусиные стада. Оттуда, как с полкой воды во время весеннего перелета, полнозвучный и зычный несется гогот, хлопанье крыл, кагаканье.

Возле сарая — тесно скученная толпа людей. Наружу торчат одни спины да зады. Головы наклонены вниз; куда-то под ноги, внутрь круга, устремлены глаза.

Размётнов подошел, заглянул через спины, пытаясь разглядеть, что творится в кругу. Люди сопят, вполголоса переговариваются.

— Красный собьет.

— Как-то ни чорт! Гля, у него уж гребень набок.

— Ох, как он его саданул!

— Зев-то разинул, приморился...

Голос деда Щукаря:

— Не пихай! Не пихай! Он сам начнет! Не пихай, шалавый!.. Вот я тебя пихну под дыхало!..

В кругу, распустив крылья, ходят два кочета, один ярко-красный, другой оперенный иссиня-черным грачиным пером. Гребни их расклеваны и черны от засохшей крови, под ногами набиты черные и красные перья. Бойцы устали. Они расходятся, делают вид, будто что-то клюют, гребут ногами подтаявший снег, следя друг за другом настороженными взглядами. Притворное равнодушие их коротко: черный внезапно отатлкивается от земли, летит вверх, как «галка» с пожарища, красный тоже подпрыгивает. Они сшибаются в воздухе раз и еще раз...

Дед Щукарь смотрит, забыв все на свете. На кончике его носа зябко дрожит сопла, но он не замечает. Все внимание его сосредоточено на красном кочете. Красный должен победить. Дед Щукарь бился с Демидом Молчуном об заклад. Из напряженнейшего состояния Щукаря неожиданно выводит чья-то рука: она грубо тянет деда за ворот полушубка, вытаскивает из круга. Щукарь поворачивается, лицо его изуродовано несказанной злобой, кочетингой решимостью броситься на обидчика. Но вы-

ражение лица мгновенно меняется, становится радушным и приветливым: это — рука Нагульнова. Он, хмурясь, растаскивает зрителей, разгоняет петухов, мрачно говорит:

— Китущки тут обиваете, кочетов стравливаете... А ну, расходишь на работу, лодыри! Ступайте сено метать к конюшне, коли делать нечего. Навоз идите возить на огороды. Двое пущай идут по дворам и оповещают баб, чтобы шли разбирать курей.

— Распушается куриный колхоз? — спрашивает один из любителей кочетинного боя, единоличник в лисьем треухе, по прозвищу Банник. — Видать, ихняя сознательность не доросла до колхоза! А при сицилизме кочета будут драться или нет?

Нагульнов мерит спрашивающего тяжеленным взглядом, бледнеет:

— Ты шути, да знай, над чем шутить. За социализм самый цвет людской погиб, а ты, дерьмо собачье, над ним вышучиваешься? Удались зараз же отседова, контра, а то вот дам тебе в душу, и поплывешь на тот свет. Пошел, гад, пока я из тебя упокойника не сделал! Я ить тоже шутить умею!

Он отходит от притихших казаков, в последний раз глядит на баз, полный птицей, и медленно, сутловато идет к калитке, подавив тяжелый вздох.

Глава 20

В райкоме синё вился табачный дым, тарактела пишущая машинка, голландская печь дышала жаром. В два часа дня должно было состояться заседание бюро. Секретарь райкома — выбритый, потный, с расстегнутым от духоты воротом суконной рубахи — торопился: указав Давыдову на стул, он почесал обнаженную пухло-белую шею, сказал:

— Времени у меня мало, ты это учти. Ну, как там у тебя? Какой процент коллективизации? До ста скоро догонишь? Говори короче.

— Скоро. Да тут не в проценте дело. Вот как с внутренним положением быть? Я привез план весенних полевых работ, может быть, посмотришь?

— Нет, нет! — испугался секретарь и, болезненно щуря сумчатые глаза, вытер платочком со лба пот. — Ты с этим

иди к Лупетову, в райполеводсоюз. Он гам посмотрит и утвердит, а мне некогда: из окружка товарищ приехал, сейчас будет заседание бюро. Ну, спрашивается, за каким ты чортом к нам кулаков направил? Беда с тобой... Ведь я же русским языком говорил, предупреждал: «С этим не спеши, сколь нет у нас прямых директив». И вместо того, чтобы за кулаками гонять и, не создавши колхоза, начинать раскулачивание, ты бы лучше сплошную кончал. Да что это у тебе с семфондом-то? Ты получил директиву райкома о немедленном создании семфонда? Почему до сих пор ничего не сделано во исполнение этой директивы? Я буду вынужден сегодня же на бюро поставить о вас с Нагульновым вопрос. Мне придется настаивать, чтобы вам записали это в дела. Это же безобразия! Смотри, Давыдов! Невыполнение важнейшей директивы райкома повлечет за собой весьма неприятные для тебя оргвыводы! Сколько у тебя собрано семенного по последней сводке? Сейчас я проверю... — Секретарь вытащил из стола разграфленный лист, шурясь скользнул по нему глазами и разом покрылся багровой краской: — Ну, конечно! Ни пуда не прибавлено! Что же ты молчишь?

— Да ты не даешь мне говорить. Семфондом, верно, еще не занимались. Сегодня же вернусь, и начнем. Все это время каждый день созывали собрания, организовывали колхоз, правление, бригады, факт! Дела очень много, нельзя же так, как ты хочешь: по щучьему веленью, раз-два — и колхоз создать, и кулака изъять, и семфонд собрать... Все это мы выполним, и ты не торопись записывать в дело, еще успеешь.

— Как не торопись, если округ и край жмут, дышать не дают! Семфонд должен быть создан еще к первому февраля, а ты...

— А я его создам к пятнадцатому, факт! Ведь не в феврале же сеять будем? Сегодня послал члена правления за триером в Губянской. Там председатель колхоза Гнедых бузит, на нашем письменном запросе, когда у них освободится триер, написал резолюцию: «В будущие времена». Тоже остряк-самочка, факт!

— Ты мне про Гнедых не рассказывай. О своем колхозе давай.

— Провели кампанию против убоя скота. Сейчас не режут. На-днях приняли решение обобществить птицу и мелкий скот, из боязни, что порежут, да и вообще... Но я сегодня сказал Нагульнову, чтобы он обратно раздал птицу.

— Это зачем?

— Считаю ошибочным обобществление мелкого скота и птицы, в колхозе это пока не нужно.

— Собрание колхозное приняло такое решение?

— Приняло.

— Так в чем же дело?

— Нет птичников, настроение у колхозника упало, факт! Незачем его волновать по мелочам... Птицу не обязательно обобществлять, не коммуны строим, а колхоз.

— Хорошенькая теория! А возвращать обратно есть зачем? Конечно, не нужно было браться за птицу, но если уж провели, то нечего пятиться назад. У вас там какое-то топтание на месте, двойственность... Надо решительно подтянуться! Семфонд не создан, ста процентов коллективизации нет, инвентарь не отремонтирован...

— Сегодня договорились с кузнецом.

— Вот видишь, я и говорю, что темпов нет! Непременно агитколонну к вам надо послать, она вас научит работать.

— Пришли. Очень хорошо будет, факт!

— А вот с чем не надо торопиться, вы моментально обтяпали. Кури, — секретарь протянул портсигар. — Вдруг, как снег на голову, прибывают подводы с кулаками. Звонит мне из ГПУ Захарченко: «Куда их девать? Из округа ничего нет. Под них эшелоны нужны, на чем их отправлять, куда отправлять?» Видишь, что вы наработали! Не было ни согласовано ни увязано...

— Так что же я с ними должен был делать? — Давыдов осердился. А когда в сердцах он начинал говорить торопливей, то слегка шепелявил, потому что в щербину попадал язык и делал речь причмокивающей, нечистой. Вот и сейчас он чуть шепеляво, повышено и страстно заговорил своим грубоватым тенорком:

— На шею я их должен был себе повесить? Они убили бедняка Хопрова с женой...

— Следствием это не доказано, — перебил секретарь, — там могли быть посторонние причины.

— Плохой следователь, потому и не доказано. А посторонние причины — чепуха! Кулацкое дело, факт! Они нам всячески мешали организовывать колхоз, вели агитацию против, — вот и выселили их к чорту. Мне непонятно, почему ты все об этом упоминаешь? Словно ты недоволен...

— Глупейшая догадка! Поосторожней выражайся! Я против самостоятельности в таких случаях, когда план, плановая работа подменяются партизанщиной. А ты первый ухитрился выбросить из своего хутора кулаков, поставив нас в страшно затруднительное положение с их выселением. И потом, что за местничество, почему ты отправил их на своих подводах только до района? Почему не прямо на станцию, в округ?

— Подводы нужны были.

— Вот я и говорю — местничество! Ну, хватит. Так вот тебе задания на ближайшие дни: собрать полностью фонд, отремонтировать инвентарь к севу, добиться стопроцентной коллективизации. Колхоз твой будет самостоятельным. Он территориально отдален от остальных населенных пунктов и в «Гигант», к сожалению, не войдет. А тут в округе — чорт бы их брал! — путают: то «Гиганты» им подавай, то разукрупняй! Мозги переворачиваются! — Секретарь взялся за голову, посидел с минуту молча и уже другим тоном сказал:

— Ступай, согласовывай план в райполеводсоюз, потом обедай в столовке, а если там обедов не захватишь, иди ко мне на квартиру, жена тебя покормит. Подожди! Записку напишу.

Он быстро черкнул что-то на листке бумажки, сунул Давыдову и, уткнувшись в бумаги, протянул холодную потную руку.

— И тотчас же езжай. Будь здоров. А на бюро я о вас поставлю. А впрочем, нет. Но подтянитесь. Иначе — оргвыводы.

Давыдов вышел, развернул записку. Сним карандашом было размашисто написано: «Лиза! Категорически предлагаю незамедлительно и безоговорочно

предоставить обед пред'водителю этой записки. Г. Корчжинский».

«Нет уж лучше без обеда, чем с таким мандатом» — уныло решил проголодавшийся Давыдов, прочитав записку и направляясь в райполеводсоюз.

Глава 21.

По плану площадь весенней пахоты в Гремячем Логу должна была составить в этом году 472 гектара, из них 110 — целины. Под зябь осенью было вспахано — еще единоличным порядком — 643 гектара, озимого жита посеяно 210 га. Общую посевную площадь предполагалось разбить по хлебным и масличным культурам следующим порядком: пшеницы — 667 гектаров, жита — 210, ячменя — 108, овса — 50, проса — 65, кукурузы — 167, подсолнуха — 45, конопли — 13. Итого — 1.325 га плюс 91 отведенной под бахчи песчаной земли, простиравшейся на юг от Гремячего Лога до Ужачиной балки.

На расширенном производственном совещании, состоявшемся двенадцатого февраля и собравшем более сорока человек колхозного актива, стоял вопрос о создании семенного фонда, о нормах выработки на полевых работах, о ремонте к севу инвентаря и о выделении из фуражных запасов брони на время весенних полевых работ.

По совету Якова Лукича, Давыдов предложил засыпать семенной пшеницы круглым числом по семи пудов на гектар, всего — 4.669 пудов. Тут-то и поднялся оглушительный крик. Всяк себе орал, не слушая другого, от шума стекла в титковом курене дрожали и вызванивали.

— Много дюже!

— Как бы не ослабило!

— По серопескам сроду мы так не высевали.

— Курям насмех!

— Пять пудов, от силы.

— Ну, пять с половиной.

— У нас жирной земли, какая по семь на десятину требует, с воробьиный нос! Толоку надо бы пахать, чего власть предусматривала?

— Либо возля Панюшкина барака, энти ланы.

— Хо! Самые травяные места запаивать! Сказал, как в воду дунул!

— Вы про хлеб гурьете, сколько килов на эту га надо.

— Ты нам килами голову не морочь! Мерой али пудом вешай!

— Граждане! Граждане, тише! Граждане, греби вашу мать! Тю-ю-у, сбесились, проклятые! Одно словцо мне дайте! — надрылся бригадир второй Любишкин.

— Бери их все, даем!

— Ну, народ езви его в почку! Чисто скотиняка... Игнат! И чего ты ревешь, как бугай? Ажник посинел весь с натуги...

— У тебя у самого с рта пена клубом идет, как у бешеной собаки!

— Любишкину слово преставьте!

— Терпезу нету, глушно!

Совещание лютовало в выкриках. И наконец, когда самые горлодеры малость приохрипли, Давыдов свирепо, необычно для него, заорал:

— Кто-о-о так совещается, как вы?.. Почему рев? Каждый говорит по порядку, остальные молчат, факт! Бандитства здесь нечего устраивать! Сознательность надо иметь! — И тише продолжал: — Вы должны у рабочего класса учиться, как надо организованно проводить собрания. У нас в цеху, например, или в клубе собрание, и вот идет оно порядком, факт! Один выступает, остальные слушают, а вы кричите все сразу, и ни чорта не поймешь!

— Кто вякнет середь чужой речи, того вот этой задвижкой так и потяну через темя, ей-богу! Чтоб и копыта на сторону откинул! — Любишкин встал, потряс дубовым толстенным запором.

— Этак ты нас к концу собрания всех перекалечишь! — высказал предположение Демка Ушаков.

Совещавшиеся посмеялись, покурили и уже серьезно взялись за обсуждение вопроса о норме высева. Да оно — как выяснилось — и спорить-то и орать было нечего... Первым взял слово Яков Лукич и сразу разрешил все противоречия:

— Надсадились от крику, занапрасну. Почему товарищ Давыдов предлагали по семи пудов? Очень просто, это наш общий совет. Протравливать и чи-

стить на триере будем? Будем. Отход будет? Будет. И может много быть отходу, потому у иных хозяев, какие нерадеи, семенное зерно от озадков не отличишь. Блюдется оно с едовым вместе, подсевається, абы как. Ну, а ежели и будут остальцы, не пропадут же они? Птицей, животиной потравим.

Решили — по семь пудов. Хуже дело пошло, когда коснулись норм выработки на плуг. Тут уж пошел такой разнобой в высказываниях, что Давыдов почти растерялся.

— Как ты можешь мне выработку зãгодя на плуг устанавливать, ежели не знаешь, какая будет весна? — кричал бригадир третьей бригады, рябой и дюжий Агафон Дубцов, нападая на Давыдова. — А ты знаешь, как будет снег таять и какая из-под него земля выйдет, сырая или сухая? Ты что, сквозь землю видишь?

— А ты что же предлагаешь, Дубцов? — спрашивал Давыдов.

— Предлагаю бумагу зря не портить и зараз ничего не писать. Придет сев, и толкач муку покажет.

— Как же ты, бригадир, а несознательно выступаешь против плана? По твоему, он не нужен?

— Нельзя зãгодя оказать, что и как! — неожиданно поддержал Дубцова Яков Лукич, — и норму как можно становить? У вас, к примеру, в плугу три пары добрых, старых быков ходят, а у меня трехлетки, недоростки. Разве же я с ваше впащу? Сроду нет!

Но тут вмешался Кондрат Майданников:

— От Островного завхоза дюже удивительно нам такие речи слухать! Как же ты без заданий будешь работать? Как бог на душу положит? Я от чапиг¹⁾ не буду рук отымать, а ты на припеке будешь спину греть, а получать за это будем одинаково? Здорово живешь, Яков Лукич!

Слава богу, Кондрат Христофорыч! А как же ты уравниешь бычиную силу и землю? У тебя — мягкая земля, а у меня — крепь, у тебя — в низине лан, а у меня — на бугру. Скажи уж, ежели ты такой умный.

¹⁾ Поручни плуга.

— По крепкой — одна задача, по мягкой — другая. Быков можно подравнять в запряжках. Все можно учесть, ты мне не толкуй!

— Ушаков хочет говорить.

— Просим!

— Я бы, братцы, так сказал: худобу надо, как оно всегда водится, за месяц до сева начать кормить твердым кормом: добрым сеном, кукурузкой, ячменем. Вот тут вопросина, как у нас с кормами будет... Хлебозаготовка с'ела лишнюю зерно...

— О скоте потом будет речь. Сейчас это не по существу, факт! Надо решать вопрос о нормах дневной выработки на пахоте. Сколько гектаров по крепкой земле, сколько на плуг, сколько на сеялку.

— Сеялки они тоже разные! Я на одиннадцатирядной не сработаю же с семнадцатирядковой.

— Факт! Вноси свое предложение. А вы чего, гражданин, все время молчите? Числитесь в активе, а голоса вашего я еще не слышал.

Демид Молчун удивленно взглянул на Давыдова, ответил нутряным басом:

— Я согласный.

— С чем?

— Что надо пахать, стало быть...

и сеять.

— Ну?

— Вот и все.

— И все?

— Кгм.

— Поговорили! — Давыдов улыбнулся, еще что-то сказал, но за общим хохотом слов его не было слышно. Потом уже за Молчуна объяснился дед Щукарь:

— Он у нас в хуторе, товарищ Давыдов, Молчуном прозывается. Всю жизнь молчит, гутарит в крайностях, через это его и жена бросила. Казак он не глупой, а в роде дурачка, али, нежнее сказать, как бы с придурью что ли, али бы в роде мешком из-под угла вдаренный. Мальченком был, я его помню, сопливый такой и никудышный, без шпорток бегал, и никаких талантов за ним не замечалось, а зараз вот вырос и молчит. Его при старом прижмие тубянской бабюшка даже причастия за это лишал. На исповеди накрыл его черным платком, спрашивает (в великий пост было

дело, на семей, никак, неделе): «Воруешь, чадо?» Молчит. «Блудом действуешь?» Опять молчит. «Табак куришь? Прелюбы сотворишь с бабами?» Обратно молчит. Ему бы, дураку, сказать, мол: «Грешен, батюшка!» и сей момент было бы отпущение грехов...

— Да заткнись, ты! — голос сзади и смех.

—...Зараз, в один секунд кончаю! Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. Батюшка в отчаянность пришел, в испуг вдарился, питрахиль на нем дрожит, а все-таки спрашивает: «Может ты когда жену чужую желал, или ближнего осла его, или протчего скота его?» Ну, и разное другое по евангелию... Демид опять же молчит. Да и что же можно ему сказать? Ну, жену чью бы он ни пожелал, все одно этого дела не было бы; никакая, самая последняя ему не...

— Кончай, дед! К делу не относящийся твой рассказ, — сурово приказал Давыдов.

— Он зараз отнесется, вот-вот подойдет к делу. Это толечки приступ. Ишо один секунд! Перебили... Ах, едрить твою за качан! Забыл об чем речь-то шла!.. Дай бог памяти... Твою мать с такой памятью! Вспомнил! — дед Щукарь хлопнул себя по плечи, посыпал очередями, как из пулемета: — Так вот на счет чужой женки Демидовы дела табак были, а осла, чего ему желать, или протчую святую скотиняку? Он, может, и пожелал бы, пребывая в хозяйстве безлошадным, да они у нас не водятся, и он их средо не видал. А спрошу я вас, дорогие граждане, откель у нас ослы? Спокон-веку их тут не было! Тигра там или осел, то ж самое верблюдо...

— Ты замолчишь ноне? — спросил Нагульнов, — зараз выведу из хаты.

— Ты, Макарушка, на первое мая об мировой революции с полден до заката солнца в школе говорил. Скушно говорил, слов нет, то же да одно же толчок. Я потихонечку на лавке свернулся калачом, уснул, а перебивать тебя не решил, а вот ты перебиваешь...

— Нехай кончат дед. Время у нас терпит, — сказал Размётнов, шибко любивший шутку и веселый рассказ. Деду продлили время на две минуты, и он, глотая слова, кончил:

— Может, через это он и смолчал, никому ничего не известно. Поп тут диву дался. Лезет головой к Демиду под плуг, пытается: «Да ты не немой?» Демид тут говорит ему: «Нету, мол, надоел ты мне!» Поп тут осерчал, слов нет, ажник зеленый с лица стал, как зашипит потихоньку, чтоб ближние старухи не слышали: «Так чего же ты, тудыт твою мать, молчишь, как столб?» Да ка-а-ак дубнет Демиду промеж глаз малым подсвечником!

Хохот покрывает рокочущий бас Демиды:

— Брешешь! Не вдарил.

— Неужли не вдарил? — страшно удивился дед Шукарь. — Ну, все одно, хотел, небось, вдарить... Тут он его и причастия лишил. Что же, пражданы, Демид молчит, а мы будем гутарить, нас это не касается. Хучь оно, хорошее, слово, как мое, и серебро, а молчание — золото.

— Ты бы все свое серебро-то на золото променял! Другим бы спокойнее было... — посоветовал Нагульнов.

Смех то вспыхивал горящим сухостоем, то гас. Рассказ деда Шукаря, было, нарушил деловую настроенность. Но Давыдов смахнул с лица улыбку, спросил:

— Что ты хотел сказать о норме выработки? К делу приступай!

— Я-то? — дед Шукарь вытер рукавом вспотевший лоб, заморгал. — Я ничего про нее не хотел... Я про Демиду засветил вопрос... А норма тут не при чем...

— Лишаю тебя слова на это совещание! Говорить надо по существу, а балагурить можно после, факт!

— Десятину в сутки на плуг, — предложил один их агроуполномоченных — колхозник Батальщиков Иван.

Но Дубцов возмущенно крикнул:

— Одурач ты! Бабке своей рассказы-вай побаски! Не вспашешь за сутки десятину! В мылу будешь, а не сработашь!

— Я пахал допреж. Ну, чудок, может, и меньше...

— То-то и оно, что меньше!

— Поддесятины на плуг. Это — твердой земли.

После долгих споров остановились на следующей суточной норме вспашки:

твердой земли на плуг — 0,60 гектара, мягкой — 0,75.

И по высеву для садилок: одиннадцатирядной — $3\frac{1}{4}$ гектара, тринадцатирядной — 4, семнадцатирядной — $4\frac{1}{4}$.

При общем наличии в Гремячем Логу 184 пар быков и 73 лошадей план весеннего сева не был напряженным. Об этом так и заявил Яков Лукич:

— Отсемя рано, ежли будем работать при усердии. На тягло падает по $4\frac{1}{2}$ десятины на весну. Это легко, братцы! И гутарить нечего.

— А вот в Тубянском вышло по 8 на тягло, — сообщил Любишкин.

— Ну и пушай они себе помылят промеж ног! Мы до заморозков прошлую осень пахали зябь, а они с Покрова хворост зачали делить, шило на мыло переводить.

Приняли решение засыпать семфонд в течение трех дней. Выслушали нерадостное заявление кузнеца Ипполита Шалого. Он говорил зычно, так как был туговат на ухо, и все время вертел в черных, раздавленных работой руках замаслившийся от копоти треух, робея говорить перед столь многолюдным собранием:

— Всему можно ремонт произвести. За мной дело не станет. Но вот насчет железа, как ни мого надо стараться, зараз же его добывать. Железа на лемеш и на черёсла плугов и куска нету. Не с чем работать. К садилкам я приступаю с завтрашнего дня. Подручного мне надо и угла, и какая мне от колхоза плата будет?

Давыдов подробно раз'яснил ему относительно оплаты и предложил Якову Лукичу завтра же отправиться в район за железом и углем. Вопрос о создании фуражной брони разрешили скоро. А потом взял слово Яков Лукич:

— Надо нам толком обсудить, братцы, как, где и что сеять, и полевода надо выбрать знающего, грамотного человека. Что же, было у нас до колхоза пять агроуполномоченных, а делов ихних не видно. Одного полевода нужно выбрать из старых казаков, какой всю нашу землю знает, и ближнюю и переносную. Покуда новое землеустройство не прошло, он нам даже сгодится! Я скажу так: зараз в колхозе у нас почти весь хутор. Помаленечку вступают, да

вступают. Дворов полсотни осталось единоличников, да и энти завтра проснутся колхозниками... вот и надо нам сеять по науке, как она диктует. Я это к тому, чтобы из 200 десятин, какие у нас под пропашные предназначаются, половину сработать под херсонский пар. Нонешнюю весну 110 десятин будем подымать целины, с ней все одно этот год доброго урожая не ждать, вот и давайте их кинем под этот херсонский пар.

— Слыхом про такой не слыхивали!

— Что это за херсон?

— Ты нам фактически освети это, — попросил Давыдов, втайне гордясь познаниями своего столь многоопытного завхоза.

— А это вот какой пар, иначе он ишо прозывается кулисным, американским. Это дюже любопытное и с умом придумано! К примеру, сеете вы нонешний год пропашные, ну, кукурузу там, либо подсолнушки, и сеете редкими рядом, наполовину реже, чем завсегда, так что урожай супротив настоящего, правильного посева соберете толечко 50 процентов. Кочны с кукурузы сымете, либо подсолнуховые шляпки поломаете, а будылья оставляете на месте. И в эту же осень промеж будыльев по кулисам сеете пшеницу-озимку.

— А как же сеять-то? Садилка будылья ить поломает? — спросил жадно, с открытым ртом слушавший Кондрат Майданников.

— Зачем поломает? Ряды же редкие, через это она будылья не тронет, рукава ее мимо пойдут, стало бить, ляжет и задержится промеж будыльев снег. Таять он будет степенно и влаги больше даст. А весною, когда пшеница подымется, эти будылья удаляют, пропаывают. Довольно завлекательно придумано. Я сам хучь и не пробовал так сеять, а в этом году уж, было, намеревался спытать. Тут верный расчет, без ошибки!

— Это вот да! Поддерживаю! — Давыдов толкнул под столом ногою Нагульнова, шепнул: — Видишь? А ты все был против него...

— Я и зараз против.

— Это уж от упрямства, факт! Уперся, как вол...

Совещание приняло предложение Якова Лукича. После этого решали и обсоветывали еще кучу мелких дел. Стали расходиться. Не успели Давыдов с Нагульновым дойти до сельсовета, как из сельсоветского двора навстречу им быстро зашагал невысокий парень в распахнутой кожаной тужурке и юнгштурмовском костюме. Придерживая рукой клетчатую городскую кепку, преодолевая сопротивление бившего порывами ветра, он быстро приближался.

— Из району кто-то, — сощурился Нагульнов.

Паренек подошел вплотную, по-военному приложил руку к козырьку кепки:

— Вы не из сельсовета?

— А вам кого?

— Секретаря здешней ячейки или предсовета.

— Я секретарь ячейки, а это — председатель колхоза.

— Вот и хорошо. Я, товарищи, из агитколонны. Мы только-что приехали и ждем вас в совете.

Курносый и смуглолицый паренек быстро скользнул глазами по лицу Давыдова, вопрошающе улыбнулся:

— Ты не Давыдов, товарищ?

— Давыдов.

— Я тебя угадал. Недели две назад встречались мы с тобой в окружке. Я в округе работаю, на маслозаводе, прессовщиком.

И только тут Давыдов понял, почему, когда подошел к ним парень, вдруг пахуче и сладко дохнуло от него подсолнечным маслом: его промасленная кожаная куртка была насквозь пропитана этим невыветривающимся вкусным запахом.

(Продолжение следует).



БОР. ПАСТЕРНАК

Весеннею порою льда
И слез, весной бездонной,
Весной бездонною, когда
В Москве — конец сезона,
Вода доходит в холода
По пояс небосклону,
Отходят рано поезда,
Пруды — желтолимонны,
И провода, как провода,
Оттянуты в затоны.

Когда ручьи поют романс
О непролазной грязи,
И вечер явно не про нас
Таинственен и черномаз,
И неба безобразье —
Как речь сказателя из масс
И женщин до потопа,
Как обаянье без гримас
И отдых углекопа.

Когда какой-то брод в груди,
И лошадью на броне
В нас что-то плачет: пощади,
Как площади отродье.
Но столько в лужах позади
Затопленных мелодий,
Что вставил вал, и заводи
Машину половодья.
Какой в нее мне вставить вал?
Весна моя, не сетуй.
Печали час твоей совпал
С преображеньем света.

Струитесь, черные ручьи,
Родимые, струитесь.

Примите в заводи свои
Околицы строительств.

Их марева, как облака
Зарей неторопливой.
Как август, жаркие века
Скопили их наплывы.

В краях заката стоял лед,
И по воде, оттаяв,
Гнездом сполоснутым плывет
Усадьба без хозяев.

Прощальных слез не осуша
И плакав вечер целый,
Уходит с запада душа,
Ей нечего там делать,

Она уходит, как весной
Лимонной желтизною
Закатной заводи лесной
Пускаются в ночное.
Она уходит в перегной
Потопа, как при Ное,
И ей не боязно одной
Бездонною весною.

Пред нею край, где в поясной
Поклон не вгонят стона,
Из сердца девушки сенной
Не вырежут фестона.
Пред ней заря, пред ней и мной
Зарей желтолимонной —
Простор, затопленный весной,
Весной, весной бездонной.

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта — только след
Ее путей, не боле.
И так как я лишь ей задет
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на-нет
В революционной воле.
О том ведь и веков рассказ,
Как, с красотой не справясь,

Пошли топтать не осмотрясь
Ее живую завязь.
А в жизни красоты как-раз
И крылась жизнь красавиц.
Но их дурманил лоботряс,
И развивал мерзавец.
Венец творенья не потряс
Участников и сам погряс
Во тьме утаек и прикрас.
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.

Энергия

Роман

ФЕДОР ГЛАДКОВ

(Продолжение)¹⁾

ХIII.

На самом берегу, на высокой гранитной скале, между бетонными башнями бычков и подпорной стеной электростанции, еще уродливой от сизых опалубок, свалок арматуры и разных строительных материалов, белела стенами длинная казарма — контора инженера Кряжича, начальника гидротехнических работ. Каждый день с раннего утра здесь была торопливая суета — заботливо сновали люди из дверей в двери (десятники, прорабы, помпрорабы, техники, рабочие), толкались по коридору, торопливо носились с бумажками, с ведомостями, с отчетами по различным объектам, волновались, обливались потом, ругались, выходили из кабинета Кряжича с растерянными улыбками. Где-то за перегородками орали по телефону.

В двух комнатах у самых выходных дверей водворились штабы Мирона и Васяя. На стене в обеих комнатах припилили кнопками большие листы миллиметровой бумаги для ежедневного графика работ в котловане, на шлюзе, на бетоне (хозяйственный план — выполнение, встречный план — выполнение). На столах поставлены были наскоро сделанные в деревообделочной мастерской подвижные диаграммы роста и убыли рабочей силы, мобилизации основных рабочих кадров по цехам и объектам работ. Огромные синие листы генерального плана и разных раз-

меров детальных и рабочих чертежей. На них должны были намечаться разноцветными бумажками наступательное движение ударных бригад, их число на разных участках, чтобы можно было наглядно маневрировать боевыми силами в процессе работы — производить переброски на более слабые участки. На одном из столов лежала сводка работ, на которую непрерывно в течение круглых суток заносились цифровые показатели. Здесь же в развернутом виде висел на стене бюллетень работы партячек — их активности и инициативы. От бриза был привлечен парень, товарищ Гнедов, с сердитым носом. Он должен был вести учет рационализаторских предложений и немедленно проводить их в жизнь через бюро парткома. Про этого Гнедова Васяя сказал:

— У него — взыскательный нос. Гнедов не только глазами смотрит, но и носом.

Гнедов сейчас же, как только сел за свой стол, предложил ввести карточки обмена опытом. Он не дождался, как отнесутся к этому Мирон и Васяя, и решительно заключил:

— Я это скоростно осуществлю на деле.

— Сначала нужно организовать работу...

— Аккуратно! Для чего же ты меня здесь поставил? А вот эти подвижные диаграммы нужно поставить в людных местах, этак в сажень высотой, чтобы разъярить ревность. Вот тоже световые

¹⁾ См. «Новый мир», кн. 1 и 2 с. г.

сигналы на высоких местах, чтобы — на весь горизонт. Выигрышно. Чтобы сердце дрожало. Не плохо бы — переходное знамя... Хорошо публиковать имена в газете. Гордость, гордость! Человек любит заслуженную гордость.

— Не все сразу, мой друг. Дай тебе волю, ты — как квас из бугылки. А потом — пусто. Поосторожнее. Надо уметь распоряжаться своими силами — не жадничать.

Васяй в хлопотах обливал смехом Гнедова.

— Как и подобает борзому коню, наш гнедко скачет, закусив удила... Сдерживай его, а он — на дыбы.

— Аккуратно! Все должно быть ново и изобретательно. Волновать надо. Соревнование — это волнение и огонь... Деловитость должна быть горячей. Творчество! Холодная работа — делачество. Нужно делать так, чтобы работа ассенизаторов, как соцсоревнование, пылала красотой. Чтобы возбуждала всех, не только самих ассенизаторов. А вы думали — как? Чтобы любовались, переживали... Тогда и вонь воспринимается, как аромат.

А когда говорил, не сидел уже за столом, а вышел на середину комнаты и размахивал руками. Он весь кипел вдохновением. И Мирон и Васяй невольно сами заражались его порывами.

В первый же вечер в этой комнате собраны были все секретари ячеек и председатели профкомов. А Осокин с Цезарем были командированы провести собрание актива ИТР.

Нужно было только выяснить наличность рабочей силы на объектах работ и ход мобилизации партийцев и комсомольцев. Нужно было точнее учесть число бурильщиков, бетонщиков, плотников, железнодорожников, чтобы немедленно насытить эти виды труда свежими силами. Вторая половина заседания была посвящена выработке методов работы, расстановке руководящих сил, охвату масс работой в котловане, в блоках, на шлюзах до тех пор, пока не развернется кампания по вербовке рабочей силы.

Выяснилось, что в котловане и на бетоне из четырех тысяч человек всех смен осталось только полтора ста, да и то только у прораба Шепеля, да и то

только наиболее квалифицированные рабочие. Подпальщиков остались единицы, бурильщиков — тоже, плотники еще немного задержались, но гают с каждым днем. Сегодня работают в котловане главным образом рабочие центральных механических мастерских.

— Триста шестьдесят человек! — со строгой гордостью выкрикнул Кольча. Он даже встал с табуретки с достоинством человека, который отвечает за всех этих людей. — На смену им в час ночи придут четыреста выходников.

— Мало, Кольча.

— Мало, что говорить. Только дело тут — не в числе, Мирон, а — как люди работают.

Потом не утерпел — собщил, что завтра с утра все цеха и электротехнический отдел устраивают демонстрацию. Все товарищи, которые сейчас здесь, возглавляют шествие. Демонстранты пройдут по всем поселкам с призывом и лозунгами. Все цеха, отделы, подсобные предприятия и управление прерывают свою работу на два часа и выходят на улицу. И он перемигнулся с Васяем. Они оскалили зубы и поиграли глазами.

— Гут, — кивнул головою Мирон, точно все то, что сообщил Кольча, было уже предусмотрено планом, а Кольча уже опоздал со своей информацией.

«Он торопится, как бы его не перегнали, — отметил Мирон, — он не уступит никому своей позиции».

И он взглянул на Васяя, сравнивая их друг с другом. Оба они — из одного материала, и в обоих бурлит избыток сил. Он вспомнил, как однажды зашел в комнату Васяя, в парткоме, жаркую, беспокойную от ребят, и увидел, как Васяй гладил ладонью открытые страницы книги. И непонятно было: не то Васяй прислушивался к тому, что толковали ребята, не то выщипывал глазами густые строчки. Васяй был коренастый парень, крепыш, с коричневой шевелюрой и большими красными руками. Он всегда прислушивался и приглядывался и к людям и к вещам и всегда что-то соображал. Казалось, он одновременно делал множество дел: и вел собрание, и быстро сточил карандашиком, и как бы нечаянно перелистывал книжку, точно жадничал — как бы не пропустить даром лишнюю минуту. Он

так же внимательно прислушался к Мирону и, будто вспомнив о чем-то, написал ему записочку на обрывке бумажки: «Замечательная вещь, Мирон. Еще Маркс в «Капитале» создал настоящую формулу воспитания нашей молодежи. У него сказано: «из фабричной системы возникли зародыши будущего воспитания, при котором для всех детей свыше известного возраста будут соединены производительный труд с учением и гимнастикой». Ведь мы же это осуществляем на деле. Вот она диалектика-то!»

Взволнованно переглянулся с Миронem и опять стал руководить собранием.

А Мирон с завистью подумал, смотря в глаза Васяя, которые переливались горячими каплями: «В каком это месте сказано у Маркса? Я вот забыл, а он мне поторопился нацарапать на бумажке, и сам этого не забудет. Должно быть, он ничего не забывает. А ведь рабочий парень».

Васяй опять вспомнил о чем-то, забеспокоился и вытащил из груды бумаг местную газету. Стал торопливо и зорко пробегать заметки и статьи и отмечивать их карандашом. Потом быстро крикнул парню у двери:

— Вызови мне, Серега, Прохладного. Пусть немедленно бежит сюда.

Но Кольча — иной. Это — парень, которого никак нельзя представить вне практического дела. Он похож на удалого партизана, который неустанно и смело делает налеты на противника. Он может жить и дышать только в самом процессе дел и только в гуще людей. У него, вероятно, нет ни одной свободной секунды, чтобы заняться книжкой и подумать над печатной страницей. Но рабочий он самый рьяный и плодовитый. Ходит в литкружок. Он первый сбил парней своего цеха в ударный отряд, и они бросаются на участки работ, где были тревогу. Каждый день после смены они были в деле: ремонтировали на местах машины, работали грузчиками на железной дороге, организовывали вечера в красных уголках, врвались в казармы и проводили кампанию по борьбе с грязью. Сезонники ухмылялись или орали на них, но сами, в конце-концов, приставали к ним, смущенные и серди-

тые. Все ребята в его бригаде были слесарями или фабзайцами, но он приучил их быть мастерами на все руки. Он всегда был в курсе дела о состоянии работ на объектах и всегда был готов броситься по первому зову. И к ним привыкли: из ячеек и профкомов звонили в контору ЦММ и вызывали Кольчу. В конторе сначала лаялись за беспокойство, а потом тоже привыкли.

Электрическая лампочка, в мушиных точках, свешивалась с потолка, как паук на паутине. Люди сидели плотно, со сосредоточенной строгостью в лицах, и от этого казались угрюмыми. Все чувствовали необычность и ответственность этого вечера, походную тревожность и боевую готовность к опасности. Каждый молчаливо подтягивался и сдерживал свое волнение: каждый знал, что вот сейчас этот Мирон, с бритым черепом, в медном блеске, с белым шрамом над ухом, в упор поставит вопрос: а почему ты допустил на своем участке полное оголение фронта? а что ты будешь делать сейчас, чтобы выправить работу и закрепить ее для дальнейших ударов?

Поднялся Васяй. Он не мог справиться с своей улыбкой, но старался быть строгим, очень деловым и требовательным. Он прислушался к себе, к людям и почему-то значительно посмотрел на редактора газеты, Прохладного, недавнего гижевца, высоченного парня в толстовке.

— Мы, товарищи, должны в течение двух суток добиться мобилизации всех наличных сил на территории строительства. Этих сил — в избытке. Мы можем вовлечь не меньше десяти тысяч. Нам мало только завоевать людей, но главное — закрепить опыт. Энтузиазм растет. Цеха — в движении. Методы соревнования и ударничества мы можем и должны с первого же дня превратить в коепку систему. До октября — два месяца. За это время мы должны не только приготовить котлован к кладке бетона, но и выполнить план по бетону на пятьсот тысяч кубометров. Это — по хозяйственному плану. Я имею основание предложить встречный план на шестьсот тысяч кубометров. Я не от себя говорю, а учитываю настроения рабочих масс.

— Вот тут-то и оказия, — нетерпеливо выкрикнул Кольча. Он даже встал от возбуждения: — Рабочие центральных механических мастерских объявили себя шефами над бычками, а комсомольцы взяли шефство над электростанцией. Шестьсот тысяч — не меньше, а то будем драться.

Васяй прислушался к нему и улыбнулся, а лицо его от этой улыбки стало по-мальчишески лукавым, точно он от Кольчи ожидал какой-то заранее подготовленной внезапности.

— Шестьсот тысяч, Кольча?

— Ну какой же тут может быть разговор? Демонстрация — под лозунгом шестисот тысяч.

Мирон хорошо знал всех этих парней — секретарей ячеек. Это были выдвиженцы из самой рабочей гущи. Он присматривался к ним, наблюдал за их активностью, ездил на объекты работ, толковал с ними по хозяйственным и партийным вопросам.

— Положение очень серьезное, товарищи... — это Петухов, секретарь ячейки шлюзового канала, парень длинноногий, весь вытянутый, и лицо вытянутое, сухопарое, немножко бледное. Когда он говорит, весь сразу загорается и улыбается застенчиво. — Настолько положение серьезное и угрожающее, что придется драться лбом и всеми четырьмя копытами. Мы ту ошибку сделали, что спали по ночам и видели хорошие сны. Проспали, товарищи. А сейчас пришла беда — отворил ворота. Но ведь мы же — большевики. Большевики же, товарищи! Как мы должны встречать всякие трудности и беды? Не тот большевик, который чувствует себя припертым к стенке, а который от ударов зверски ярится. Я замечаю, что кое-кто испугался встречных шестисот тысяч. Хоть бы, мол, при нашей бедности пятьсот-то выполнить с надсадой, и то — счастье. Оппортунизм, друзья! А что есть оппортунизм? Это когда своя рубашка ближе к телу. Шалите, ребята. — И конфузливо смеялся. — Умру — не сдамся. Выше головы не прыгнешь? Прыгать на месте выше головы — идиотство. Надо в существе своем уметь силы накручивать так, чтобы люди чудеса делали. Не знаю там, как другие, а у большевика душа всегда становится на дыбки.

Он сел с застенчивой улыбкой, а в глазах кипело волнение. Он крепко сжал зубы, и Мирону почудилось, что они у него скрипнули.

А вот секретарь ячейки ЦММ — Чубук, весь просмоленный цехом, угрюмый и неразговорчивый. У него привычка бить перед собой кулаком. Голос глухой и упрямый. Говорит с украинским акцентом. Слова выворачивает туго, круто, и они у него суровые и тяжелые, как болванки.

— Мы как, товарищи, боролись при царскому режиму... а ще злее с беляками? Геройски. Жалости не было к себе, потому жалость под печку загоняет. Ни в какую! И было знаменитое партизанство и организация борьбы. Жалость к своему животу во вражде с революцией. Правильно чи нет? Большевик не позволяет своей утробе возразить себе. Таковая же и сейчас ситуация. Все должны мобилизоваться. Худо? А вот это самое и есть импульс. Прорыв? А мы его должны ликвидировать. Кто же такие мы, если не коммунисты? Коммунист всегда в бою и всегда в ударе и в ударности. Колыбанье? Слезавай с колокольни. Предложение мое: каждому коммунисту организовать отряд беспартийных. Поработать в массе и воспитать насчет шестисот тысяч кубометров. Страшно? А мы будем бить этот страх рекордами. По-военному, по-партизански надо, товарищи. Записывай «даешь», Ватагин, — и точка. И строгость директив поставить, как на боевом посту.

И когда говорил — бычился и бил кулаком воздух перед собой. Говорил, как старик, которого уже ничем в жизни не удивишь, — спокойно, непререкаемо, угрюмо.

И Мирон вспомнил, как этот Чубук всегда сердито встречал его в своем цеху и бил кулаком в воздух, будто забивал гвозди. И говорил мрачно, неодобрительно:

— Люди — народ, который любит привыкать. А нам не привычки нужны, а нарыки. Привычки народ делают слепым: от привычки и вши не видишь. Навыкать, хлопче, — побеждать.

— Ну, как, товарищи, вывезем? — холодно оглядел всех Мирон. Он как будто совсем не слушал ни Петухова, ни Чубука, и слова их будто совсем

не произвели на него впечатления. Но все видели по твердым и молодым его глазам и по четкой округлости черепа, что он уже давно решил, что очистка котлована и встречный в шестьсот тысяч будут выполнены в течение двух месяцев. Спросил же он только так, чтобы соблюсти порядок заседания.

Кто-то вздохнул и крикнул от натуги.

— Должны как будто вывезти...

Кольча смеялся и с ироническим одобрением шлепал в ладошки.

Прохладный прогудел, подняв карандаш ко лбу, точно грозил людям.

— Редколлегия организует бригады по проверке выполнения. Она поведет работу по всем объектам и мобилизует стеноухи. Вся работа газеты будет проходить под знаком встречного плана. Просьба: увеличить тираж и сделать ее ежедневной.

И поднятая бровь судорожно задвигалась над пристальным глазом.

Почему молчит Бычков? Он опирался локтями о колени и замкнуто сосал свою трубочку.

Комсомольцы ликовали. Кольча даже вскричал и, раздирая толстогубый рот улыбкой, подбежал к Васю и стал что-то шептать ему, давясь от хохота. Вася обернулся к нему, схватил его за шею и стал тоже шептать настойчиво и горячо.

Встревожил всех Водкин, секретарь ячейки земельно-скального. Полуоторванный козырек лез у него на нос, а туля сползала на затылок. Лицо — все облупленное, шершавое, а глаза будто выпцвели и нелюдямо прятались под надбровницы. Весь он казался тяжелым, осевшим в себя, мрачным, не способным ни к улыбке, ни к шутке. К веселым парням — Васю и Кольче — он будто питал ненависть и поглядывал на них злобно и мстительно. И голос у него был злопьятный.

— Дай мне — по-деловому, Ватагин.

— Давай, Водкин. Только — два слова. Времени нет для разговоров.

— Преимущественно я, товарищи, об этом и объясню. Завернули на полный нарез, а без понятия. Тут не то ли что шестьсот тысяч, а хозплан — кувырк. Мысленное ли дело? Барабанить можно сколь угодно, а вот где база, преимущественно? Где ваш расчет? У нас было

в среднем участке сколько народу, а теперь — и не воняет. Чорт ли, ежели вы мне нагоните людей, как на пикник... Ничего не выйдет, товарищи. Буза.

— Ой, Водкин! — выкрикнул Кольча, обливая всех смехом в глазах. — дезертируешь!.

— Я — что? Мое дело маленькое. Прикажут — я буду хоть зайцем, хоть тараканом, преимущественно... Я дело говорю, а не балабайкаю.

— Правильно, Водкин! — с тылкой убедительностью подхватил Прохладный и даже рукою ударил по коленке. — Преимущественно, ты — таракан. Для зайца у тебя еще пороку нет.

Кольча оскалился, а Васяй зашептал Миرونу на ухо, и Мирон как будто не слушал шопота и смотрел на Водкина. Люди сидели с важной сосредоточенностью в лицах.

— При фазисе у меня даже коммунисты разбежались. Самый слабый участок. Сезонники. Мы лимонили, а тут нужны были пулеметы.

Мирон задумчиво смотрел на Водкина и почесывал нос карандашом.

— Пулеметы, говоришь? Хм... Вот ты какая bestия, Водкин!.. Ловко, брат. А вот скажи-ка ты мне, дружище. Ты как будто был красноармейцем и участвовал в боях. Как нужно держать себя бойцу, когда отряд находится в смертельной опасности?

Водкин напер на людей перед столом и, ломая им головы, схватился за графин и забулькал воду в стакан.

— Товарищ Ватагин, ты мне о войне не формулируй. На войне я — зверь.

— Ты лучше выпей — освежись, вояка... — ласково проворковал Васяй, и все хмуро заулыбались. А Водкин, действительно, послушно поднес стакан ко рту, и в горле у него забулькало и застонало.

— Там, на войне, товарищ Ватагин, — дисциплина, а здесь — сволота, бурлачье... Я там шкуру спущу...

— Ну? Ведь вот ты какой бравый парень. Глотай-ка еще стакашку и сядь.

Водкин послушно выпил еще стакан и сел. Люди давились от смеха, но не решались хохотать вслух. Кольча повернулся к Водкину и сделал ему под козырек.

— Видишь ли в чем дело, Водкин... — Мирон говорил раздумчиво и ласково

во. — Героя чувствуют только с лица. Вот ежели бы ты грудью нажал на них и взял их за душу, тогда бы я оценил тебя, как бойца.

— Значит, что же это, товарищи? Дело не дело, а я все едино, преимущественно, лопнуть должен? Без результата? Вы сначала людей-то накормите. Люди-то вон под дождем ночуют.

Мирон воткнулся в него простодушными глазами и оглушил его командным окриком.

— Должен лопнуть, а свое дело выполнить. Знаешь свое дело или нет?

Стало тихо, точно этим своим голосом Мирон раздавил всех, и все потеряли способность двигаться. Даже Кольча вдруг осерьезился и присмирел до робости. Только Бочка сверкала глазами независимо и сердито.

— Орать нечего, Ватагин. Водкина надо снять. И преть нечего. Я должна пойти сейчас к женщинам.

— Водкин не будет снят. Мы заставим его работать по-настоящему. А когда он лопнет, тогда выбросим его на свалку.

Гудим сидел рядом с Бочкой, вел протокол и был нем, бестрепетен. Как всегда, он и в эти дни особой тревоги держал себя с обычной непроницаемостью и равнодушием. Его густобровое лицо и пыльные ресницы надежно скрывали нутро, и, как всегда, каждый чувствовал его молчаливую силу. Он ни разу не поднял глаз с бумаги, ни с кем не встретился взглядом, но все знали, что он видит и знает каждого и учитывает каждую мелочь, каждое слово, каждое движение товарищей.

Бычков поднялся с своего места, вынул изо рта трубочку, встретился с глазами Мирона. Этот человек нес в себе большую трудовую жизнь. Он весь был обмозолен долгой борьбой, которая прошла через три революции, и весь был плотно сбит той мудростью много прожившего человека, которая делает людей очень простыми и крепкими. Эти люди приобрели одно свойство: они в жизни при всяких обстоятельствах — при бедствиях и подвехах — ничего не боятся и не переживают никаких внутренних бурь. Они ничему не удивляются, они не знают паники. Их мудрость состоит

в том, что они не видят в жизни ничего трагического и необычайного.

— Я вот что хочу сказать тебе, Ватагин. Ты вот человека огрел — огрел-то правильно, но смял его без всякого уважения — как яйцо раздавил. Нельзя так, Ватагин. Надо знать и человека и точку времени. Как бы это сказать: надо услышать человека и понять минуту, когда человека следует поставить в свой темп. Для чего это? А для того, чтобы человек сам почувствовал, что на него надавили в аккурат. Ну, а Водкин этого не почуял, потому ты его только смял. От этого у него смута в душе. Не понял тебя человек.

Голоса, шум.

Кольча вскочил с места, а Васяй смеялся навстречу Бычкову.

— Без демагогии, Бычков. Водкин — дезертир. На примиренчество гнешь...

Некоторые из секретарей тоже замали руками, и глаза их озлились от возмущения и гнева.

— Слушай, Бычков. Время ли сейчас антимионии разводиться?.. Член ты бюро или нет?

— Товарищи, дело Бычков говорит... Старый рабочий... Зачем рот зажимать?.. Дайте сказать человеку...

А Бычков опять ткнул трубочку в рот и усмехался в нее спокойно инисходительно.

Мирон застучал карандашом и невозмутимо оглядел всех, медленно переводя глаза с одного лица на другое. И от этого его взгляда затихали голоса.

— Говори, Бычков.

— Я знаю тебя, Ватагин. Линия у тебя твердая, рабочая линия. А в чем изъян, милок? Режет эта линия насквозь. Тугой нажми на острее. А надо и слово и человека уважать, какой бы он ни был. В каждом слове, пускай оно даже глупое, есть зерно правды. Ни один человек — не червяк. И надо в себя заглядывать и почаще себя прочищать. Ну, вот парни наши выкрикнули: шестьсот тысяч. Красиво, богато, геройски. А ты поддался — и хоп! Даешь шестьсот тысяч! А может быть, по моему глупому разуму, эти шестьсот тысяч — только крик, несурзаца? Продумали мы? Нет. Не дал ты продумать. Надо человеку пособить распоряжаться своими мозга-

ми, а не рвать с него черепка. Я это только так... к случаю...

Опять все заволновались и закричали впереводку, не слушая друг друга.

— Уже продумано... Нечего дурака валять... Дезорганизация...

— Ничего не продумано... Ведь не в бирюльки играем. Знай, за что борешься.

Мирон опять застучал карандашом.

— Товарищ Бычков, ты напрасно тревожишься. Вопрос о шестистах тысячах будет поставлен на обсуждение рабочих. К этому будут привлечены технические силы, ударники и все организации. Лозунг взят не с потолка и не от озорства. Это — реальная возможность. И не возможность, а необходимость. Нам нужно только подготовить к этому массы. Здесь есть неверующие, даже противники встречного. Всякого, кто будет возбуждать сомнения, мы сумеем крепко взять в руки. С неверующими я поговорю особо — надеюсь убедить их. Мы тебя уважаем, Бычков, но не позволим ослаблять линию бюро.

— Ты, милоч Ватагин, не страшай меня: я всякие страхи видел. И голова у меня на плечах утюженная. Не надо этого, милоч. Ведь все едино я от других не отстану. А может, и... бывало со мной... и перегоню.

— Я в этом не сомневаюсь, Бычков. — В глазах Мирона заиграли веселые капли.

Гудим встал и бесстрастно посмотрел на груду людей в комнате. Голос его был холодный, без ударений, но внятный и решительный.

— Директива, товарищи. Сегодня секретари дежурят на своих объектах. Телефонная связь. Все распоряжения выполнять мгновенно. Беспрекословно. Строжайшая ответственность. Сведения о ходе работ через каждый час. Цифровые показатели секретари сообщают по телефону, а ведомости — лично. Понятно?

— Да, не глухие... Ясно... В чем дело? Решено — и баста.

— Вот. Сегодня дежурю я. Ватагин временем не ограничен.

И сел, не обращая внимания ни на кого, и стал разбираться в бумагах. Он не взглянул и на Мирона, как будто, тут его совсем не было. Бочка сидела у

стола, рядом с Гудимом, внимательно и пристально, с хмурой улыбкой, следила за его лицом.

Мирон на одно короткое мгновение зацепился взглядом за Бочку и за Гудима.

— Ну, я пошел пока на работы.

Гудим был глух и нем.

Собрание было распущено.

В коридоре шумели голоса, топтали и шоркали шаги. В соседней комнате смеялись и кричали Кольча с Васяем, и гудел бас Прохладного.

— Завтрашний номер будет на ять. Васяй пишет статью. Чтобы через час — готова. Кольча дает отчет о вчерашней самомотилизации в цехах и о работе в котловане.

Должно быть, кто-то из них сморозил смехотворщину: задрожала перегородка от их дружного хохота, и они быстро вышли из комнаты в коридор. Смех их растаял только на улице.

Гудим и Бочка молчали. Он сидел за столом и очень кропотливо перелистывал бумажки. Потом подошел к шкафу, положил свою папку на одну полку, потом подумал и переложил на другую. Бочка опиралась спиной на стол и смотрела на Гудима с сердитой насмешкой. От шкафа он подошел к генеральному плану и долго изучал его, ползая пальцем по синему полю.

— Ты мне утром же сведения доставь, Бочка. Понятно? Сколько погонишь баб на работы?

— Во-первых, что это за «бабы»? А во-вторых, что это за скотское слово — «погоняешь»? Почему не сказал: «Сколько голов баб?» Было бы совсем здорово.

Гудим невозмутимо, занятый планом, стоял, не оборачиваясь. Сварливый выкрик Бочки не произвел на него никакого действия.

— Мы должны вести строгий учет движения рабочей силы и их правильного распределения. Понятно? Точный учет. Ты нужна здесь.

— Остаться прикажешь? Что я с тобой делать здесь буду? У меня — собрание женщин.

— Иди на собрание женщин. Только точный учет числа и роста женских бригад. Не позднее утра. Понятно?

— Нисколько не понятно.

Он обернулся и взглянул на нее пыльными ресницами. Но лицо было неподвижно и твердо.

— Что значит — непонятно?

Бочка насмешливо сверкала очками.

— Что ты за человек?

— При чем тут человек? Мы — коммунисты. Вполне достаточно.

— Ты женат?

— Был. Разошелся.

— Жена ушла или ты?

— Жена. И я. Она тоже спрашивала, что я за человек. Не поняла.

— Ну, больше не женишься — знаю.

— Да. С женщиной не сойду. В одной комнате — нет.

— А в разных? С женщинами-то имеешь дело?

— Некогда. Это разоружает.

— Дурашман ты.

Он улыбнулся с натугой, одними губами, и подошел к ней с холодным вопросом в глазах. И Бочка впервые увидела, что глаза его — наивные, совсем безгрешные, немые глаза. Только ресницы вздрагивали смущенно и растерянно.

— Твой вопрос, Бочка — бесцельный. Непринципиальный вопрос.

— Детей не было?

— Был один, да умер, когда я был в армии.

— И тебе не хочется иметь детей?

— Некогда. И не от кого. И нет нужды.

Бочка встала и вся вдрогнула от озноба. Сердце билось глубоко и редко, и в тишине комнаты она сама услышала его вздохи.

— А я страшно хочу. Невыносимо. Но мужа, пожалуй, не хочу. Не ужилась бы. Полжизни бы отдала за ребенка.

— Это делается просто. Жизнь тут не при чем.

Лицо Бочки залилось кровью, и она вздрагивала и ежилась. Она робела, мучил ее сладостный стыд, но боролась с собою: она имеет право говорить об этом с товарищем, это — потребность ее жизни, это — не противно партии. Если она обойдена и обижена несправедливо жизнью, то она в праве требовать внимания к своей судьбе. Гудим же — такой человек, который совсем не замечает ее: его отношение и к ней и к другим женщинам в работе совершенно одинаково. И с ним она

может говорить, как угодно. Он лишен способности видеть смешное и безобразное во внешности людей.

— Это не так просто, Гудим. Без мужчины дети не рождаются.

— Возьми товарища для этого дела.

— Какой же ты дурашман, Гудим! Это не со всяким возможно. Это — не скотство. Тут одна важная предпосылка — любовь, влечение...

— Ну, это... диктатура инстинкта. Я знаю, во что это превращают многие наши партийцы. Разлагаются. Когда я работал в контрольной комиссии, я разбираю эти дела. Любовь — только к товарищу. Нет товарища — нет любви. Товарищ — это все. Лицо — не при чем. Лицо товарища — в его внутренней ценности. Самопожертвование — за дело партии, за товарища — вот лицо. Больше никакой любви не бывает. Остальное — пустота.

— Гудим!

Лицо Бочки расцвело юностью, и даже через очки видно было, как глаза ее загорелись восторгом надежды. В этот миг она стала неожиданно привлекательной и горячей. Гудим по-деловому кивнул головой.

— Иди к женщинам. Это — не проблема, а лирика.

Она выпрямилась, подняла голову и опять насмешливо и гордо сверкнула очками.

— Сводка будет тебе доставлена завтра утром.

И высокомерно, медленно вышла из комнаты.

Задрезбезжал телефон на стене. Бочка из коридора услышала твердый, бестрепетный голос Гудима:

— Надо знать график работ. Детальный план. Понятно? Перебросить эти пять бригад на бетон вместе с мужчинами. Часть — на вагонетки. Надо считаться с их особенностями. С женщинами — поосторожнее. Ну?

«Заботится о женщинах» — насмешливо подняла брови Бочка, и сердце ее опять вздохнуло сладостной болью.

XIV

На перемычке толпилось много вагонов, с грохотом проносились поезда с бетоном, с думпками — пустыми и

груженными щебнем, песком и камнем. Отсюда думпкары мчались на бетонно-камнедробильные заводы, а они, как могучие железы строительства, изготовляли тысячи тонн бетона. Такелажники стояли на своих площадках у дерриков и кранов и разговаривали пальцами. Заботливо сновали люди—десятники, электромонтеры, техники, рабочие, — верещали свистками проводники поездов, покрикивали паровозы и краны. Огромный деревянный щит опалубки плавно реял на тресе крана и медленно двигался в сторону бычков. Там сооружалась новая опалубка для бетонировки. Вдали, в огненном сиянии, спускались с высоты в бездну и вылетали из бездны голубые бабды.

Миرون остановился у парапета и, опираясь на деревянные поручни, смотрел вниз, в фосфорическую ямину широкого ущелья. Там толпились люди в трудовом беспокойстве — у дерриков, у вагонеток, у думпкаров, у металлических коробов и у каменных глыб. Сверкала ручьями и потоками вода на дне, и озеро зеркально отражало огни и сложную путаницу нагромождений на перемычках. Где-то рядом, на настилах, пронзительно шипел сжатый воздух в вентиле трубопровода. Мотоциклами хрипели перфораторы в скалах котлована. Вот здесь, рядом, на дне, должны работать Прокоп и Матвей с своими мужиками. Среди сутолочных толп они затерялись, а может быть, перешли на другое место, на новую работу. Миرون долго искал их, но сверху все люди казались одноцветными и одноликими. Котлован опять был живой, опять дрожал человеческими мускулами и напряжением упорного труда. Долетали невнятные волнами голоса, смех и артельные выкрики.

— Миронов, подавай туда!.. — крикнул кто-то за спиной Мирона, и он даже рванулся на выкрик — думал, что зовут его.

Пронесся с ветром и громом поезд с бетоном, и кто-то взвизгнул и засмеялся.

— Зарабо-отали, мать честная!.. Как только кишка выдержит...

— А рабочие здорово наперли!.. — изумленно ответил другой голос из-за вагонов.

— Пролетарий не выдаст... одно слово — молотобойцы...

Прошли сзади несколько человек. Скрипели и грохотали доски под их сапогами.

— Встречный план на шестьсот кубометров не выполнить... Упущено время... График работ...

— Слышали? Партком-то переключал на плотину...

— Мировые рекорды... а консультанты хохочут...

— Мы им покажем, этим консультантам...

«Техперсонал, — отметил Мирон и посмотрел на черные силуэты в пыльном пламени электричества. — Беспокоятся. Им и книги в руки насчет расчетов и показателей. И тут — энтузиасты и малoverы. Кажется, молодежь...»

Показалось, что среди них толкается парень, высокий, сухопарый, у которого дергается голова от одного плеча к другому. Забилось сердце и сорвало его с места. Он побежал вслед за группой техников. Но парня с дрыгающей головой уже больше не заметил. «Я готов в каждом юнце видеть своего Кирюху. Так можно дойти до галлюцинаций». Он остановился и раздумчиво всматривался в удаляющуюся кучку молодежи. Потом медленно повернулся и пошел обратно.

Вдали, под ослепительным накалом лампы, четко вырезалась фигура красноармейца с винтовкой в руках — военная охрана. Он перешел рельсы и махнул рукою. Из-за вагонов на него нахлынула толпа женщин. Слышно было, как дружно они закричали и засмеялись. Красноармеец повозился с ними строго, как подобает стражу, и отшагнул на свое место. Женщины затолкались плотной кучей и в пересмешках и переключках затрепыхали лестрыми платьями. Потом они сгрудились у парапета и стали смотреть вниз. Постояли немного, оторвались одна за другой и быстро стали спускаться по трапу.

...Отчего зависит победа в борьбе? Что определяет успех или крушение дела? Тревога может вызвать панику или взрыв героизма. В некоторые переломные моменты часто твердокаменные люди колеблются и падают духом перед трудными переходами. Взять наших оп-

позиционером — правых или «левых» — безразлично. Мы еще несем в себе много мелкобуржуазных и личных стихий. Наше высокое сознание часто становится в противоречие с мелкобуржуазным нутром и само начинает коверкаться, метаться, искать удобных тормозов, плурует, выходит из строя и кончает тупиками. Отсюда — неверие, разложение, перерождение. И вот высокий классовый дух масс, всегда устремленный к боевым целям, в будущем, в борьбу (ибо будущее — это борьба), не только в сознании, но и в бытии, в своей сути, несет в себе неотразимую, историческую силу, которая разрушает все преграды. Не единицы, а множество. Классовый дух всегда в движении, всегда в борьбе, всегда в волнении, как море. Бывают бури, бывает зыбь, но шторма не знает это море. Метеорологическая тревога — это предвестник волнения. Надо только жить этим, чувствовать, слиться не только умом, но и всем нутром с этой постоянно волнуемой жизнью масс и уметь направлять ее движение по кратчайшим путям. Нужно не только головой, но и всем существом быть мудрым в недрах массовых сил. Это — хозяин, и, как хозяин, пролетарий — смел, решителен, героичен и чуток. Весь смысл революции не в том, чего хотят массы в данный момент, а в том, что они необходимо должны делать в целях движения. Личное обесценивается, приносится в жертву, испепеляется, а личность вырастает до исполинского размаха. Личное же отрицает личность, паразитирует в ней и пожирает ее медленно. Красота этих вот женщин — в их артельном подеме, в забвении в этот час своих домашних и куриных интересов. Они уже не те, что были в своем углу, и бодрость их и веселье — иные. Рассуждая так, прав ли он, Мирон, в своем отчуждении от семьи — в том, что жена стала далекой, а сын — в неизвестности и, может быть, погиб в муках или в преступлениях?

И он долго не мог ответить себе на этот вопрос.

«И прав и не прав».

Но этот ответ не удовлетворил его.

Прав и он, права и Ольга. Они отрешились от себя и личное принесли в жертву. Не правы и он, и Ольга, пото-

му что они не сумели свою любовь и любовь к ребенку поставить на высокую ступень. Это было механическое самоотрешение. И вот самое важное в жизни — согласованность, как движущий фактор, — забыто. Отсюда — провал, трагедия.

«Что ж... накладные расходы революции», — усмехнулся Мирон.

Но в том-то и беда, что всякие накладные расходы истощают силы и средства. Слишком большая расплата за невежество и собственный рост. Высшая согласованность в работе, в борьбе, то-есть широкая и глубокая плановость, — вот в какую сторону должна быть направлена наша энергия. Здесь он так же расплачивается по счетам, как и в своей личной жизни. Не от этого ли и нутро его стало жестким, мозольным, не чувствительным к простому состраданию? Не от этого ли он огрубел, зная только одну непререкаемую силу, которая довела в нем неизменно — властную ответственность за дело, за массы, за себя, за всю грандиозную сложность созидаания? Что такое он сам? Что такое все эти отдельные люди с своими маленькими интересами? Что такое его боли о сыне, об Ольге, о личных неудачах? Это только незначительная мелочь, как всякая злободневность. Все это только обычные эпизоды. Главное же — это революция, социализм, партия, массы, стройка, а он и все эти единицы — только живые элементы движения в будущее.

Внизу, в лунном свете прожекторов и слабительных электрических звезд, хлопотливо, с одушевлением суматошились толпы людей. Кишели они сплошными массами, как будто бестолково, сумбурно, словно на толкучке. Но Мирон видел, что все эти толпы были разбиты на множество групп, и каждая группа выполняла свое дело. Из глубины этого кратера приборно неслись волновые гулы, металлических вихрей: хрипели и грохотали экскаваторы, рокотали поезда думпкаров и вагонеток, струнно звенели деррики и краны, дребезжали перфораторы, скрежетали лопатки, и горячая пыль дымилась в воздухе, смешиваясь с пряным запахом свежего бетона.

Мимо прошел, спеша и размахивая руками, Кряжич. Он взглянул в про-

пасть котлована и остановился. Вцепившись в поручни парапета, молча и долго смотрел вниз, будто пораженный картинный массового труда. Смотрел он долго, углубленный в себя, и не мог оторваться. Потом он быстро оглянулся вокруг и на мгновение столкнулся глазами с Мироном. Отвернулся и опять стал смотреть в котлован.

Мирон вспомнил, что Кряжич тогда, на пляже, потрепал своей рукой неискренно, натужливо и, пожалуй, был бы рад, если бы Мирон исчез из этой жизни.

Кряжич внезапно сорвался с места и стремительно зашагал к Миرونу.

— Здравствуйте, товарищ Кряжич.

Он фыркнул и усмехнулся.

— Живете?

— Боремся, товарищ Кряжич.

— Неловко тогда у вас вышло. А Отдушина — молодец.

— Вы довольны ею, как прорабом?

— Я впервые работаю с женщинами. Из нее выйдет толк. Она не только знает график работ, она приходит на дежурство задолго до смены и облизит все уголки — все пронюхает, обследует, учтет всякую мелочь, и на работе — уже в курсе самых ничтожных событий. При ней я всегда спокоен. Какую уйму нагнали вы людей! Работают с настроением. Любопытно.

— Это рабочие механических мастерских, шефы бычков и котлована. Решили, что за этот трудный участок они обязаны отвечать в первую голову.

— Почему же непременно обязаны?

— Не только за этот участок. За всю стройку, товарищ Кряжич.

— Почему — обязаны и почему — они? Им нужно научиться отвечать хотя бы за себя.

— Вы задаете, товарищ Кряжич, такой вопрос... — Мирон засмеялся, давая понять Кряжичу, что он, Кряжич, неумело притворяется. — Вы задаете такой вопрос, что можно подумать...

— Ну, ну?.. Можно подумать, что я с неба свалился?

— Нет, хуже...

— Так, так?

— Что вы впустую прожили все годы революции — не увидели и не почувствовали ее центрального нерва.

— О... я, кажется, слишком много вижу и чувствую..

— Бунтуют стихии личного?

— Что-с?

Кряжич фыркнул, хотел спрятать свои глаза, но не совладал с ними: они пьяно вспыхнули враждой и сейчас же спрятались в трепетной прищурке.

— Да. Допустим, бунт личного...

У него дрогнула щека от судорожной улыбки.

— Это самообман, товарищ Кряжич.

— Любопытно...

Кряжич быстро сунул руки в карманы, беспокойно обежал вокруг Мирона и опять стал на прежнее место.

— Чего вы хотите? — Мирон сказал тихо, задумчиво, с сожалением. — Я совсем не желаю ловить вас на словах. Не беспокойтесь. Мне одно в людях вашей касты противно: это — убогость и бесплодность мысли!

— Любопытно...

Кряжич покосился на Мирона с нервной насмешкой.

— К чему этот разговор, товарищ Ватагин? Теперь человек обезличен — лишен своего достоинства. А обезличенный человек не имеет места в жизни.

— А разве вы не живете этим вот созиданием, товарищ Кряжич?

— Именно живу... в этом — все дело...

Он отмахнулся от Мирона и фыркнул с раздражением человека, которого покоробила глупость собеседника. Он забунтовал и, гримасничая, крикнул Миرونу:

— Одаренность и творческие стремления вовсе не определяют личной независимости. Кажется, бесспорно.

— Видите ли, товарищ Кряжич... — Революция — не бунт, не самосуд, не бешенство страстей. Для одних диалектика — это трагедия, для других — победное ликование. Человеческое достоинство поднялось теперь на небывалую высоту. Надо только понять и почувствовать новое в отношениях между личностью и обществом.

— Что вы мне толкуете!.. — заметался Кряжич в порывах, — это же — газетная демагогия. Если я принижен, не равноправен вам, если безнаказанно могу быть каждую минуту растоптан и

уничтожен,—как это прикажете расценивать?

Мирон пристально слушал его и улыбался. Откуда у этого человека, хорошего работника, такая бестолковая наивность? Эта старая интеллигенция совсем не может мыслить: ее мозг — какая-то серая болтушка.

Кряжич отвернулся, чтобы скрыть свое лицо.

— Ответьте мне, товарищ Кряжич, прямо: вы это сами испытываете на своей шкуре?

Кряжич рванулся в сторону, и у него задрожал голос.

— Такие, как я, позвольте вам сказать, уже изолированы. Разве мало растоптано культурных сил?

— Врагов? Да. Мы беспощадны к врагам.

— Кто это — мы?

— Все, которые делают жизнь. Не забудьте, что вы выросли и утвердили себя только в наши дни. Учтите это. Скажите мне, кто принижал и оскорблял ваше достоинство? Ваша судьба зависит только от вас. Только от вас, товарищ Кряжич.

— Если бы только от меня... Я не принадлежу себе...

Кряжич рванулся к нему, но его точно отшибло от Мирона. В глазах его метнулся страх, и он вцепился пальцами в парапет.

— Я принадлежу вам...

Они опять на мгновение встретились взглядами, и в этой мимолетной борьбе глаз они оба почувствовали друг друга. Кряжич понял всем существом, что Мирон видит его насквозь, знает его сокровенные мысли, что он, Кряжич, уже никогда не уйдет от этого человека. И ему было жутко. А Мирон отметил, что Кряжич почувствовал в нем охотника, который преследует его по пятам.

— Вы стремитесь к жизни, к творчеству, товарищ Кряжич, но отравлены манией самоубийства. Пошло это.

Кряжич отмахнулся от него, фыркнул и перегнулся через парапет.

Как всегда, внезапно подошла Феня. Синяя рубашка и юбочка были замызганы пылью и брызгами бетона, а лицо мальчишки замазано грязным потом. На кудрях, сползая на затылок, искрилась татарская тубетейка. Феня как

будто не заметила Мирона и с наскока налетела на Кряжича.

— Николай Николаевич, под ряжами, на отметке «восемь», образовался просос. Вода довольно значительная, свежая, без примесей:

— Чепуха.

— Я бы попросила вас удостовериться лично.

— А Вихляев?

— Вихляев не сделал никаких выводов.

— Чепуха. Шпунты — на грунте, отсыпка — надежна. Откуда может быть просос. Работу проводили вы. Разве вы находите, что с этой стороны — неблагополучно?

— Наоборот... Перемычка — превосходна.

— Так в чем же дело?

— Дело в том, что при всех обстоятельствах прососы всегда возможны. Тут может быть фильтрация за шпунтами.

— Пустяки. Я совершенно спокоен, потому что беспокойны вы. Последите еще. Вы всегда преувеличиваете, Отдушина. Инженер не должен быть самонадеян, но обязан быть уверенным и чегким.

— Но, Николай Николаевич... так же можно было рассуждать и при кладке трех последних бычков правого протока. Однако консистенция бетона оказалась ненадежной.

— Этих немцев, наших почтенных консультантов, я уже плотно припер к стене. Они, видите ли, находят, что к грануляции материалов мы недостаточны внимательны. Ну, и показали, как нужно давать высококачественную консистенцию. Дудки. Я больше не подпущу их к себе на выстрел.

— Немцы здесь не при чем, Николай Николаевич...

Кряжич фыркнул ей в лицо и пренебрежительно отвернулся. Феня даже не заметила этого и торопилась высказать свои мысли. Она говорила уверенно, убежденно, звонко, без горячности, но в закинутой голове, в устремлении всего тела к Кряжичу чувствовалось, что она сильна здесь, что она вся растворена в этих бесчисленных процессах гидро-технических работ, что она живет ими, как своими личными мечта-

ми, радостями и огорчениями. На Мирона она не обращала внимания: она стояла к нему боком и смотрела только на Кряжича.

— Немцы здесь совсем не при чем, Николай Николаевич. Вы должны быть справедливы к ним.

— Но они сдали свои позиции, хотя и упирались. Они ломались в открытую дверь.

— Это ничего не значит. В этой драме они были только статистами. Консистенция бетона была несовершенно только по нашей вине. Завод работал безобразно. Вы помните, я тоже была тревогу по этому поводу, а вы так же, как сейчас, фыркали и размахивали руками.

Кряжич фальшиво засмеялся с воробьиным дребезгом и неожиданно схватил за руку Мирона.

— Ну, вот-с... извольте... Какова? Тут никакой авторитет не удержится. Я в свое время работал на побегушках и не смел моргнуть в присутствии своего патрона.

— Это только лишняя иллюстрация к нашему спору, товарищ Кряжич.

Кряжич встретился с ним глазами, и тугой взгляд Мирона точно оглушил Кряжича. Он сорвался с места и, размахивая руками, быстро побежал по настилам.

— Подождите же, Николай Николаевич, — крикнула Феня и бросилась за ним. — Вы мне еще не сказали главного.

И вдруг обернулась к Мирону и торопливо, в скобках, бросила ему:

— У нас — технический разговор, Мирон. Тебе это не интересно.

И скрылась за нагромождениями вагонов, кранов и свалок деревянных щитов для опалубок.

«Технический разговор, — усмехнулся он, провожая ее глазами. — Технический разговор... А разве мы, строители и руководы, не обязаны знать всех тонкостей технологических процессов? Вот тут-то нас и бьют всякого рода вредители и прохвосты».

Тюбетейка Фени еще не растаяла в его глазах, и Мирон еще ощущал дыхание плеч и головы Фени, а звонкий и убежденный голос еще играл вот здесь, перед ним, у перил, и голос этот — го-

лос мальчишки — играл радостью в сердце.

«Она совсем трезва... — отметил он с удивлением. — Расчетлива, мужественна и не благовоет перед этим самоуверенным павлином. Молодец. Вот наши разведчики и партизаны. А о нашем разговоре она совсем забыла. У ней нет никакого любопытства».

«Из нее будет толк...» — вспомнил он Кряжича. — Не будет, а есть. Ее уже покровительственно не похлопаешь по плечу — руки не донесешь, уважаемый».

И как-то не вязалась ее деловитость («у нас — технический разговор») с ее наивностью рядом с ним и Татьяной. Кто она, эта Татьяна? Откуда у нее такой высокий подъем? Знает ли ее Феня? Конечно, не знает. И едва ли узнает. Не узнает ее и Мирон, потому что она слишком знает жизнь и людей, чтобы быть доступной. Может быть, своеобразно, по-своему, но она знает и его и Феню так, как им не узнать ее никогда. Вот бы колупнуть ее, вывернуть ее нутро: там, вероятно, скрыто живут в ней кошмары. Он только знал одно, что она смотрит на него, как через прозрачную среду, и не уважает его, как не уважает никого. И если только уважает и ценит себя, то на это она имеет право. Она — выше его ростом и шагает быстрее, потому что прошла через многие пытки жизни и через непроходимые пропасти. А вот муки жизни не изуродовали ее красоты. И удивительно: она, как женщина, совсем его не волновала — не будила желаний и страстных влечений, — точно она была бесполо. А когда однажды, в нежданные часы тоски по женщине, он подумал о ней и сладострастно оголил ее, ему стало противно и мерзко на душе, будто он плюнул себе в нутро. А с Феней — иначе. Феня — проще, роднее. Может быть, красота всегда недоступна? и, может быть, женщина в своей красоте всегда далека и всегда одинока среди людей? Несчастье это или радость для человека?

Странные мысли... на высоте рязей, над людьми, которые там, в пропасти, муравьятся в упорной работе, рождая гулы и грохоты. Тррах!.. Это выхаркнул щебень и камни в думпкар вон тот экскаватор у скалы, зажженный прожекто-

ром. Выхаркнул и со свистом поворотил свою длинную шею обратно. Повизгивают вагонетки на поворотах — их толкают согнутые фигуры. Женщины идут, вспыхивая повязками. Кричат, смеются... Мимо. Должно быть, на бетон.

— Куда это вы несетесь, гражданочки?

— На свиданье... К дружкам...

Сердитый домашний голос огрызнулся:

— Блоки чистить... Куда еще? Нам, бабам, одна судьба: мой, чисти, убирай за вами, чертями...

— Пойдем с нами в блок.... Как повашему, можно, по политграмоте, с бабами играть?

— Теперь и девок портят по политграмоте...

И все захохотали визгливо, потом побежали. Должно быть, струсили от смелой шутки подруги, котораяхватила через край.

XV

Мирон пошел вдоль парапета, не отрывая лица от глубины кратера. Вот сейчас эти толпы людей, беспокойные, в густой суматохе движения, пестрые, без прозодежды, работают упорнее, горячее, массивнее, чем толпы сезонников. Кажется, что оттуда, из глубины, волнами полыхает их дыхание и теплые запахи пота. Гулкое, глубинное эхо голосов и глухого грохота экскаваторов, поездов, дерриков, вагонеток. И рев, и металлический кашель перфораторов, и близкие, ослепляющие звезды огней, и кометные хвосты прожекторов — все это опять бурлит жизнью, живой кровью и силой могучего напряжения. Вот он — организованный труд, согласованная воля рабочих масс. Их ум и инстинкт не терпят молчания пустоты. Они здесь так же умело, по-хозяйски четко и упрямо выполняют свое дело, как и в своих цехах. Придут на их место сырые, новые силы из деревень — надо так же включить их в систему организованного труда, так же воспитать их и перелить в них кровь пролетария.

Он спустился вниз по трапу, и сразу подхватил его вихрь массового труда. Толпы стали близки: все дно шевелилось сплошным людским месивом, в шорохах шагов, невнятном гуле голосов,

в выкриках, в грохоте металла, в хрусте камней, точно их жевали чудовищные челюсти. Пронзительно вскрикивали кукушки, лязгали буферами вагоны. Где-то очень высоко на перемычках с громом пронеслись поезда с бадьями бетона. Внезапное ослепляющее солнце прожектора. Треножки раскаленных дерриков кружевными пирамидами с железной тяжестью дыбились в высь. И болотный и каменный запах низинной сырости. Быстрая порожистая речка играла в камнях, сверкала всплесками огней, а там вправо, в ямине, — застойное озеро, засоренное щепками, чурбаками, рейками, казалось очень глубоким в отражениях. Около будки насоса чернела носатая лодка, привязанная к нижней площадке трапа. Тележка «сандерсона» стояла на расчищенных гранитах, и колесо весело играло на конце шатуна. Тяжелое долбило взлетало впереди на тросе и бухало где-то в подземной глубине. Рабочие группами и в одиночку возились среди камней, около тросов, дерриков, около вагонеток, около железных коробов, с ломачами, с лопатками, и Мирон чувствовал их утомленное дыхание. Они работали хлопотливо, дружно и уверенно. Они не обращали на него внимания. Все они были или в синих блузах, или по пояс голые, или в рубашках с засученными рукавами по плечо. Женщины толкали вагонетки или группами копошились на щелбне.

— Мироша, ты чего это бродишь бездельником? Шагай сюда — на укрепление ударного фронта.

Рабочий без рубашки, глянцевоый от пота, с мокрыми косичками волос на лбу, скалился чумазым лицом на Мирона и манил его рукой. Это — литейщик Макуха, член бюро ячейки центральных механических мастерских. Горячий парень, всегда в порывах, всегда заботливо беспокоен. Он даже о самых незначительных мелочах говорил с темпераментом, с вдохновением («Камни лежат на дворе литейного цеха, металлический сор на полу...») «Петров не моет рук после работы и идет домой чорт-чортотом...» «Иванов бузит на счет расценок...»). И эти мелочи насыщались от его волнения большим содержанием и беспокоили всех, как насущная проблема. Его

глаза, внимательные, нутряные и очень добрые — телячьи глаза, — у всех, кто встречался с ним, вызывали неударжимую улыбку. Весь он был сочный, вечно торопливый, и всем казалось, что постоянно он занят массой неотложных дел.

— Ну, как у вас тут? приспособились?

Некоторые рабочие посмотрели на Мирона, приветственно вскинули руки и опять принялись за работу. Остальные даже не обернулись.

Макуха звякнул ломом и нетерпеливо порывался броситься в работу.

— Верно, работа чортова — не то, что в литейке. Все руки ссадили. Одно-го пришлось отправить — ногу отбил. Технике безопасности надо завтра структурировать братву. Это — тоже квалификация. Каждое малое дело имеет свои приемы. То и плохо, что приходится самим доходить до теории дела. Где техники и десятники? Их нет. Разве это хорошо? Тут только Вихляев вихляет. — не гнушается черной работой, да эта наша девчоночка Отдушина. Вот тоже — лопатки. Зачем эти лопатки? Всё у нас как-то не по-настоящему. Разве лопатками здесь что сделаешь? Бродил здесь Шагаев. Я ему вот также — претензию, и он мне тоже — претензию. Почему плоха техника безопасности? А он: «Почему вы не делаете эту технику безопасности своим делом, почему ею не дышите, в крови своей не растворяете?» Верно. Проблема лопатки и лома есть проблема сердца. Вот как надо вонзать вопросы в существо. Не болеем мы, подлые. Почему у нас нелады и прорывы? Потому, что сердце не болит за каждый наш неверный шаг.

— Ты — бригадир, Макуха?

— В том-то и вопрос. Вот и приходится проблему бригадира ставить кровным вопросом революции. Ты там поглядай на двуногую технику, больно уж дурно воняет. Нехорошо. И этим мы не боеем, и мозги и сердце наши молчат и в ус не дуют. Одно горе, честное слово!

Но по его возбужденному голосу и взволнованным словам нельзя было заключить, что ему больно, что он занят

каким-то тяжелым вопросом, который не дает ему покоя.

Мирон шел по котловану, среди суматошливого кишения людей, оглохший от грохота и гула работ. Деррики поднимали глыбы камней и железные коробки со щебнем, харкали экскаваторы, вереницы вагонеток ползали черепахами или длинной сколопендрой, изгибаясь, бежали к аркадам ряжей у берега и исчезали в их тоннелях. Ему выкрикивали с разных сторон веселые голоса, и взмахивали руки. Озабоченный и быковатый, прошагал мимо Вихляев, скосив голову на бок, и не заметил его.

— Как у вас с расстановкой рабочей силы, товарищ Вихляев?

— О? — и, гримасничая улыбкой, остановился. — Ладно. Только зачем они ввязываются в мои функции?

— Вот это и хорошо. Вам недостает общего руководство. У вас недостает десятников и бригадиров. Большой выбор.

— Да, выбор... Дня два повозятся, а потом убегут. Вот пришли — и уже со вещание: давай план и распорядок работ.

— Не нравится? С сезонниками этого не было?

— Сложно. Рабочему надо работать — зачем ему план и распорядок?

— Рабочий может работать хорошо, когда план и распорядок знает на зубок. Он должен быть в курсе дела: он не только работает, но и хозяйничает.

— Сложно и беспокожно. Только стало много десятников. Чуть ли не все рабочие — десятники и бригадиры. Они больше меня заняты системой распределения сил.

— Находите, что работают не плохо, Вихляев?

— Дружно. Я хотел бы закрепить несколько парней.

— Я думаю, Вихляев, что эти люди не страдают машинобоязнью?

Вихляев махнул рукою, опять сгримасничал и пошагал дальше.

В котловане правого берега, у Шепеля, было спокойно: людей меньше, но все машины загружены полностью. Работа шла неторопливо и буднично. Здесь было большинство в прозодежде. На Марионе работал вместе с чумазыми си-

неблузниками Константин. Он орудовал рычагами, грязный, с засученными рукавами промасленной рубахи, а рядом с ним стоял синемблuzник и командовал, часто сплетая свои руки с руками Константина.

«Музыкант учится играть на новом инструменте».

Работал он с напряженной старательностью и любопытством ученика, взволнованно, побледневший от усилий, от борьбы с собою и с механизмом, который еще плохо подчинялся его рукам. Но в его крепко сбитой фигуре, в шерстистых руках, в упорном устремлении глаз к механизму машины билось лихорадочное упрямство.

«Бесится парень или по-настоящему хочет включиться в наше бытие?»

Шепель стоял около «сандерсона» и внимательно изучал глазами его работу. Долбило ухало, сотрясая граниты. Около штанга стоял рабочий в прозодежде и ласкал рукою трос. Двое других рабочих несмело переминались у машины и бездельно скучали в терпеливом ожидании. Шепель как будто не замечал их и, покуривая, целился в какую-то деталь, подходил, прислушивался, ловко и уверенно трогал пальцами или ощупывал отдельные части механизма. На Мирона он взглянул с рассеянным равнодушием и дотронулся до козырька кепки, но ничего ему не сказал.

Он поманил пальцем рабочего у штанга и, забыв о нем, взял ключ и что-то подкрутил у двигателя. Рабочий стал около него и ждал приказаний. Но Шепель пристально и вдумчиво прислушивался, ощупывая детали. Обошел кругом машины, изучил части, потрогал трос и одобрительно кивнул головой.

— Работает как будто хорошо, Степанов?

— Сейчас идет без робости, товарищ Шепель. Вчера была маленькая пужливость — нервничала. Сегодня с утра тоже раза два спотыкалась и беспокоилась, а сейчас как будто обошлась — дышит ровно.

Он повернул Степанова к двум рабочим и подтолкнул к ним.

— Ты, механик, возьмешь к «сандерсону» этих двух парней. Они — со скальной выемки, каменоломы. В течение трех дней — максимум — введешь их во

всю механику этой машины. Скоро придут еще два «сандерсона» — нужны квалифицированные руки.

Степанов, с оттянутым носом и подбородком, строго оглядел каждого из парней с деревенскими лицами и тяжелыми руками.

— В первый раз на стройке?

— В деревне таких, как мы, дорогомости. Без машины теперь и шагу не шагнешь. Мы за заработком не гонимся.

Другой крикнул, сконфузился и повторил, как эхо, слова товарища:

— Мы за деньгами не гонимся.

— Погнались за квалификацией?

— Ты же сам, товарищ Степанов, из деревни. Сейчас там без установки — гроб.

Степанов холодно и глухо отвернулся от них и тоже прислушался к машине. Он подражал Шепелю в бесстрастии и замкнутости.

— Трех дней мало, товарищ Шепель. Я сам сколь время входил в ее существо. Ее надо обхаживать — кратковременно она не дается.

— Глупости. Под твою ответственность — три дня. Проверю. Нам некогда обхаживать время и людей. Мы можем только сжимать и дни и мозги. Вот-с. Бери их в работу. У нас при всех машинах — новые люди. Сегодня сел на кран племянник Балеева — человек нежных и пегучих движений — музыкант. И ничего — работает. Через два дня он будет хозяин машины.

Оба парня, не отрываясь, смотрели на бухающий «сандерсон», на ритмически махающий шатун с играющим колесом на конце и немного волновались: на скулах — жарок, а глаза очарованно следили за вздрагивающим корпусом и за колокольню позванивающим колесом и рычагами. Мирон наблюдал и за парнями и за Шепелем. Эти оба парня (один — в лаптях, а другой — в курносых сапогах) волновались надеждой: они были в преддверии новых, еще не пережитых, дней — они неожиданно входили в другой, сложный, неизведанный мир. А Шепель только слушал жизнь новой машины и старался понять особенности характера этого нового механизма, введенного в строй. Он видел не людей, а только машину.

— На моем участке, товарищ Ватагин, выемка грунта упала только на пятнадцать процентов.

Шепель сказал это официальным тоном, неподвижный, как камень.

Степанов махнул рукою парням и повел их за собою по другую сторону механизма. Парни пошли за ним с тревожными и жадными улыбками.

— Но ведь сезонники и у вас, товарищ Шепель, оголили фронт.

— Да, это — те, кто не связан с машиной. Вот эти двое уже не уйдут. Происходит отбор. Это — самый верный способ создавать надежные кадры. А таких у меня много. Машина имеет свойство насыщать собою человека. Если человек почувствовал машину, в нем уже совершается процесс передвижки его молекул, как, скажем, в стали от действия магнитных сил. Партия и профсоюз родились у машины — между ними функциональная зависимость: одна сила обуславливает другую.

— Поправка, товарищ Шепель: господство организованных человеческих сил над машиной. Надо ее одухотворить.

— Человек не самобытен, он только живой образ механики труда.

— В вашем сознании, товарищ Шепель, мир отражается вверх ногами.

— Всякое отражение — обратно. Не отражение, а проявление.

— Вот Вихляев тоже у машины, а машинобоязнь — его болезнь.

— Вихляев всю жизнь провел с землекопами. Машина или съест его, или обработает заново. Чтобы излечить машинобоязнь, нужно ввести обязательную трудовую повинность по машиноведению.

— Вы правы, товарищ Шепель, но — человек? человек?

Шепель быстро, с равнодушным недоумением, скользнул холодными глазами по лицу Мирона и опять стал прислушиваться к буханью и звону «сандерсона».

— Человек есть человек. Эцце го-мо, как говорится. Лично я не был и не буду во власти себе подобных.

«Будешь...» — улыбнулся Мирон и, как всегда, почувствовал боевой толчек внутри. Победить этого человека — дело нетрудное, но к нему надо уметь подойти, чтобы взять его в руки. И он

видел, как Шепель отгрыз кончик папиросы и выплюнул его к своим ногам. Ему было мелко с Мироном. Виду же не подавал — старался сохранить независимое бесстрашие. Этого человека не раздавишь грубым приказом: он — фанатик. Над ним можно господствовать только с помощью его собственной идеи.

— Почему вас не любят инженеры, товарищ Шепель?

— Меня?

Шепель впервые с изумлением и взволнованным порывом повернулся к нему. Он отвел руку с папиросой, смял ее пальцами, искры упали на камни и рассыпались ослепительной пылью.

— Этого я не знаю и знать не желаю. Мне нет до этого никакого дела. «Он умен и проникновенен», — отметил Мирон.

— Мне наплевать, товарищ Шепель, как вас расценивают наши спецы. Мне достаточно знать отношение к вам рабочих. Из этого отношения к вам и из вашей работы парторганизация и оценивает вас, как работника и прораба.

— Вы, как будто, охотитесь за мной, товарищ Ватагин?

— Нам нужны работники, преданные своему делу, а не дичь. Нужны новые кадры свежих сил. Все объекты работы насытим квалифицированными руками. Возьмите на себя труд организовать технические курсы на своем участке.

— Подумаю. Это — мой давнишний план. Но... я должен быть свободен.

— Что вы понимаете под свободой, товарищ Шепель?

— Кажется, ясно. Свою независимость. Всякого, кто будет наступать мне на ноги, буду гнать. Или уйду сам.

— О какой вы свободе говорите, товарищ Шепель? Изолированной свободы не существует. В вашей интерпретации это звучит немножко... тово...

Шепель осунулся от гнева, и у него задрожал подбородок.

— Я вас прошу... не... не оскорблять меня, товарищ Ватагин. Этого я... не могу... Понимаете, не могу...

Вы это о чем, товарищ Шепель?

Мирон рассеянно посмотрел через его голову и протянул ему руку.

— У вас, кажется, очень больна девочка? Надо ее полечить. Мы это сделаем.

— Откуда вы знаете, что у меня больна девочка?

— Мы это быстро устроим, товарищ Шепель.

Шепель с особой предупредительностью снял кепку и поклонился Мирону. Лицо дрогнуло смущенной улыбкой.

Опять внезапно пробежала мимо Феня и не обратила на них никакого внимания.

Татьяна стояла около другого «сандерсона» с книжечкой в руках и следила за работой машины, за движениями людей, сосредоточенно и углубленно.

XVI

После работы в шлюзовом канале Репей пришел домой ночью — усталый, но бодрый. Он был старшим бригадиром по скальным работам, и все бригады на верхней и средней камерах из кузнецов, слесарей и железнодорожников перевыполнили задание по выемке грунта на пятнадцать процентов. Каждый час он сообщал по телефону в партком цифровые показатели по всему объекту, а по окончании работ сдал сводку лично Мирону. Ватагин внимательно просмотрел ведомость, сверил с показателями других участков и с лукавой игрой в глазах раза два взглянул на него и помял пальцами подбородок.

— Гут. Ну, а как у тебя, Репей, насчет там дискуссии?

— Как это?

— Это у тебя не входит в процент выработки?

— Ну, вот тебе — здравствуйте. С чего бы я стал завинчивать, ежели линия взята правильно? Не без того, конечно, ежели десятник или прораб сбиваются с темпа... Приходится, конечно, приводить в православие.

— Гут, Репей. Так вот тебе на завтра задание: с пятнадцати шагнуть еще на ступеньку выше — до восемнадцати.

— Ну, это, Ватагин, — из головы. Ты сидишь здесь и командуешь. Надо исходить из реальных данных. Надо лишний «сандерсон», лишний кран, лишних людей...

У Ватагина опять заиграли в глазах лукавые капельки. Он с удивлением брызнул зрачками на Репея и стал рыться в сводках работ. Потом положил перед собою два листа со столбиками

цифр и крикнул в дверь досчатой перегородки, за которой бубнили молодежные голоса.

— Ну-ка, Васяй, дай-ка сюда сводку Кольчи по котловану.

Васяй стремительно вышел в комнату, и белый лист в руке у него затрепыхался крылом.

Он положил его на стол перед лицом Репея и ткнул пальцем в одну, в другую, в третью графу.

— Ключ, Репей. Придется подтянуться. Не давай только воли своему самолюбию.

Засмеялся и исчез опять в своей комнате.

Репей пробежал цифры, и ему стало досадно и обидно, что вот товарищи стараются уязвить его по всяким пустякам. Он погладил нижней губой свои усишки и равнодушно отбросил лист в сторону.

— Ты не бросайся, Репей, ведь двенадцать процентов. Это тебе не куры накапали. Ребятишки ведь.

Репей встал и с угрюмой гордостью надвинул кепку на глаза.

— Что ж такого, Ватагин? Ежели пошло на соревнование, я ставлю ставку на двадцать. А там поглядим.

Лукавые капельки играли уже явной насмешкой навстречу Репею. Мирон пожал плечами, потом опять помял подбородок.

— Не зарывайся, Репей. Подумай. Ты — мастак насчет правильных установок. Я не хочу ставить тебя в неловкое положение. Доведи пока до восемнадцати. Ты же ведь сейчас сказал, что я только колдую здесь из головы.

Репей не смутился, только нервно сдвинул кепку на затылок, и от этого лицо его с остреньким носиком стало задорным и злым.

— Я могу говорить что угодно, ежели думаю обоснованно. Но тебе на вышке виднее. Вот ты прижал меня к стенке документами, и я чувствую всерьез. Против ничего не скажешь. Я вот в момент сообразил, что соотношение сил пропорционально одинаково. А похвалился я перед тобой преждевременно. Сообразил также насчет темпов. Двадцать даю наверняка.

— Ну, гут, Репей. Значит, можно ругаться?

Мирон встал и улыбнулся Репею тепло и дружески.

Репей пришел после этого разговора, немного приподнятый, возбужденный тем обязательством, которое он так твердо и уверенно дал Мирону.

Он помылся под душем, переоделся, перекусил и напился чаю. Жена уже спала с грудным ребенком, а он на цыпочках возился на кухне. Потом он, освеженный, вышел в сад и сел на скамейке перед клумбой цветов. Он смотрел на мутное зарево строительства, на лучистую засевь огней и слушал призрачную музыку, которая реяла как будто близко и как будто бесконечно далеко. Воздух был сухой, немного пыльный и душный. В ногах ныло и струилось утомление. Возбуждение еще не прошло, и он думал о том, как он завтра ошарашит братву, как он их раздразит и обозлит (в этом он всегда находил для себя большое удовольствие), как расстанет силы и как будет злобно звонить по телефону Ватагину и объявлять котловану шах за шахом. Ему было обидно, что Ватагин относился к нему до сих пор свысока, презрительно и не выносил, когда Репей ввязывался в пререкания. А ведь он, Репей, только ищет правильных установок и четких линий: чем он виноват, ежели у людей в голове часто бывает болтушка, и сам Ватагин в иные времена сходил с рельсов, буровит шпалы и насыпи, и чорт его знает, куда тащит за собою весь подвижной состав.

«Парень Ватагин хороший, только увлекается... ну, и самодурствует подчас... Личность свою без самокритики обожает. Как он тогда налетел на меня! генерал армии... Но я ему докажу, где Москва на карте... Он правду чувствует, только признаться в своих ошибках гордость не допускает...»

И, когда вспоминал сегодняшней разговор с Ватагиным, улыбался: ему было приятно, что Мирон впервые держал себя с ним просто, по-дружески.

«Нет, он — молодец, этот Ватагин. Сам дежурит на плотине, сам следит за ходом работ. А я все-таки докажу ему, где Москва на карте».

И Репей замечтался. Пройдет два-три дня — и его участок перекроет всех.

Ему вручат переходное красное знамя, а он невозмутимо и по-деловому объявит свои бригады буксирными. Пусть он сейчас только невидный кузнец на шлюзе. Придет время — его узнают все, имя его не будет сходить со столбцов газеты, загремит он в областной и московской печати, и все на строительстве будут с удивлением встречать его на улицах, на собраниях и гордиться им.

— Это — товарищ Репей... героической бригадир... У него — ведущие бригады...

На крыльце, у электрической лампочки, вихрем кружились ночные бабочки и мошкара. Четкими треугольниками прилипали к стене большие шелкопряды, утомленные полетом.

По тротуару шоркали шаги прохожих. Гомонили голоса, играли визгливым смехом девчата, и где-то стонал рояль — не то близко, не то далеко — не поймешь.

В калитку вошли два незнакомых человека: оба в белых кителях с золотыми нашивками на рукавах, в фуражках с жирными арматурами над козырьком. Краснофлотцы. Один — очень высокий и тяжелый, другой — маленький. Он, может быть, и не маленький, но в сравнении с этим великаном казался карликом. Да и сам Репей, когда смотрел на этого богатыря, чувствовал, что он стал как будто меньше — сжался до роста мальчишки.

«Ну, и детина! не поспешили на материал дорогие родители...»

При размытом свете электричества видно было, что оба чисто выбриты, очень опрятны и, должно быть, от них пахнет одеколоном.

«Краснофлотцы всегда были чистяги... всегда — с форсом... все они — для картинки».

Они нерешительно остановились, осмотрели дом и садик.

— Кажется, этот самый...

У высокого — певучий баритон, с бархатцем.

— Ну, конечно. Только куда же войти? Пойдешь направо — коня потеряешь, налево — голова с плеч.

Маленький говорил басовито, с усмешечкой: должно быть, остряк и не дурак выпить. Они увидели Репея, и

высокий спросил его очень вежливо и вкрадчиво:

— Скажите, товарищ, вы здесь живете?

— По всем данным, как будто — здесь.

— Так-с. Рассуждение основательное. Но скажите: инженер Хабло как будто здесь проживает, по всем данным?

— Продолжайте по дорожке, прямо к веранде.

— Большая благодарность, товарищ.

— Не стоит благодарности за такие малости. Он — дома, идите смело.

— Обязательно смело... — усмехнулся голосом маленький и зашагал по дорожке, — по всем данным, мы — народ не робкий и напористый.

Репей с удовольствием провожал их глазами и усмехался.

«Бравые ребята. За словом в карман не лезут. И выправка — на зависть. Чорта-с-два, возмешь нас с такими ребятами».

И Репей радостно чувствовал гордость за них и за себя.

Оба командира вошли на крыльцо и оглянулись на Репея. Маленький нажал кнопку звонка. Из-за двери испуганно и строго замычал придушенный голос Паши, домашней работницы.

— Вам — кого?

— Максим дома?

Осторожно приоткрылась дверь, и в щель высунулась голова Паши.

— А вы... кто такие?..

— Свои...

И высокий сердито сказал ей что-то невнятное. Женщина задохнулась, ахнула и, пораженная, тоже забормотала непонятно, и по ее голосу видно было, что она вся затрепетала перед ними от бурного счастья. Репею почудилось, что она говорила на каком-то незнакомом языке. Дверь распахнулась, и гости скрылись в мутной пустоте.

Репей поднялся от бессознательного любопытства и пошел по дорожке к своему крыльцу. Он обошел вокруг дома и прислонился к стене у открытого окна квартиры Хабло. Окно быстро закрылось, и голоса оборвались. Скрипнула выходная дверь. Паша потушила свет на веранде, постояла и зашлепала туфлями по скрипящему полу. Репей уви-

дел, как она перегнулась через оградку веранды и посмотрела вправо и влево.

«Дура! — усмехнулся Репей, — трусливая душа... Всегда воров боится».

Над Пашей он всегда издевался: она каждый вечер наглухо закрывала окна, тушила огни, все время оглядывалась, а по утрам бредила:

— Сегодня ночью раз пять в дверь царапались... окна дергали... Ночей не сплю... Строить-то строите, а воров вот развели, как крыс в амбарах...

— Прячься, не прячься, Паша, а раклы все-таки тебя пощупают. Уж я нарочно их на тебя науськаю...

— Ах, товарищ Репей, и так лихо, а ты еще насмешки строишь... Ну тебя!

Но сегодня он вдруг неожиданно заинтересовался: подозрительный и беспокойный по натуре, Репей был поражен встречей этих гостей. Почему они бормотали на каком-то неслыханном языке? И почему Паша вдруг стала иной, не похожей на обычную Пашу? Если бы спросили его, какая перемена совершилась в этой костлявой женщине, не деревенской по облику, — он не ответил бы: не указал бы ни одного признака этой перемены, но знал твердо, что перемена произошла — Паша была не Паша, а какая-то другая женщина. Хабло был дома, но увидеть его было нельзя, потому что окна у него завешены всегда сплошными толстыми занавесками. Этот инженер-коммунист, прилизанный, с выпуклыми глазами, не нравился ему — не лежала к нему душа, хотя он партиец был активный и всякие нагрузки нес охотно и прилежно. Интересно было бы поглядеть, как он держит себя с гостями, и о чем они говорят. Теперь — двенадцатый час. Почему так поздно пришли к нему эти краснофлотцы. Ночевать? Погостить у него несколько дней? Раньше Репей никогда их не видел, а Паше они были, очевидно, близко знакомы. Когда она могла узнать их так коротко?

Он подкрался к окну и стал прислушиваться. Глухо бубнили голоса, кто-то смеялся, весело, с одышкой. Очень словоохотливо, но как будто с оглядкой, говорила Паша. Понять разговора было невозможно: ни одного слова не мог

ухватить ухом Репей. И опять ему показалось, что люди говорили на каком-то непонятном языке.

Репей стоял долго, прислушивался, заглядывал в окно, но оно было глухо и надежно закрыто парусиновой занавеской и огнилось изнутри тусклым накатом.

Он тихо отошел от окна, сутулый от задумчивости и смутного предчувствия..

Жена Агаша, рыженькая, конопатая, горячая от сна, шурилась и улыбалась стыдливо: как это она проспала — не встретила его с работы? Она уж обнаружила, что он копался в кухне и успел поужинать.

— Ну, почему не разбудил? Заснула, понимаешь, с Никандром и совсем не заметила. Вот беда-то какая!

Этому Никандру было только два месяца, но она говорила о нем серьезно и важно, как о взрослом.

Репей сел на стул и, обняв ее за поясницу, прижал к себе.

— Я уж тебе давно толкую, Гашок: не жди ты меня и спи себе в железку. Надо бы этого червяка в ясли приспособить... Как-никак — жена большевика. Она обязана вести общественную работу. А дело в том, что... надо еще приспособить и самые ясли... Вот Никандру два месяца, а ясли пока еще не родились...

Агаша любовно перебирала его волосы, прижималась к нему мягким бедром и волновалась — даже голос перехватывало.

— Чего это ты, миленок... из дому меня хочешь вытурить что ли?..

— Обязательно вытурю.. чтобы и духу твоего не было...

И гладил ее по другому бедру.

— Скажи ты мне, Гашок, вот что. Ничего ты не замечала за этим тараканом — за Пашей?

Агаша молча поглядела на огонь, как будто вспоминая что-то.

— Тараторит она много... двадцать раз на дню прибежит — надоела до смерти... А понять ее не могу.. ящерка какая-то... Все вынюхивает, высматривает: как, да что, да куда?..

— Ишь ты пакость какая! Выпытывает?

— Куда там! прямо все грязные пеленки вынюхивает...

— Ну, а вот по идеологической установке какая она?

— А чорт ее поймет. Я — свое перед ней: не знаю, да дело не мое...

— Правильно. Ну, а какие же она удочки закидывает?

Агаша будто дрогнула от внутреннего порыва.

— Знаешь что, Миша... ей-богу, она — не прислуга... она живет с ним...

— Ну, это нам начхать... это дело малого содержания...

— Нет, подожди... я — к чему?.. Зачем она все о тебе спрашивает?

— Ого, обо мне? А ну, ну?

— А тебе очень интересно? Я ее сегодня здорово турнула: нечего, мол, тебе интересоваться чужими мужьями, и пошла ты к чортовой матери.

— Ну, во-от... — досадливо протянул Репей и поморщился от обиды. — Вывела всю тактику на бабулю линию.

— А ты почему ей интересуешься? С чего ты вдруг разговор о ней завел? Где ты сейчас пропадал?

— На свиданьи с этой красавицей. Ты эту свою установку оставь. Сейчас к ним пришли какие-то флотские командиры. Ты этих флотских раньше не замечала? Один — этакий здоровила, а другой — ему под пах.

— Ни разу не видала. У них никто не бывает.

— Полюбопытствуй. У меня, что-то под ложечкой засосало. Какая-то галиматья.

— Ну, Мишенька, тебе всегда что-нибудь мерещится. Ты хуже бабы падок на всякую дурь...

— А ты, Гашок, любопытствуй... так этак остороженько поспрошай... поглупее себя держи... Узнать бы, о чем они там дискуссии заводят...

— Ну, ложись, ложись, а то завтра вставать с солнышком.

Репей поднялся, постоял, прислушиваясь к стенке, за которой чуть слышно вздыхали голоса.

Он не спал всю ночь — не потому, что кричал ребенок и ворошилась над ним Агаша, мурлыча ласковую чепуху, а потому, что все время его мучило беспокойство. Эти два человека в белых кителях давили его, как кошмар. И Паша была не Паша, а какая-то зло-

вещая незнакомка. Правда ли, что они говорили на чужом, странном языке? А вдруг Хабло—тоже не Хабло, а хитрый враг, который скрывается под личиной Хабло? Чудилось, что где-то далеко, в глубинах этого дома, скрываются тени, которые сейчас готовят неожиданные бедствия.

Он несколько раз вставал с кровати — осторожно, как вор, чтобы не разбудить Агаши, которая прилипала к нему влажной теплотой — жадно спала после разрывов сна—и, босой, шел в другую комнату. Он прижимал ухо к стене и слушал, затаив дыхание. Стена глухо гудела голосами и звоном посуды. Паша тоже не спала, и голос ее играл и сердился: она, очевидно, спорила с мужчинами. Говорили вперебой, одновременно все, смеялись, потом затихали, а потом опять по одному вплетались в разговор. Было похоже, что люди немножко выпили, потому что голоса были возбуждены и настроены на веселую струну.

«Ну их к чертовой матери!.. — отрывался от стены Репей. — Пришли к человеку дружки, — должно быть, давно не виделись... а я здесь, как дурак, доглядаю... ночи не сплю... Мерзота! за товарищем слежку устраиваю... Спать!»

И опять ложился на кровать, ошпариваясь влажным жаром Агашина тела. Он засыпал, но тревожный настойчивый удар потрясал нутро, и он опять мучился от назойливых теней, которые звали его в другую комнату. Он вышел на двор и посмотрел на небо. Оно было уже по-утреннему прохладно, и звезды густо обрызгивали его в зените, а млечный путь таял прозрачными клочьями пара. Горели огни на поселке, и попрежнему неугасимо пылилось зарево строительства. Кричали паровозы на железнодорожном узле, и откуда-то издалека рокотали мерцающие громы. На улице рыхло лежала тишина. Репей ходил по дорожкам сада и всматривался в окна квартиры Хабло. Парусиновые занавеси огнились мутным накалом. Мычали невнятные голоса. И опять это проклятое, навязчивое воркованье Паши...

С мягким шорохом подкатила машина к ограде и завывала гулко, на всю

улицу. Репей узнал строительский автомобиль, на котором обычно раз'езжали заместители начстра.

«Завтра же надо узнать в гараже, куда гоняли эту машину».

Репей отошел вглубь садика и спрятался за деревья. С веселым говором и смехом вышли и эти двое в белых кителях, и Хабло с Пашей. И опять показалось Репею, что все они говорили на каком-то непонятном языке. Он успел ухватить только возглас Хабло от самой калитки:

— Я возвращусь часа через два. Ложись, спи.

Хлопнула дверка автомобиля, и машина рванулась вперед.

Паша медленно и, как показалось Репею, мечтательно побрела по дорожке к дому.

«Значит, воров не боится...» — ехидно подумал Репей, и ему вдруг стало легко и ясно на душе, точно он разрешил какую-то трудную и мучительную задачу, которая отравила ему душу за эти несколько часов его жизни.

XVII

Как обычно, Феня просыпалась от знойного ослепляющего света. Кровать ее стояла у самого окна, и как только солнце выплывало из-за крыш и клубастых садов с четкой по-утреннему листвой, — подушка и голое плечо воспламенялись нестерпимым блеском. И от подушки, и от простыни, и от рубашки этот огненный блеск отражался на соседней стене, на потолке, и воздух в комнате (по-девичьи чистоплотной, хотя и пустой) дымился золотой пылью. Сначала Феня чувствовала сквозь сон (когда хочется встать и хочется плыть в забытьи) горячие волны — особого, живого — огня, потом ослеплялась горячей кровью в оранжевой мути век, потом вдруг ощущала, что она — голая в солнце. Ее потрясал настойчивый внутренний порыв, и она в изумлении открывала глаза. Разрез ее век в этот миг казался особенно сильно скошенным к переносью. Она одним прыжком вставала с топчана и быстро оправляла рубашку, старательно закрывая грудь. Торопливо хватала с табуретки черную юбочонку, натягивала носки и сандали. Она лукаво поглядывала на белую кровать

у другой стены. Женственно-зрело круглились под простынею бедра и ноги Татьяны. Фене было немножко противно от ее пряного тела. Ей казалось, что Татьяна откровенна только во сне. И только во сне она обнажает свое подлинное нутро. А в рабочие часы, когда она — среди людей (и даже наедине с нею, Феней), она притворяется, ее деловая строгость — только напускная бравада.

Впрочем, чорт с ней, с Татьяной. Она все-таки девка славная, способная и умная. А вот почему она, Феня, проснулась сегодня с нудным беспокойством в душе, похожим на тяжелое предчувствие? Хотя она спала, как черепаха, без сновидений, но где-то глубоко внутри, даже во сне, она смутно, без участия сознания, ощущала странную, сосущую тоску. Она даже уверена, что весь ее сегодняшней сон был насыщен этой невнятной тревогой, и эта тревога мычала предостерегающей угрозой. Мирон?.. Что же у ней произошло на-днях с Мироном, чтобы беспокоиться за себя? Спасение погибающего? Странное столкновение с ним на холме?.. Это — чепуха...

Феня застыла у окна, закованная в полужесте — с руками, поднятыми к волосам. Она стояла перед неубранной постелью, с неподвижным взглядом в одну точку — в охапку густых листьев в саду, перед кирпичным домом, где жил инженер Кряжич. Небо голубело близко, но бездонно. Оно было так же понятно и просто, как в детстве, но так же недостижимо и пусто. Как перламутровый винец на стеклах, вон там, очень далеко, вытянулись, изгибаясь перьями, прозрачные, тающие облачка. Они вырастали одно из другого, пылились узенькой полоской, уплывали к зениту и исчезали, обрезанные рамой окна. Воздух был застойный и очень прозрачный: отдельные капельки листьев отчетливо видны были даже на верхушках далеких тополей, а клыкастые граниты на прибрежной скале, над домами, остро резались изуродованными обломками. И эти охапки листьев, и эти-щербатые лезвия камней дрожали и плавилась в струях утреннего зноя. Было душно и тягостно, до липкой испарины.

Да, вот оно... Тут — иное... С Мирон — это пустяки... С ним происходи-

ло что-то необычное, и она до сих пор не может освободиться от странной, невысказанной им, загадочной силы его слов... Но не это... Тут надо удостовериться, обычная ли это фильтрация или грозный просос, который в один миг может уничтожить работу нескольких месяцев.

Она быстро открыла окно, и сразу же хлынула на нее волна утренней свежести: и жирный запах влажной травы и цветов из палисадника, и горячей пыли, и чего-то хмельного — не то росы, не то неба. Где-то очень далеко пели петиухи. А в саду у Кряжича флейточкой всхлипывала птичка. Зелеными искрами летали перед окном мухи и звенели металлическими струнами. Хотелось броситься навстречу солнцу, в небесную синеву, и засмеяться, а может быть, заплакать от восторга. Феня вздохнула и высунулась из окна. Почему так пахнет детством и почему все кажется крылатым, простым и милым? Почему этот неудержимый волнующий зов из глубины?

— Это чорт знает, что такое!..

И крикнула через плечо в комнату:

— Татьяна! Да проснись ты, окаянная! Это же — невозможно. Это же преступление — дрыхать в этот час...

Потом рванулась от окна, бросилась к Татьяне и с разбегу упала на ее мягкую распластанную фигуру.

— Ну, поднимайся же, Танька! Посмотри, какое утро дьявольское... С ума сойти.

И было необычно для Фени это ее сзорство. Хотелось кувыряться и выкинуть что-нибудь необузданное, мальчишеское...

Татьяна испуганно открыла глаза, с красными искрами в роговицах, и эти глаза ее, даже вблизи, расплылись в ресницах, а сами уходили в глубину.

— Отстань, не дурин... постыдилась бы... ведь уже должна по годам детей рожать...

— Да, да, вот должна, да не хочу. Вот опьянела от солнца и укушу тебя...

— Ай, Фенька! дура! Ты — в самом деле... Ведь это же — уголовщина...

Она вцепилась в Фенины кудри и затрясла ее голову.

— Будешь кусаться?

— Буду...

— Фенька!.. чертовка проклятая!.. Она серьезным образом кусается... Холера!..

И когда Феня тискала упругое тело Татьяны, она опять ощутила смутную брезгливость к ее приторной женственности. Она вскочила на ноги и опять подбежала к окну. Но уже тот порыв, который охватил ее минутой раньше, растаял и был странно далеким. Уже не было смеха в лице, и глаза и губы сосредоточенно замкнулись.

— Ну, вставай же, Татьяна, кроме шуток... Я страшно беспокоюсь насчет котлована. Там — неблагополучно. Кряжич слишком самонадеян и самоуверен. Я предупреждала его позавчера и вчера. Он — невменяем. Ждать тебя не могу.

Татьяна уже натягивала носки и не слушала Феню. Ее чистоплотная красота совсем не шла к этой пустой, неуютной комнатке, и было странно, как могут мирно и дружно жить вместе эти две разные девушки, почему они так крепко привязались друг к другу.

— Кряжич такой же, как ты, Феня, — взбалмошный и беспокойный. Но Кряжич все-таки — загадка для меня. Именно поэтому он — мой враг. Чтобы его разгадать, я должна побороться с ним.

И вздохнула с затаенной усмешкой:

— Все-таки, мы — женщины, дорогая подруга.

Феня презрительно фыркнула и, отмахнувшись, побежала к двери. Татьяна, мягко ощупывая себя руками, спокойно предупредила ее.

— Ты не наделяй напрасного шума, голубка. Будет конфузно. Думаю, что твоя тревога неосновательна.

И по ее глазам видно было, что она думает о другом.

Феня рысцой сбежала к берегу — не улицами поселка, еще по-утреннему пустынного, а напрямик — по склону холма в глыбах гранита, изрытого подемами и обрывами. Здесь был только голый камень, шершавый от моха. Сухой и сам окаменевший, этот мох хрустел под ногами, как стекло. Она птицей слетала по щебню и оползням в овраги и на четвереньках карабкалась вверх. Солнце обжигало зноем, глаза лопило от ослепительного воздуха, пахло каменной гарью, сухой землей и мятой.

Это среди камней, в щелях и ямках, забитых землей, седыми пучками жадно хваталась за жизнь богородская травка. На-бегу она сорвала пучок этой травы, и так он остался в крепко стиснутых пальцах. Она не любила садовых цветов, не любила букетов на столе, но эта трава нравилась ей: она одна тревожила в ней трогательную нежность. Эта бедная травка, похожая на мох и полынь, вызывала в ней удивление. Она завоевывала себе жизнь с невероятным упорством и суровостью. Между нею и Феней была какая-то связь, полная значения. И Феня, как эта трава, прошла через такие же расщелины и камни, и ее также топтали равнодушные люди. Может быть, потому и она, Феня, стала такой же поджарой и живущей, как эта трава. Может быть, и она так же остро пахнет и так же приметна среди людей — ни красотой и фигурой, а особым, присущим ей, характером.

Внизу, в воздушном провале, жирно плавилась в рыжих водоворотах река. Налево огромным планом пересекали реку перемычки, загроможденные вагонами, паровозными кранами, курганами песку и щебня, горящими струнами рельсов, ржавыми штабелями арматуры. И ближе и дальше — зияла между стенами перемычки пропасть, как потухший кратер вулкана. И там пламенели трехногие деррики, вытягивали черные шеи локомотивные краны и экскаваторы. Голубая стройная аркада бычков с капителями опалубок ступенилась от вершины холма к котловану. По террасам разработок того берега, среди хаоса каменных отвалов, строительных материалов, служебных бараков, ползли составы площадок с бетоном и с пустыми бадьями, думпкары с ворохами камней. Сейчас в котловане — дикая пустота, только призрачно возится несколько артелей рабочих около основания верхней перемычки. Бригады металлостов придут только после обеда. Сегодня же должна быть и демонстрация. Видно, как болотно зеленеет вода на дне. Насосы уже не успевают высасывать ее своими членистыми трубами.

Вспомнилось, как здесь было когда-то пусто и дико. Эти бурые холмы, голые и глинистые, эти вывороченные из глубин гранитные глыбы, эта река, в вы-

соких каменных берегах, уныло и бесприютно дремали в первобытном одиночии. Блеклые мужики с обветренными лицами, такие же бурые, как эти холмы и граниты, жили в ущелье, скрываясь от ветров и наводнений. А на поля выезжали очень далеко — в плоские равнины за холмами, и оттуда не видно было этих угрюмых гранитов и не слышно бурных порогов, ревущих за скалами и между скалами далеким неумолкаемым водопадом.

А теперь ничего не осталось от этого дикого места. Феня приехала из большого города: она привыкла к людной суматохе улиц, к расточительному свету электричества, к студенческим толпам в аудиториях и коридорах втуза, к партийным собраниям и праздничной толчее в театрах и народных гуляньях. Эти же дикие непроглядные ночи изнурили нутро. В эти бездонные часы она боялась выходить на улицу и с застывшими глазами, в которых тоже была ночь, смотрела только внутрь себя. Она надежно запирала ставни на болты, а двери — на крючки и засовы, спала беспокойно, со спазмами в горле. Сейчас уже смешно вспоминать о болтах и засовах, которыми она охраняла себя от жутких ночей. Теперь уже эти ночи понятны, потому что насыщены жизнью: они великолепны в размашистой россыпи ослепительных звезд электричества и в полетах фосфорических излучений прожекторов. Человеческий труд непрерывен: глухие ночи забыты. Ни на один миг не останавливается машина: посвистывают паровозы на подъездных путях, глухо бумкают компрессоры. И с утра до вечера воздух вздрагивает и сотрясается взрывами, и эти взрывы очень похожи на грохот тяжелых орудий, который еще жил в памяти Фени от дней гражданской войны. Впрочем, ведь и здесь — война, упорная, напряженная, и здесь — целая армия бойцов, и она, Феня, — тоже сила в их массе.

Нужно было одно: сейчас же снова обследовать, проверить и, может быть, поднять тревогу. На этой перемычке она производила работы с первых ударов топора, и каждый день насыщал Фениной кровью каждую балку, каждый нагель, каждый камень, брошенный в колодцы рязей. Это со-

оружие было уже живым существом, которое дышало дыханием Фени, знало и обнимало ее, и она чувствовала, как kloкотала кровь в недрах этих стен.

Напирая на широчайшую стену рязей, забитую камнями, со струнно натянутыми рельсами, вода здесь расстилалась спокойно, зеркально, как озеро. Черной пеной плавали рваными спиралями щепки и сор в медленном круговороте.

Струйки пота щекотали спину, грудь, заливали глаза, капли трепыхались на кончике носа, на подбородке, на лбу и ртутью падали на кофточку и юбку.

Вон машет крыльями макинтоша Вихляев, прыгая с камня на камень, шлепая по болоту. Вот он поскользнулся и по колени в воде пошел так же размашисто и стремительно. Полы макинтоша зашлепали по рыжей грязи. В воде он отразился уродливо — жидкий, разорванный по частям. Он махал рукою в сторону экскаваторов и кричал гнусавой фистулой:

— Эй, вы, там.. мухобои!.. ползи долой, к чертовой матери отсюда!.. Вон!..

И голос его рокотал эхом в глубине провала. Феня только сейчас заметила, что один экскаватор, к которому шел вброд Вихляев, задней частью гусеницы погрузился в воду.

У барьера низовой перемычки стояло несколько человек и с любопытством смотрело в нутро котлована. Должно быть, им было смешно, как Вихляев буровил воду своими ногами и макинтошем: они скалили зубы и что-то покрикивали ему вперебой. А когда Вихляев погрозил им кулаком, они захохотали и замахали ему руками. И когда Феня смотрела на Вихляева, который буровил нсгами озеро и уже шел напрямки, все глубже погружаясь в воду, в горле Фени играла щекотка. Милый, трогательный Вихляев! Прокоп шлепал по кепке и весело орал, как здоровый озорник, которому все на свете кажется занятным и радостным:

— Напирай, почем зря, товарищ командир!.. Наша берет!.. Перекоп и озеро Сиваш!..

И этот озорной Прокоп и его веселые ыкрики тоже щекотали смехом и грудь Фени.

Она быстро сбежала по лестнице в днище котлована и понеслась к тому месту, к отвалам камней, где вчера еще зловеще рвалась из-под ряжей вода.

— Хлебнем здорово, барышня. Будет библейский потоп.

— Это еще неизвестно, Вихляев. Возможно, что это — простая фильтрация или жила в донном ложе.

— Нет-с, увольте. Зрелище будет аховое. Поверьте.

— А Кряжичу звонили?

— Ну, звонил. Что толку?

— Ах, почему вчера не сделали отсыпей? Я же предупреждал и вас и Кряжича. Как вы думаете, может быть, опрокинуть думпкары щебня? а потом — рефулер?

— Какие там думпкары? На кой вам чорт думпкары? Вы — гидротехника, а я-с — прораб по земельно-скальным. Вы обязаны знать досконально, что в случаях прососов следует не в думпкары играть, а любоваться игрой природы.

— Вы думаете, что возможен взрыв воды, Вихляев?

Он пожал плечами, и глаза его заиграли хитренькими капельками.

— Вам виднее, барышня. Но я думаю, что мы не успеем даже инвентарь прибрать. Жду. Событие — редкостное.

— Сегодня, Вихляев, — демонстрация... а тут...

— Что же... кстати. Стильно. Величественно. Празднично.

— Не дурите, Вихляев. Право, не до шуток. Распорядитесь, пожалуйста. насчет водолазов. Может быть, удастся как-нибудь предотвратить. Надо сейчас же обследовать. Потом — бут и песок.

Феня опрометью побежала по камням. Но, вместо того, чтобы вбежать по трапу на перемышку, она запрыгала к тому месту, где жирно клокотала вода. Из-под ряжа, из каменной ямы хлестали рыжие фонтаны. Ее обдало холодными брызгами и залило глаза. Она попятилась назад, споткнулась и кувырнулась наземь.

В первое мгновение она ощутила режущую боль в плече и звонкий удар в затылок и тоже боль, нудную очень горькую. И, когда она вскочила, боль отхлынула, но почему-то дрожали ноги и руки. Спотыкаясь, она побежала на-

зад. Вот сейчас, в эту секунду, грохнет из-под стены чудовищный водопад — начнет разбрасывать камни, как при взрыве.

Она пробежала мимо Вихляева, и ей показалось, что он хочет проткнуть ее пальцем.

— Кровь-то смойте, голубчик. Нехорошо. Неосторожно.

Она сразмаху налетела на что-то мягкое и мохнатое. Очнувшись от колючей бороды и отскочила в сторону. Рабочий смотрел на нее растерянно и оторопело.

— Хоп, кучерявая. Куда тебя встрелила нелегкая? А ну? Что это у тебя за контузия?

И это добродушное бородастое лицо и вздрагивающие от смущенного смеха брови сразу отрезвили ее.

Она почти с ненавистью огрызнулась на него.

— Что вы тут треплетесь, товарищ? Видите, что делается? Слепли вы, что ли?

— Да я здесь... вот с Матвеем... работаем... Оно, конечно... какое уж дело... Польщет... А он, Матвей-то... строгий... Мужик он — хлопотный... буторный...

Вихляев даже не смотрел в сторону прососа, точно совсем забыл о нем и не придавал ему никакого значения. Сапоги и макинтош были мокрые, и где-то под полами храпела и чмокала вода при каждом шаге.

Почему нет Кряжича? Пусть он сейчас явится — хороший ему гостинец, строителю перемышки. Он будет орать, топтать ногами, а она, Феня, взглянет на него ледяными глазами и презрительно, как Вихляев, скажет:

— Вы, товарищ Кряжич, — в истерике. Нужно было вчера заняться этим делом. Я же вас не раз предупреждала.

Впрочем, этот Вихляев очень хитер. Он прикидывается простачком, а сам уже учел всякую мелочь. Он хочет быть героем дня—это ясно. Она видела, что Вихляев старается не замечать ее и неуловимо дает ей понять, что она здесь не нужна, что ей, девчонке, совсем не следует трепаться под ногами: она только мешает и может вызвать лишние хлопоты.

«Я ему покажу, дикарю, как я буду трепаться. Он втайне рад этой беде: он мстит и машинам и новым людям. Он

хочет обезоружить меня и посмеяться над моей беспомощностью».

Ряжи стояли высокой крепостной стеной, стройно и твердо играя кружевными клетками, вырастая из ноздристой насыпи камня и щебня. Огромными отшлифованными шлаками застывшей лавы стекали вывороченными спинами валуны. Бурные потоки плескались и шумели в камнях, причудливо путаясь, сливаясь и разбегаясь по расщелинам и ямам.

— Вихляев, я на минутку — к телефону...

Она взлетела по трапу на перемычку и понеслась к своей конторке. С разбегу ворвалась в будку и сразу же ослепла: в глазах ее еще поыхало солнце, мерцали горы, река и небо, а в будке был голубой полумрак. Она увидела размытые тени людей, но не узнала их. Кто-то говорил по телефону — выкрикивал с пронзительным нетерпением:

— Что это там за мямля... Немедленно же нагружайте и сверла и материалы.

Феня бросилась к телефону и вырвала трубку из рук человека.

— А ну-ка, товарищ, позвольте... Тут — авария, а вы — сверла...

— Кто-то смущенно и строго пробасил:

— Слепая вы что ли? Поосторожнее.

— Подите вы к чорту! Тут — катастрофа, а вы — с какими-то сверлами...

Она нетерпеливо надавила рычаг и, задыхаясь, ждала отбойного сигнала. И не обернулась даже и не посмотрела на того, кого она оттолкнула от телефона. Сзади нее смеялись: не то над нею, не то над этим человеком.

— Дайте Ватагина. К чорту! раз'едините и дайте сейчас же. Ну, то-то. Слушай, Мирон. Не перебивай. Беги немедленно к Кольче и гони его, в чем найдешь. Гони с ребятами в котлован скопом... Авария.

И голос Мирона спокойно и густо ответил ей с ласковой снисходительностью.

— Хорошо. Я распоряжусь.

— Не распоряжусь, а прыгай в окно и беги... Понимаешь, заливаает...

Она бросила трубку на рычаг и опять подождала отбойного отзвука.

Кто-то сзади сердито шагнул к ней.

— Почему об этом не сообщили мне?

Она не ответила и взяла трубку.

— Дайте тридцать шесть. Это ты, Осокин? Сейчас, голубчик, метлой выгоняй ко мне в котлован Кольчу с его партизанами. Прорвано основание ряжей. Некому работать. Пусто. Может быть, что-нибудь успеем сделать, слышишь? Главное, нужно — во-время. А его бригада — молниеносная.

Тенорок Осокина закудахтав испуганно и восторженно:

— Слышу, слышу. Лечу, родная. Валай себе — я их сейчас же выволоку... Вихрем прилетят... Балееву бы сообщить... Кряжичу... Вот беда-то какая!..

— Кольчу мне нужно с ребятами — понял? Чего ты лимонишь? На кой бее мне твой Кряжич и Балеев... только трепаться здесь будут...

Она повесила трубку и обернулась с блеском в глазах.

— Теперь можете крутить свои сверла, товарищ...

И вдруг вся ахнула и замерла: перед нею стоял сам Балеев и смотрел на нее с суровой улыбкой в усах. Глаза его с искрами огненной бронзы остро и любопытно пронзивали ее с молчаливым любопытством.

— Извините, пожалуйста, Викентий Михайлович. Право, я ослепла от солнца и вас не заметила.

Он потрепал ее по плечу с фамильярным дружелюбием.

— Хорошо, хорошо. Не смущайтесь. Отшили вы меня здорово. В такие минуты полезно ослепнуть от солнышка... Ну, ну, бегите, бегите!.. И насчет молодежи это тоже хорошо... Я подойду сейчас туда... но не беспокойтесь: трепаться не буду...

Он подтолкнул ее с грубой лаской, и она опрометью выбежала под смех людей, которых она так и не успела рассмотреть.

XVIII

Когда она опять прибежала на место работ, в котловане уже крутились водовороты. Жирная масса воды рвалась страшным водометом по скалам и швыряла камни в разные стороны. Из kloкочущей глубины выбрасывалась бурными взметами рыжая бурда песку и щебня. Что-то дрожало внизу, внутри

ряжей, разрывалось, и весь котлован грохотал бурей водопада.

Котлован быстро наполнялся водой. Она кружилась в нем и колыхалась длинным озером и уже грызла его острые края. Рабочих уже не было на старом месте. Экскаватор уползал вдали и, казалось, плыл по воде. Наполнину в воде был и один «сандерсон», потонувшими ковшами судорожно вздрагивали вагонетки.

Феня посматривала на противоположный солнечный берег и замирала от страха и нетерпения: хоть бы скорее явился Кольча с ребятами. Вот она здесь одна вместе с Вихляевым, и оба они обречены на бездействие. Вихляев как будто даже ослеп и стал ленивым и скучным. Он посматривал из-за обожженной скулы на солнце и нюхал его облупленным носом. Не перемычка ворошились густыми шеренгами рабочие, махали руками, кричали и волновались.

Ураганно ревели густые массы воды, бурная река неслась к нижним ряжам и прибойно хлестала в стены и скалы. Отраженная, она разливно в пене и водоворотах стремительно неслась в разные стороны, взвивалась взметами волн и каскадом брызг.

«Все пропало. Бесполезно. Где же Кряжич?.. Почему нет Кольчи?»

Хотелось заорать, затопать ногами и дать кому-то хорошую пощечину.

Вдали, на перемычке, оравой кричали люди, точно им было очень весело. Феня оглянулась туда, кровь рванулась откуда-то из глубины и оглушила ее до звона в ушах. Кажется, никогда она не испытывала такой бурной радости. Она опрометью побежала им навстречу. По перемычке вперегонку неслись ребята, а впереди — Кольча. Он махал ей рукою и скалил зубы. Бронзовый на солнце, с голыми руками, Кольча будто настойчиво звал ее к себе. Ей хотелось взвизгнуть, закричать всем телом и броситься на шею Кольче. Но она старалась держать себя невозмутимо и строго. Кольча схватил ее всем размахом, и она вдруг ощутила себя очень маленький, очень слабенький, как ребенок.

— Ну, говори, в чем тут дело?

— Ерунда.

— Ерунда? Ребята, ерунда! Поди ж ты какая оказия!

Ребята орали и лезли к ней с приторной угрозой.

— Хватай ее, ребя. В воду ее за провокацию...

Ей стало смешно. Зачем она вызвала их? Что они могут сделать? Теперь ни они, ни сам Балеев, ни Кряжич здесь совсем не нужны.

Комсомольцы обступили ее и загалдели, готовые со всех ног броситься вперед. У них горели глаза, и груди бурно дышали от беготни. Лица их были такие же, как у Кольчи, и все, раздувая ноздри, тревожно смотрели на Феню. Пот лил с них струями, и тела их блистали мокрым глянцем.

Сейчас Балеев, должно быть, смотрит на нее издали и смеется над ней, как над девочкой. Должно быть, думает: доверили же гидротехнические работы ребенку... Любуются на нее, вероятно, и все инженеры, которые были с Балеевым. А каким языком будет с ней говорить Мирон и каких объяснений потребует? Мирон... Нет, нельзя поддаваться нервной слабости. Во что бы то ни стало она должна здесь оставаться до конца производителем работ — хозяйкой на этом участке. Чорта-с-два, она даст себя поймать на бабьей истерике! Ответственность — на ней, и она с честью эту ответственность понесет до конца. Выдержка, выдержка, Феона! Твой голос должен быть тверд и распорядителен, а поведение должно быть полно достоинства и сознания собственной силы. К порядку!

Она вздохнула, выпрямилась и с твердой деловитостью взяла Кольчу за рубашку.

— Возьми на себя, Кольча... Каждому объяснять не буду... Котлован затоплен. Придется сейчас же притащить водолазов. Они — на рефулере. Обследовать место прососа. Подтянуть рефулер. Состав думпкаров. Надо забутить дыру и сделать отсыпку песком. Вот и все. Берись за дело и немедленно выполни всей оравой.

— Правильно. Это мы — живо.

— Не забудь. Сначала — водолазы, потом — думпкары со щебнем и камнями, а потом — рефулер. Силы распредели сам.

— Есть, Феона! Это мы враз обтяпаем.

Он схватился за голову и ринулся вместе с парнями к парапету. Вода кружилась плавно, как утихающий огромный водоворот, и уже подходила к уровню реки. Котлован был залит в какие-нибудь четверть часа. Феня неудержимо пошла за ребятами: она будто впервые увидела это жирное, грязное озеро и поразилась странной работе воды — этому ураганному потоку. Прошла через нутро волна изнурительной слабости. В ее котловане, на ее участке... Было одно бедствие — отлив рабочей силы: котлован был пустынен и мертв, и голоса людей рокотали эхом в стенах перемычек и в скалах. Вчерашний день и сегодняшняя ночь опять гремели жизнью, и было так радостно чувствовать живую кровь и силу людских масс. А теперь — новый потрясающий удар. Демонстрация, которая будет впускать... Что она скажет этим рабочим массам в цветах и в пене красных знамен и транспарантов? Хватит ли у ней силы встретиться с этими потоками глаз и лиц? А вдруг они сбросят ее тысячами ревов: а-а, вот ты какая! вот до чего довела!.. Долой ее, обманщицу и вредительницу — она издевается над нами...

— Чорт же тебя возьми, Феонка!.. Что же вы понаделали!..

И крик Кольчи был похож на стон.

Ребята плечом к плечу прилипали к перилам. Кольча очарованно смотрел на озеро, которое кружилось в стенах перемычек, и будто совсем забыл о Фене и ее заданиях.

И голоса ребят:

— Вот это — да! Вот это — здорово!..

— Эх, чорт... опоздали!.. Вот бы поглядеть-то... Красота!..

— Ну, и польхало, должно быть!.. Ну и силища! Ведь сколько мы бежали?.. Грохнуло в момент...

— Смотрите, чей-то картуз плывет...

— А во-он, видишь? Лодченка гуляет...

— Ничего не заметно... Оно рвануло сразу, а сейчас — уравнилось. И не знаешь, где эта глотка... Не меньше чем в сажень должна быть дыра-то...

Кольча оторвался от перил и встретился с глазами Фени, и оба увидели во взглядах друг друга сдавленную боль.

У Кольчи судорожно напряглись мускулы на щеках, точно он хотел что-то перегрызть и никак не мог. Феня чувствовала как-то смутную вину перед ним — было больно и стыдно, скулило внутри отчаяние. Разве она могла предотвратить эту катастрофу? Она сделала все, что нужно, что было в ее силах. Почему же только она одна обязана отвечать за это событие и почему только она должна страдать за всех? Возможно, что рабочие и даже он, Кольча, уничтожат ее своим беспощадным приговором... Кольча не остановится перед ее горем... Нужно только перенести это с гордым сознанием, что она достойна того удара, который обрушится на нее по воле масс и партии.

— Феонка!.. Как же это так?.. Чорт же вас возьми... Вот оказия-то!..

И он впервые увидел Феню такой обреченной и строгой — такой сосредоточенной в себе, крепко завязанной в тугой узел. Этот взгляд ее, пристальный и молчаливый, упрекающий, лихорадочно-глубокий, навсегда остался в душе Кольчи.

Это был сильный толчок, который заставил его вздрогнуть и притти в себя. Он обидел ее, он несправедливо ударил ее в тот миг, когда она сама переживала большое потрясение.

— Поди ж ты, какая история!.. Ну, ничего, Феонка!.. Понимаешь, я совсем обалдел... Эй, ребята!..

Ему почудилось, что она сейчас заплачет. Она осунулась и была бледна, точно больная. Но это, может быть, только показалось, потому что она сейчас же бодро и бойко подтолкнула его за руку.

— Ну, Кольча... задание-то все-таки надо выполнить. Чувства свои можешь выразить потом. Забирай своих партизан — и в два счета...

Кряжич и Татьяна появились внезапно и не с той стороны, откуда ожидала их Феня — не перемычки, а с берега (должно быть, приехали на автомобиле). Как всегда, Кряжич замахал руками и по-воробьиному крикливо заговорил сразу со всеми. Он срывал белую кепку, опять кидал ее на затылок, и лицо его, красное и глянцевое, с каштановой бородкой, меняло в одну секунду множество настроений, а цепкие гла-

за, казалось, схватывали в одно мгновение десятки мелочей.

— Ну-с, поздравляю с триумфом. Чорт бы всех побрал! Нароботали! Картина достойная, что называется, кисти Айвазовского. Где Вихляев?

Татьяна смотрела на Феню из-за Кряжича и расплыла в ресницах глаза. На Кряжича она взглядывала брезгливо и снисходительно. Феня занервничала, и лицо ее задергалось злой судорогой.

— Вы, товарищ Кряжич, знали об опасности: я вас предупреждала еще позавчера вечером. Это преступно — не принять мер. Я поступила глупо: я должна была сама распорядиться без вашего соизволения.

Кряжич неожиданно засмеялся и схватил ее за руку.

— Знаю, знаю. И чудесно бы сделали. А с Вихляева я шкуру спущу... Он молчал, как сом. Кто же мог предвидеть?

— Вы должны были поверить мне. Почему вы не удостоверились на месте? Не считаясь со мной, вы прячетесь за шкуру Вихляева.

Кряжич смущенно засмеялся и отвернулся от нее.

— Ах, бросьте, товарищ Отдушина. Вихляев — прораб: в первую голову отвечает он. Вы — молоды, у вас еще нет достаточного опыта, и вы можете напрасно погорячиться.

— Я, товарищ Кряжич, — помпрораба, и я отвечаю так же, как Вихляев.

Татьяна, холодная и скупающая, внимательно осматривала осыпи. Она замкнуто и молчаливо думала о чем-то своем и будто совсем не замечала ни Фени, ни Кряжича, и то, что сейчас произошло, будто не имело для нее никакого значения. Глаза ее мечтательно пылились в ресницах, а отяжелевшие губы дразнили пряным наливом. Феня видела, что глаза Кряжича вздрагивали и делались горячими, когда он смотрел на Татьяну.

Рядом стояло несколько рабочих и возбужденно, не слушая друг друга, торопились высказать, что они пережили.

Молодой сезонник, в пыльной холщевой прозодежде, с блуждающими глаза-

ми, тыкал рукою в котлован и радостно орал, захлебываясь:

— Как она пошла чесать... Ну, думаю, крышка мне... Я — наперерез. А она меня по ногам — рраз... Я — кувырком...

Мужик с бородой, на которого налетела Феня, степенно внушал, встряхивая головой:

— А все — по-ученому... инженеры... немцев много... Мы тоже гадили... и без инженеров...

Рабочий с черными усами, в черной масляной кепке, должно быть, машинист с крана, сердито лаял:

— А где эти производственные совещания? Я тысячу раз ставил вопрос... Только одно и было совещание, да и то по пустякам. Я этим чертям сейчас спуска не дам.

Парень с рыжей шерстью на щеках, с всклокоченными волосами, весь мокрый, растерянно, с изумленной улыбкой бродил среди людей и подвывал смешливо:

— Где, думаю, шапка-то моя... Хвать, а она плавает... Во-он она, окаянная... Это — моя шапка-то...

Широкое пространство между перемычками заливалось полноводно и зеркально, и как-то непривычным все стало, плоским и голым.

Кучки сезонников терлись плечами и с возбужденной живостью переговаривались, тоже не слушая друг друга:

— Как она, понимаешь, зашуровела, забутузила... бат-тюшки!.. Все, как мыши, прыснули в разные места... В мат побросали все...

— Куда там, к чорту!.. До чего испужался — ножик выхватил... из косы сделал... брил больно здорово... прямо — наотмашь... А зачем бросил — ответа не дашь. Вот до чего обалдели...

— Да рази тут... ядренцы... Эх!.. Мошь ведь... Всякий струмент... до званья все затопло.

— А я все время веселый был... До чего веселый сделался — сказать не могу...

Феня поглядывала на Татьяну и усмехалась.

«И охота же ей притворяться и играть с Кряжичем. Совсем он ей не интересен. Бесится дробка».

Кряжич дробно смеялся и нервно бежал по ряжу.

— Что я могу сказать? Если я смоюсь куда-нибудь на полюс, за границу, на Марс, я буду за вас спокоен.

Татьяна быстро повернулась к нему.

— Видите ли, товарищ Кряжич. Разница между нами в том, что вы любите только голый процесс строительства, процесс в себе, ради эгоистического самоуслаждения, а Феня живет — понимаете? — живет этим процессом, как реальной боевой задачей революции. Мы строим социализм, товарищ Кряжич.

Кряжич смущенно егзил, смеялся и весь вздрагивал от порывов.

— Не будем спорить, не будем спорить. Я очень хорошо понимаю... Индустриализация, реконструкция хозяйства — это я чувствую и знаю. А вот всеобщая коллективизация, голые многозначные числа... Счет не единицами, а толпами... Это, извините,—квази уна фантазия...

А Феня знала, что этот чудаковатый Кряжич, этот талантливый инженер, близок ей, почти родной. С ним она проработала три года, и эти годы казались ей необыкновенными, и вся ее прежняя жизнь утонула в них без остатка. Этот непоседливый человек, неудержимый и смешной в своих порывах, — неотделим от нее, и разорвать эту связь с ним уже невозможно. Татьяна притворяется и играет с ним, но она переживает то же самое. Надо прекратить эту игру, а то произойдет такой же просос в их устойчивой жизни, как в этой перемычке.

С берега бежали толпы, и в проходах между вагонами вереницами толкались и обгоняли друг друга рабочие, служащие, женщины и ребяташки. И на той и на этой стороне ряжей густой оторочкой прилипали к парапетам пестрые шеренги людей.

Водолаз, раздутый и ослизлый, угрюмо стоял в лодке и покорно бычился в ожидании, когда наденут ему на голову скафандр. Рабочие и комсомольцы одевали его молча и торжественно. Когда привинчивали глазастый скафандр, казалось, что голову водолаза сдернули с позвонков и стали откручивать от плеч. Рабочий крепко привинтил скафандр, шлепнул ладонью по шару, оскалил зубы и пропел, как дьякон: «Благослови, владыка».

Едва переступая ногами от тяжести, неповоротливый и жирный, нечеловечески-жуткий, водолаз спустился по лесенке в воду и исчез в глубине. Взметнулась пузырями и маленьким водоворотом вода. Колесо насоса завертелось комсомольцами, дрябло позванивая клапанами.

— Ну, ясное дело — деформация дна. Показатели и тогда были сомнительны.

Феня повернулась к нему дерзким петушком:

— Если вы, товарищ Кряжич, знали о ненадежности монолитного покрова и предвидели деформацию дна, — как же это расценивать? Я же убеждена, что это — фильтрация за шпунтами. Плохая цементация. Это — наша вина.

Он вспыхнул, глаза озлились и с ненавистью вцепились в Феню. Он побледнел и задышал порывисто.

— Жаль, что не спросили вашего компетентного мнения, товарищ Отдушина. Ваша консультация запоздала.

— Ну, что ж сделаешь, товарищ Кряжич. Имейте это в виду на будущее.

Он фыркнул и быстро отвернулся от нее. А Татьяна только улыбалась и подзадоривала ее глазами.

XIX

С группой инженеров и техников Балева стоял на перемычке у самого края. Кряжич как будто нарочно не замечал Балева. Он с лихорадочной торопливостью вертелся на месте, размахивая руками и весело щebetал:

— Обязательно доставить сюда рефулер. Вихляев, сбегайте и подтолкните эту жирную черепаху. Американцы! перед ними мы готовы рабски распластаться, как идиоты. Очень весело удружили нам своим заморским авторитетом. Очень рад, великолепно, превосходно.

Вихляев смотрел вдаль равнодушными глазами и сказал лениво, с усмешкой, застрявшей в бесцветных волосах:

— Чему же тут радоваться? — И обиженно пожал плечами: — Радости очень мало... Американцы тут не причем. У нас должен быть свой котелок на плечах.

Кряжич крикливо набросился на него.

— Прошу вас, Вихляев, не дискутировать, а немедленно исполнить приказание. Что у вас на плечах — котелок или голова с ушами — меня это не интересует.

— Сейчас я не могу оставить вверенных мне работ, за которые я отвечаю. Если вам угодно, распорядитесь вот здесь, по линии безработного технического персонала. Я приставлен сюда не на побегушки, товарищ Кряжич. (Он побагровел, но говорил спокойно). И прошу меня не оскорблять.

Вихляев отвернулся от него и напер на толпу, встревоженную изумлением.

— Если вам угодно, можете заявить об увольнении.

— Превосходно-с. А пока прошу не вмешиваться в мое дело и не нарушать работы. Туркать и командовать собою я не позволю.

Все смущенно молчали, прятали глаза или переглядывались с затаенной усмешкой и ждали скандала. Вот это — номер! Вихляев, по обыкновению, поднял хвост на спину и не стесняется самого начстра. Без всякого стеснения хлещет по авторитету своего патрона. Вздрагивали бородки, вспышками играли глаза, лоснились скулы от улыбок.

Вихляев вразвалку, расслабленно мотыля головой, пошел по рядам.

Кряжич сначала опешил и растерялся. Он с изумлением оглядывал инженеров, таращил брови на лоб и догнал глазами Вихляева. Кто-то из инженеров несдержанно засмеялся, кто-то возмущенно и высокомерно выкрикнул:

— Ну и фрукт! Извольте работать при таких условиях.

— Да бросьте... неужели не знаете... Вихляев чудак и мизантроп.

Балеев невозмутимо, точно не заметил столкновения Кряжича с Вихляевым, пристально смотрел вниз, на воду, грязную, взбаламученную у стены ряжей, следил за молодежью, которая гнала думпкары со щебнем и песком, на водолаза без скафандра, который мычал что-то с лодки. Все искоса с огоньками в глазах посматривали на начстра и на Кряжича, посмеивались и чувствовали себя неловко. Потом Балеев быстро обернулся к инженерам.

— Вихляев — прекрасный работник... редкий прораб...

Кряжич судорожно вытянулся от гнева, и лицо его напрыжилось кровью. Но вдруг засмеялся про себя и махнул рукою. Потом порывисто сорвался с места и подошел к группе инженеров.

Балеев рассеянно взглянул на него и скрытно улыбнулся, и всем показалось, что улыбка эта была неприязненной.

— Эта авария — не авария Николай Николаевич, а случайный эпизод. Настоящие аварии будут еще впереди.

Кряжич столкнулся с глазами Балеева и побледнел.

— Всякая авария, Викентий Михайлович, тесно связана с судьбою строителя. Биография инженера — это его работа. Я прошу вас при обсуждении вопроса об этой аварии не отделять вопроса обо мне.

— Не беспокойтесь, Николай Николаевич. Вам будет принадлежать первое слово.

Кряжич заволновался еще больше. От бешенства у него даже исказилось лицо, и задрожали губы. Он крикнул пронзительно, точно от боли:

— Моя ответственность — это моя честь, Викентий Михайлович. Вы не помете обойти этого вопроса, не нанося мне личного оскорбления. Я требую вопрос обо мне поставить со всей беспощадностью, иначе я принужден буду уйти со строительства.

Балеев пытливо изучал его взглядом, и усы его шевелились от скрытой усмешки.

— Ваша гордость будет удовлетворена во всех отношениях, Николай Николаевич. Вы можете сами составить себе обвинительный акт, если хотите.

— Я требую строгого и всестороннего обследования и изучения этого события.

— Само собою разумеется. Только, пожалуйста, не волнуйтесь.

— Вот-с. Я удовлетворен.

Засуетились белые пиджаки и рубахи. Все заговорили, не слушая друг друга.

Ряжи дрожали и грохотали от думпкаров, и вереницы парней купались в поту, орали друг на друга, скалили зубы.

Инженеры смотрели на Кряжича, смеялись и кивали на него головами.

Говорили об авариях, свидетелями которых они были в своей жизни, и об авариях за границей, о которых они читали в заграничных технических журналах.

— Викентий Михайлович прав, — бархатно и внушительно говорил Стрижевский, заместитель по комбинатам: — Чего волнуется Кряжич? Если бы даже прорвало в ледоход эту перемычку, так и тогда не было бы страшно. Какой-то жалкий просос... Что за недотога!

— Почему же? Сегодня — одно; завтра — другое. Представьте, что ряд таких неудач... пусть ряд мелких неурядиц... все это, сложенное вместе, может вызвать катастрофу. Я понимаю Кряжича.

Это говорил молодой, постоянно краснеющий инженер в косоворотке, в татарской тюбетейке.

— Я с Кряжичем работаю год и знаю его хорошо: это — художник своего дела.

Главинж Шлиппе чесал пальцами свою апостольскую бороду и играл бровями: то они взлетали изумленно, то смешливо-строго, то сатирически-жутко прислушивались к двум молодым инженерам, которые спорили горячо и ядовито, пощипывая друг друга пальцами за рукава, засученные по локоть.

— Но ведь наша криволинейная плотина будет работать собственным весом.

— Позвольте, я это очень хорошо знаю. Я говорю о другом: я говорю об известном правиле Леви о взвешивающем давлении воды. Если сжимающее давление на верховой грани больше гидростатического, то...

— Да позвольте, что вы мне говорите о давно известных вещах. Ведь в американской практике с правилом Леви совсем не считаются.

А Стрижевский с барской обособленностью, снимая и надевая пенсне, рассказывал:

— Авария плотины Сен-Френсес в Калифорнии произошла совершенно неожиданно. Исследования специальной комиссии за несколько часов до катастрофы не обнаружили никаких зловещих признаков. Фильтрация соединительных швов была самой обычной: вода была свежая, прозрачная, без малейшего

отмучивания. А катастрофа все-таки произошла — грандиозная, потрясающая... до четырехсот человеческих жертв. Колоссальные убытки. В одно мгновение снесено два-три года неустанного труда.

Инженер с хищным носом и юмористическими глазами почтительно и грустно врезался в рассказ Стрижевского.

— Ах, вы же прекрасно знаете, что Кряжич не сторонник рядовой деловитости: он — революционер. Он — за мировые рекорды и грандиозные аттракционы.

Балеев стоял невозмутимо и зорко изучал грязное озеро внутри перемычки в мраморном кружеве пены, которая медленно и плавно кружилась и меняла запутанные рисунки.

Он решал про себя какую-то трудную задачу, но зоркими всплесками глаз прислушивался к инженерам, к Кряжичу, к Стрижевскому.

Татьяна подошла к Кряжичу, который махал рукою рабочим водолазной лодки.

— Товарищ Кряжич, я требую, чтобы вы сейчас же извинились перед Вихляевым. Вы поступили с ним возмутительно, не по-товарищески.

Кряжич вздрогнул, не понимая, что говорит ему Татьяна, но почтительно отступил от нее, освобождая место.

— Я вам мешаю? Пожалуйста.

Татьяна сблелнела и изо всех сил боролась, чтобы выдержать тон. Этот аристократический хам смотрит на нее, как на ничтожество, как на плебейку, место которой быть его прислугой. Для него она — только женщина, годная для постели и деторождения. Посмотрим чья возьмет. Сейчас самый подходящий случай при всех доказать свою силу и весомость.

— Вы не ответили мне, товарищ Кряжич.

— Ах, да. Это — насчет Вихляева?

И улыбнулся ей с вежливостью взбешенного человека.

— Вы, вероятно, хотите, чтобы я сама поговорила с Вихляевым? Я иду к вам на помощь, чтобы охранить ваше достоинство.

— Благодарю вас — я не нуждаюсь в вашей помощи. С Вихляевым я справлюсь сам.

Татьяна презрительно прикрыла глаза длинными ресницами.

Потом быстро отвернулась от него и пошла по ряжам в сторону Вихляева.

Неожиданно она лицом к лицу встретилась с Балеевым. Он с любопытством смотрел на нее и усмехался.

— Зайдите как-нибудь ко мне в управление, товарищ Братцева. Мне нужно задать вам несколько вопросов по поводу нашей исследовательской работы.

Татьяна покраснела и смутилась.

— Моя исследовательская работа идет бессистемно, Викентий Михайлович.

— Почему?

— Потому, что слаба система в самой организации труда.

— Вот об этом-то мы с вами и поговорим.

И он пошел от нее широкими шагами.

Потом вдруг остановился и стал беспокойно искать кого-то глазами на перемышке среди рабочих и комсомольцев.

— А где та девица? Та, которая была у телефона?

Ему не ответили, и все стали всматриваться в хлопотно рабочих на перемышке. Феню так они и не нашли.

Инженеры шли вслед за Балеевым в некотором отдалении и лукаво перемигивались. Стрижевский бархатно, с комической серьезностью вздохнул.

— Красота женщины даже Юпитера вынуждает превращаться в быка.

— Да-с, а боги в иные дни превращались в шутов и дворников.

Вихляева не было: он исчез внезапно. Татьяна искала его глазами в вереницах рабочих, обляпанных бетоном, и в толпах людей у парапетов.

«Вот чудак — не сбежал ли он на берег? Где же Феона?»

Исчезла и Феня. На ряжах уже стало спокойно и скучно. Где-то далеко подземно бухали «сандерсоны». Где-то рядом пронзительно свистел сжатый воздух в пневматической трубе. Куда же делась Феона, и где этот чудак Вихляев? Оба они так слились с своей перемышкой, что приняли ее защитную окраску. Может быть, они даже где-нибудь здесь, рядом, среди вагонов и кранов, а она не замечает их. Все-таки они, Татьяна и Феня, очень различны. Феня как-то совсем не думает о себе: она

живет, как птица. Она даже не знает, есть ли у нее какие-нибудь недостатки или дары, способна ли она к борьбе или беспомощна, есть ли у ней желание утвердить себя среди людей, как силу, или она лишена даже простого самолюбия. Она ни о чем не задумывается и совершенно не замечает себя. Она живет как-то удивительно прозрачно. Дома она никогда не говорит лично о себе, и Татьяна до сих пор не знает, какое у ней прошлое, какие личные вопросы ее беспокоят, что ей нужно от жизни. Она живет только с другими людьми, и ее настроения — только настроения толпы, и мысли ее и слова — чужие. Она — точно губка, которая жадно впитывает окружающую среду. Когда строили камнедробильные заводы, и она работала там техником, ее ощущения только питались порями, силосами, бункерами, цепными грохотами Росса. Она долго могла говорить о гранулометрическом составе инертных материалов, и говорила, как о чем-то близком, душевном, родном, точно это составляло всю суть ее жизни. Когда ходила на партсобрания, на заседания бюро парткома, на комсомольский актив — об этом говорила, как о любви, которая захватила ее всю без остатка: глаза ее, готовые на все, возбужденно кричали, и все круглое лицо ее пело, вихрилось множеством отражений чужих мыслей.

В спорах с нею Татьяна издевалась над ней, обзывала дурой, чужедумкой, высокомерно отмахивалась от нее, отчужденно насмешничала, а Феня даже не замечала этого и была с ней, как всегда, тепла, дружна и прозрачна.

— Надеюсь, что вы не сердитесь на меня, свирепая женщина?

Татьяна дрогнула от внезапного голоса Кряжича, но мгновенно насторожилась. Она по привычке напряглась для борьбы — не повернулась к нему, стояла неподвижно, отчужденно, с враждебным холодом в фигуре. Только голова ее, с маленькими чуткими ушами, обостренно прислушивалась к Кряжичу... Вся она стала недоступно-колючей, надежно забронированной, гордой, знающей себе цену.

— Я не настолько слаба, товарищ Кряжич, чтобы сердиться, а вы не на-

столько сильны, чтобы нанести мне обиду.

— Виват! сегодня, очевидно, день дерзости и мятежей. Против меня — восстание попанной правды. С одной стороны — бунт перемычки, с другой — Вихляев и вы. До сих пор я не замечал за вами таких ошеломительных способностей к героическим взлетам.

— А вы разве способны чувствовать людей, товарищ Кряжич?

— Жестокость — это ваше свойство, Татьяна Ивановна.

— Какая проникновенности! Фальшиво, Николай Николаевич! Вот вы сказали: «правда»... но и это слово звучит у вас фальшиво.

— Должен вам заметить, Татьяна Ивановна, что так называемая правда — это скверный материал. Всякая правда нуждается в тщательной обработке. Помоемо, правду надо преобразить, изготовить, облагородить, чтобы она имела ценность. Иначе это — убийственный хаос, пожирающий личность. Человеческая правда — это высокая культура и творчество. Дичь, невежество, чванство, хамство — вот что разрушает жизнь. Человеческая индивидуальность — выше всего. Иначе — рабство и смерть.

— Это — философия белоручки, товарищ Кряжич, который привык пользоваться плодами чужих сил. Правда, это — черная, грязная работа масс, это — будни, это — напряженный труд миллионов. Вы по-барски определяете правду. Вот почему вы отрицаете самую суть социализма.

Кряжич разгорячился и раздраженно кричал в упор в лицо Татьяне.

— Правда, это — чистейший, отшлифованный кристалл. Это — высший продукт человеческого мозга: наука, искусство, созидание, высшие цели, идеалы и прочее. О чем вы говорите? Если мне тычут в нос грязными руками и хвалятся пролетарским происхождением, как масонским знаком, я вправе протестовать и защищаться. Чтобы говорить о правде, нужно прежде всего удалить грязь и мерзость с своего тела и мыслей. Если социализм будет построен на такой грязи, на этом нечистоплотном чванстве, я такой социализм отвергаю.

Татьяна холодно и насмешливо оглядела его фигуру, поймала ресницами его летающие руки с тонкими пальцами, и лицо ее вдруг стало слепым от скуки.

— Буржуазия слишком много говорит о культуре, о цивилизации, об очень возвышенной правде, — говорит именно вашими словами, однако нет таких мерзостей, подлостей, лжи, самого отвратительного чванства и зверства, которые бы не выдавались за благородную правду. Я не верю вашей правде, товарищ Кряжич, и вам не верю.

Кряжич смутился и как-то некстати засмеялся визгливой фистулой. Татьяна посматривала на него с пытливым отчуждением и лукавой игрой в глазах.

Чтобы не выдать своей радости, Татьяна отвернулась от него и пошла по перемычке, к берегу.

— Послушайте... Это вы — серьезно?

Она услышала за собою торопливые, нервные, тревожные шаги Кряжича, но не обернулась.

Она настороженно прислушивалась к нему, и в глазах ее веселые вспышки переплетались с остренькой злостью.

Где же Феона? Куда она запропастилась? Надо рассказать ей об этом. Она все воспринимает целомудренно и не увидит в Татьяне никакой скверны. Нет, лучше не надо — лучше закрепить это в себе.

И вдруг внезапно она увидела Феню. Как всегда, Феня незаметно попадалась на глаза, как незаметно исчезала. Она стояла в толпе комсомольцев рядом с Кольчей, и оживленно рассказывала им что-то. Так и казалось, что она вся трепетала от близости этих горячих тел, как птица, у которой дрожат и крылышки и каждое перышко.

«Дурочка, как мало ей надо!»

Тут же в толпе стоял и Ватагин. Вместе с этой толпой ребят он проводил всю работу по засыпке плотины. Работа была сделана быстро. Теперь нужно было только забить поглубже шпунты, залить их цементом и спокойно отрефулировать отсыпи. Членистые трубы хвоста скорпиона, на которых стояли несколько ребят и рабочих, тащил за собою катер. Вода хлестала за его кормой и бурно неслась к цилиндрам понтонов.

Не остывший еще от утомления, Кольча раздувал ноздри и смеялся.

— Вот поди ж ты... Везет же нам, Феонка. И в этом прорыве мы ударили, как на пожаре. Объявляем Феону передовой ударницей.

И он затормозил ее кудри.

— Заткнись, голубок, и уходи сторонкой. Не хвались, а то засмеют тебя до смерти. Эту работу дурак выполнит. Котлован-то все-таки затопили.

— Ты не разводи мистики, а лучше скажи, когда вылакаете эту лужицу.

— Два электронасоса — на дне. Надо извлечь их или установить новые. Неделя возни — не меньше.

— Ну, это ты антимионию разводишь, Феонка... Это — саморазоружение. Два-три дня.

— Полакай сам — может быть, что-нибудь и выйдет. При обычных условиях тут нужно полмесяца.

— Поди ж ты. А на что же мы? Нажмем, ребята? Мы же — слесаря. Установим два лишних насоса. Ограбим материальный склад и снимем с другим объектов.

Ребята, памятые работой, замызганные пылью и грязью, в мокрых рубашках, прилипающих к телу, толпились вокруг Кольчи и Фени. Обугленные их лица были обмусолены потом. Некоторым не стоялось на месте — цапались друг с другом и не прочь были повозиться в борьбе. Некоторые подбегали к барьеру и смотрели на грязное солнечное озеро. У деррика, который замертво стоял рядом, трос со стрелы спускался в воду, как леса огромной удочки. На ближайшей перемычке густым бордюром стояли люди у перил и смотрели на воду. Уже купались мальчишки в озере и с увлечением плавали верхом на бревнах.

Один из парней все время улыбался, сдувал искорки капель с носа и смотрел, не отрываясь, на озеро. Потом вдруг засмеялся в восторге.

— Эх, чорт!.. Покупаться бы, ребята... Понырять охота.

На него посмотрели все с недоумением. Кое-кто сконфузился за его откровенность и с опаской косились на Мирона. Подросток, поджарый, длиннокостый, с лицом девочки, скраснел и обиделся:

— Дубина! чему тут радоваться... плакать надо, а ты ржешь, как паровоз.

Засмеялись.

— А ну, заплачь... зарыдай... подойди к заборчику и покапай...

Литкружковец Сенька Громов, поэт, — цыган, отставший от табора, стоя один, поодаль от всех, очарованно смотрел на залитый котлован и никак не мог оторваться.

Кольча подмигнул в его сторону, и глаза его стали очень теплыми.

— Эй, ты... Сенька!.. Чего ты там?.. поэму что ли сочинишь?

Сенька рассеянно обернулся, вздохнул и улыбнулся сконфуженно.

— Иди-ка сюда... потолкуем насчет другой поэмы... Тут Феонка спецовскую канитель разводит: давай-ка почистим ее вредительскую идеологию.

Феня сердито, со смехом в глазах, повернула его за плечи и шлепнула ладонью по спине.

— Пошел вон отсюда, свинья, он еще издевается.

Кольча оглядел всех с гримасой притворной боли.

— Ну-ка, ребятки, пошли... Гонят нас по шеем... Сегодня на демонстрации мы в полном составе — к трибуне. Не забывай! Ахнем там дружно...

— Демонстрация сегодня отменяется...

Это — голос Мирона. Кольча вытаращил глаза.

— Это почему?

— Потому, что слишком много волнений — ты первый не осилишь. Валяйте по цехам.

Кольча свистнул разгоряченно:

— Ловко же сегодня окачивают водой... оказия!..

XX

Мирон стоял рядом с Феней и смотрел на нее с пристальным любопытством. Она жила сейчас тем событием, которое еще гремело всюду и оглушило ее до изнеможения. На него она смотрела, как слепая. Она говорила с Кольчей, смеялась, играла с ним, говорила с Миронам по телефону, распоряжалась здесь, на перемычке, и в ее глазах и голосе не было никакой растерянности и подавленности. Было одно — полное отрешение от себя: был просос в перемычке, река сокрушительно ворвалась в кратер котлована, вода проглотила кот-

лован и теперь зеркально и самодовольно кружилась сорным, грязным омутом. Ее, Феню разбудила тревога, и себя, обычную, она оставила в постели, во вчерашнем дне, который погас навсегда. Чувствовала: она — только живая частичка вот этих сооружений, она — пылинка в этом вихре катастрофы. Мгновенно пронеслась отдельными обрывками земля и граниты под ногами. Струились рельсы в стальном блеске, в чешуе на спинках наката, наваливались на нее голубые бычки с ажурными опалубок на вершинах, котлован в дымной глубине, пустынной и жуткой от бестружья. Вихляв с крылатыми полами макинтоша, покорный и невозмутимый в ожидании неизбежного. Ураганы воды, грохот водопада. Это была только очередная работа — правда, сумбурная, суматошная, как на пожаре, где все смешалось в безалаберной свалке, но и в эти минуты она, как обычно, совала нас во все уголки и брала на учет всякие мелочи. Это была работа, которую она выполняла, как привычное плановое задание. Сейчас она как будто даже скучает: дело сделано раньше срока, и вот некуда девать свободное время. Но Мирон видел, что она — необычна, она похожа на птицу, у которой буря помяла перья. Лицо ее осунулось, глаза — угарные, плечи опустились, ослабли, и вся она поблекла, повяла, и казалось — вот-вот упадет на рельсы.

— Не падай духом, Феня. Просос прососом — важно то, что ты имела мужество бороться с ним: что не обуздала — наплевать, но ты хотела его обуздать, и в этом — твоя победа.

— Мирон, может быть, ты немножко помолчал бы и пошел по своим делам?

Она с усилием подняла на него глаза, они задрожали слезной улыбкой. Он шагнул к ней и молча погладил ее по плечу.

Она отвернулась и как будто не заметила его руки. Но под ладонью он ощутил, как плечи ее вздрагивали в легкой судороге, точно по телу пробегал ток.

— Вот что... оставь-ка меня на минутку, Мирон. Я занимаюсь поэзией. Лирика требует уединения.

— Не нужно секретничать с собой, Феня. Слезы тоже нужно заработать.

— Слушай, Мирон, разреши мне сказать тебе очень серьезно и вовремя: откажись ты немножко к чорту.

Но посмотрела на него из-за плеча одними слезами. Ее лицо и смеялось и плакало. По щеке струилась мокрая дорожка, и капля застряла на подбородке. От улыбки подбородок прошивался мягкими вдавливаниями... Внезапно она положила голову на его предплечье и заплакала, задыхаясь и всхлипывая перебьчью.

— Мирон, ты знаешь... ведь это же ужасно... Такого несчастья я не переживала, кажется, никогда в жизни... Это — хуже убийства...

— Ты находишь, что это — хуже убийства?

— Я не убивала, но знаю, как убивают.

— Я тоже очень хорошо знаю, как убивают.

Она чутко откачнулась от него, и в мгновенном пристальном взгляде друг друга они увидели, как метнулось в их зрачках давно забытое смятение.

Около них стоял Кольча и яростно сбивал кепкой пыль со штанов. Он украдкой следил за ними, и никак не мог побороть судороги на щеках. Мирон впервые отметил: у человека иногда могут кипеть глаза.

— Вот, чорт-те задери, ерунда какая! Иду и чувствую: почему — тяжело шагать, оказывается — пыль на штанах.

— А говорят, что пыль — легкий материал. Выходит — чистая ерунда.

— Ясно — ерунда. Ведь — пыль, а что делает с человеком.

Феня с изумленным любопытством смотрела на Кольчу и смеялась.

Татьяна потянула за рукав Мирона и отвела его в сторону.

— Мирон Васильевич, Балеев соизволил пригласить меня к себе на беседу. Почему сейчас? А вы и до этого не дошли. Вы лишены не только чуткости, но и простой осторожности к молодежи. Вы проявляете только грубую силу.

Мирон ничего не ответил, но глаза их в мгновенной вспышке поняли друг друга. Он отвернулся и быстро пошел по рядам.

Неожиданно от столкнулся с Прокопом и Никитой. Мужик метался, мычал

на самом краю перемычки и не знал, что делать. Прокоп теребил его за прозоднежду и убеждал с веселым негодованием:

— Да брось ты, борода! Какой же ты есть Никита, ежели бросаешь инструмент и задаешь лататы. Теперь—как. Простись с ним до водоотлива.

— Да как же это так?.. беда-то какая!.. Ведь—лом... Не какая-нибудь бросовая вещь... Вот он... тут-ка... в этом самом месте... ну, какая-нибудь сажень... Мырнуть — и взять его...

— Да голова ты лохматая!.. Где ты его найдешь?.. Его песком занесло. А потом ведь поднять его надо... не перышко... И думать перестань...

— Эх, ты... голова липовая!.. Как ты рассуждаешь глупо!.. Ты вещь не ценишь... А что мне теперь-ка без лома делать?.. Скажут, куда задевал?..

И он начал скидать рубаху. Прокоп уже беспокойно и испуганно тряс его за плечо.

— Да ты что, борода, с ума спятил?.. Куда ты лезешь?

— Как это — куда? Мырну вот — и вытащу... Ты меня не трог... Я в беде—зверь... не трог меня.

Прокоп оглядывал мужика и крутил голову от хохота. Ключицы и ребра у Никиты выпирали из блеклой кожи, а лопатки торчмя мызгали, угластые, ненужные, раздирая кожу, пятнистую от заживших чирьев.

Мирон подошел к ним, а Никита в опаске взглянул на него нелюдимыми глазами и засеменил к краю ряжей. Он на мгновение забычился в нерешительности, потом быстро перекрестился.

— Дядя!—смешливо крикнул Прокоп,—ты хоть лапти-то сними.

Мужик запрыгал по лесенке и, дрягнув лаптями, брякнулся в воду. В брызгах и всплеске воды он потонул, как мешок с песком. Заволновались круги, уплывая вдаль.

Подбежали Кольча и Феня, и на их лицах Мирон увидел беспричинную радость: в них бурлила молодость — и только.

— В чем дело Мирон?

Он не ответил и отвернулся от нее к Прокопу. А Прокоп уже не смеялся: он беспокойно смотрел на то место, ку-

да кувырнулся мужик. Рубаха его мешком лежала у его ног.

— Утонет, чорт лохматый...

Он сдернул кепку и рассеянно бросил ее на рубаху мужика и так же, не отрывая глаз от воды, рванул с себя парусинную рубаху. Мирон тоже смотрел на успокоенный омут и ждал. Ему хотелось броситься в этот омут за мужиком, вытащить его за бороду и отшлепать на ряжах с злым наслаждением. Нужно быть природным дураком, чтобы нырять за ломом, которого все равно не поднять.

Неожиданно голова мужика вынырнула из воды не в том месте, где ждали его, а левее—перед Кольчей и Феней. Вода заливала лицо, и глаза выливались вместе с водою. Он задыхался, захлебывался, но голос его был бодр и заботлив.

— Кабыть, нащупал... и камень наш... в сторонке этак... лом-то должен лежать наискосок к ряжу... я еще прислонил его к скале... к этому пупку, что взорвать должны...

Мирон сердито рявкнул на него:

— Сейчас же вылезай из воды!.. За волосы вытащу... Слышишь?

Но мужик вдохнул воздух и опять скрылся в глубине. Всплеска уже не было, и поверхность воды хлюпнула и разошлась зеркальным кругом.

На лице Фени не отражалось никакой тревоги: она только с жадным любопытством смотрела на то место, где скрылся Никита.

Прокоп опять крутил головой и разодрал рот неудержимым смехом.

— Свиный мужичишка, даром что лапотник... чеверелый, одышкой страдает, а ударничал вдрызг... Сядет на минутку, хватит воздуха — и опять копошится... Норовистый, прохвост. А утонет, как пить дать. Неизбежно утонет... сердце слабое...

Мужик не появлялся. Прокоп занервничал и озлился.

— Мерзавец! только хлопот наделал, лапоть бородастый... Остается один исход—прыгать и тащить его за волосы... А Матвей утек... кишка не выдюжила...

— То-есть, как это утек, сорока-барыня?.. Все как есть на месте... Работа только задарма пропала...

Матвей строго оглядывал Прокопа и, заложив за спину руки, стоял позади с усталым и измятым лицом.

— А Никита чего дурака валяет?.. Бригадир, а рабочая сила в воде тонет...

— Он, Микита, мужик заботливый... хозяйственный... Ну, и поперешный — норов заел его, сорока-барыня... Вы-вынырнет — он легкий, его и вода не берет...

Неожиданно Кольча перескочил через перила и юрко нырнул в воду. Феня испуганно крикнула и рванулась на край ряжа. Мирон схватил ее за руку.

— И ты туда же?

Она вырвала руку и засмеялась.

— Что с тобой, Мирон? Ты решил, что я тоже брошусь в воду? Что же... Я это сделала бы... Смотри, какой Кольча молодец!

Кольча на мгновение появился над водой, забрал воздух и опять скрылся. Никита не показывался. Прокоп, строгий и сосредоточенный, скинул опорки и деловито сошел по трапу к самой воде, подумал о чем-то, подпрыгнул на месте и грохнулся в воду.

Все молчали. Матвей сел на ряж и обхватил колени руками. Потом опять встал и поперхнулся. Что-то похожее на стон охнуло у него внутри. И от этого стога Мирон почувствовал себя нехорошо: не то стыд за себя, не то злоба на этот нелепый случай. Броситься в воду — показать Фене, что и он способен на подвиг? К чему такая запоздалая романтика? Нелепый лом, нелестный мужичонка. Зачем ему этот лом? У этих людей деревни — не общее, а мелочи. Предмет обихода покрывает цель. Матвей спасать Никиту не полезет. Но ведь он, Мирон, тоже не полез. Ну, а полез бы, если бы никого не было? И он ответил себе решительно: обязательно полез бы. Но прежде всего он оттащил бы этого Никиту за шиворот... А почему он этого не сделал сейчас? Феня не обращает на него внимания: она, вероятно, считает его неспособным на такую смелость и, вероятно, не уважает его: в ее глазах он просто серый множественный человек.

Потонул Никита или нет? Он страдает одышкой и может умереть под водой от паралича сердца. Кольча тоже не показывается. Прокоп нырял дельфином, фыркая и отдуваясь.

Показалась голова, бессильно забарахтались руки. Потом сразу же потонули.

Матвей встал на четвереньки и замычал протягивая руку к воде.

— Он!.. Микита!.. Эх, сорока-барыня!..

Вода забурлила в том месте, где показалась голова мужика: Кольча держал одной рукой тело Никиты, а другой загребал сильными взмахами. Голова мужика упала на бок, и он жадно хватал воздух открытым ртом.

— Тянет вниз... помогай, ребята... лапти мешают...

Мирон, подчиняясь крику Кольчи, схватил обломок доски и бросил ее в воду. Но Прокоп вынырнул рядом и подхватил Никиту с другого бока. Доска уплыла в сторону, колыхаясь на волнах. Мирон сбежал по лестнице и протянул им руку.

— Матвей, иди сюда!..

Матвей уже был опять спокоен и шурился от солнечного блеска воды.

Когда положили Никиту на настилы досок, он, трупно-синий, бессмысленно ворочал слепыми глазами и хватал воздух широко открытым ртом. Кольча и Прокоп, изуродованные водою, дышали запаленно и почему-то скалили зубы во встречных взглядах. На Никиту они не смотрели.

Матвей на коленях равнодушно и сварливо упрекал его:

— Вот тебе и лом... арап ты!.. Не лом, а дуралом ты, сорока-барыня.

— Он, лом-то... долгон там быть... Ущупал даже... снова... А она, вода-то, тащит... Так и... никакой спорыньи... Сердце у меня зашло... закатилось, и все померкло...

Он омертвел, и глаза потухали. Тело безжизненно, как труп, лежало на настилах, и грязные ручки воды игриво уползали в разные стороны, просачиваясь в щели.

Феня села на корточки и, бледная, со страхом в глазах, приложила руку к груди мужика. Тело было синее, в каплях.

— Он же умер... Понимаете? Сердце не бьется.

— Зашелся он... — спокойно и безразлично профальцетил Матвей. — У него это и дома случалось... На косьбе, бы-

вало, так же вот... хизнет... Лежит и не дрягается... Отудобит... Полежит, по-лежит — и отудобит...

— Да вы послушайте.. Не бьется...

Феня уже кричала настойчиво и испуганно. Она щупала рукою грудь в разных местах и прикладывала ухо к ребрам Никиты.

— Не дышит, я вас уверяю... Послушайте... и сердце не бьется.

— Отудобит... чего зря толковать, сорока-барыня...

Прокоп тоже стал на корточки, и его шершавая и мокрая голова упала на грудь Никиты. Лицо строго прислушивалось и ловило жизнь где-то в глубине тела.

Он молча поднялся, конфузливо оглядел всех и виновато улыбнулся.

— А верно... ничего нет... Полный и

абсолютный застой... Ни в какой мере не чирикает...

Мирон тоже приложил руку к груди Никиты. Тело было вязко, и никакого движения сердца и легких под рукою он не почувствовал. Казалось, что все тело оглохло и застыло, как студень.

Матвей поелозил рукою по телу Никиты, пошлепал по груди и заботливо с деловитой строгостью крикнул в ухо мужику:

— Микита! Эй, мужик!.. Ты чего это, сорока-барыня?.. Жив что ли?

Тело лежало мертво. Глаза были полузакрыты и залиты водой.

— Отудобит, сорока-барыня, не впервой... это у него—в прахтике...

— Я позвоню сейчас в больницу, чтобы прислали карету скорой помощи.

И Мирон быстро пошел к берегу.

(Продолжение следует)

О'кей

Американский роман

БОР. ПИЛЬНЯК

1.

4 июля 1776 года, в день об'явления независимости, в день возникновения Соединенных Штатов, в Филадельфии, американская женщина Бэтси Росс подарила Джорджу Вашингтону, первому американскому президенту, первое американское знамя. Это было полтора года тому назад. 7 ноября 1931 года, в годовщину Октябрьской Революции, в Детройте, американская женщина Бэтси Росс, праправнучка первой Бэтси Росс, передала коммунистическое красное знамя детройтской организации коммунистической партии.

2.

За последние двадцать лет впервые в январе 1931 года я давал полуобязательство верить в бога и не быть бандитом, равно как и анархистом. Происходило это обстоятельство в Германии, в Берлине, в американском консульстве. Мне предложено было прочитать параграфы, написанные по-русски безграмотным языком, точнейшим переводом с английского, где сослагательным наклонением значилось:

— если вы не веруете в бога —

— если вы едете с намерением заняться бандитизмом —

— если вы едете с намерением убивать представителей правительства и дипломатов дружественных держав —

— если вы едете нарушать законы —

Я попросил эту скрижаль на память. Мне отказали. Когда я прочитал эту картонную скрижаль, консульская лэди, проникновенно сощуриив глаза, сказала:

— Если есть пункты в этом билле, вы

должны предупредить заранее... Вы прочитали внимательно? Если есть пункты, относящиеся к вам...

Консул, оставшись со мной с глазу на глаз, повторил вопрос:

— Вы прочитали пункты?

— Да, — ответил я.

— Есть пункты, относящиеся к вам? — спросил консул.

Когда люди теряются, они разводят околесицу: я собрался, было, учинить исторический экскурс в американское бытие о том, что американское население-де действительно слагалось из верующих бандитов, и ужели действительно-де и до сих пор много в Америке бандитов, и так это нормально, что бандиты чистосердечно, подобно верующим в бога, признаются в своих намерениях, как явствует из билла?..

— Но вы же большевик! — сказал консул.

Тогда я протянул вперед мой красный паспорт, замолчав. Консул и я внимательно и молчаливо посмотрели на паспорт, оставив не вырешенной словами дилемму красного паспорта.

— Вы имеете доллары? — спросил консул.

— Да, — ответил я.

Я решил, что в визе мне отказано. Но визу мне дали, предположив, должно быть, что в бога я верую, равно как и не бандитствую, и обязав меня не бандитствовать и верить. Иного основания в выдаче мне визы представить невозможно. Став при получении визы экстренно верующим, я впервые осознал что такое гипокритство, мысли мои опустив в раздумье о веровании и о бандитах.

Консул, передавая паспорт лэди для дальнейших формальностей, сказал:

— О-кэй.

Если бы я знал, что такое значит «о-кэй», я, конечно б, повторил его консулу в эхо. И пусть будет здесь же дано объяснение этого слова. В начале девятнадцатого века президентами в Соединенных Штатах предпочтительно бывали генералы, люди военные и ненаучные. И был президентом генерал Андроу Джэксон. Есть на английском языке два слова: «all correct», что значит — все правильно, совершенно верно. Президенту Джэксону приносили на подпись законы. Он визировал их двумя буквами: «о. к.», полагая по грамотности своей на слух, что он пишет первоначальные буквы слов «all correct», потому что «all correct» на слух произносится «олл коррект»: эти ж две буквы — о. к. — называются по-английски «о-кэй». Так и пошло по президентско-генеральской безграмотности это «о-кэй», распространенное и узаконенное в Америке, как «ол-райт» в Англии и «маманди» в Китае. И больше, чем «олл-райт». Разорился американец на бирже — «о-кэй». Расшиб американец автомобиль — «о-кэй». Свернули американцу скулу в футболе — «о-кэй». Ограбили бандиты — «о-кэй». Президенты теперь ставят «о-кэй» на законах из солидарности предшественному невежеству. И я говаривал «о-кэй», чтобы ничему не удивляться.

3.

Некогда пионеры вслед Колумбуплыли до Америки месяцами.

Пароход «Бремен» ныне идет от Шербурга до Нью-Йорка четверо с половиной суток. Описание этих океанских левиафанов, данное Иваном Буниным в повести «Господин из Сан-Франциско» и казавшееся несколько лет тому назад классическим, ныне устарело почти как же, как стимботы. Сравнить с уездным городом пароходы типа «Бремена» нельзя, — это город уже губернский. Партер московского Большого театра меньше салона первого класса. Стамбульская Айя-София построена с меньшей роскошью, чем «Бремен». И прочее.

На пароходе каждодневно выходит газета, и ежесекундно радио американской

биржи с Уолл-стрита — «тикер» — отмечает на бумажной ленточке температуру долларов капиталистических жульничеств.

Пароходы построены для пассажиров.

Советский пассажир есть человек особенный, и о нем особо.

Рядовому ж пассажиру первых классов полагалось пять раз на дню есть различные бананы, мяса, варенья, печенья, сыры, паштеты молочного, ракового, рыбьего, растительного и даже минерального происхождения. Полагалось по ассортименту пить коньяки, вина, ликеры и виски всяких невозможных комбинаций, называемых коктейлями. Полагалось в гимнастическом зале болтаться от получаса до сорока минут на электрической бабе для расстрясения жира и мчать на подвешенном к потолку велосипеде для аппетита. Полагалось бегать по палубам, отдыхать на шезлонгах и фотографировать друг друга туда и сюда. Полагалось дважды в день брать ванны и менять одежду. После завтрака в два часа смотреть картину. После чая в половине шестого играть на скачках, где скачут деревянные лошадки по воле числа очков, брошенных очередной лэди, при чем совершенно понятно, что деревянные лошадки бесчувственны в силу своей деревянности и эту свою деревянную не то лошадиность, не то бесчувственность передают и тотализаторщикам, жертвующим и выигрывающим доллары.

После обеда, к девяти часам и за полночь, полагалось баловать (от слова «бал») фокстроттами и тем количеством алкоголя, когда сердца размягчаются подобно ногам, сбрасываются препоны традиций и полов, и баловство (от слова «бал») заканчивается уже в полупригашенных переулочках кают, когда в мужском коридоре проюрокнет вдруг женский халатик, и взвизгнет за перегородкой шопот, когда на женском коридоре предательски вдруг заскрипят ночные туфли джентельмена, для осторожности расставившего ноги на манер опоенной лошади.

Все это полагалось под величие океана и под белую ленточку радио-морзе, ежеминутно сообщавшую долларовое тепло, благородство жульничества, а также каблогаммы для сердечно-едущих.

Утра на пароходе туги, как океанские туманы, которые рвет пароход. Трубаachi реют своими трубами и коридорами кают. Но пассажиры не идут к брекфесту, требуя к себе в каюту орандж-джус — апельсиновый сок — иль грэйп-фрут, фрукт, который возник всего несколько лет тому назад, придуманный гениальным американским ботаником Бербанком, помесь лимона и апельсина. Бербанк, к слову сказать, создавший этот фрукт, который сейчас ест три четверти земного шара, имел неосторожность молвить однажды, что он не верует в бога, и умер, затравленный американскими попами, как писалось в газетах.

Балы ж бывают различны (в официальной своей части), — обязательно бывает баварский вечер, когда все вооружены сосисками и кружками с пивом, когда на головах у всех надеты бумажные шляпы, пустые пространства заполнены воздушными пузырями, серпантином, в ртах у всех, кроме сигар, воткнуты свистульки, и балующие задают кошачьи концерты на мотив: «О, майн либхен Лизабетт, Лизабетт!» Оркестр тогда переодет в баварцев. На пьянстве гайдельбергских студентов шутовские бумажные шляпы сменяются шутовскими студенческими — корпорантскими, буршскими — каскетками.

И обязательно бывает так называемый американский вечер. Это в ночь перед Америкой, когда американцы вспоминают, что на родине у них «прохибишен», то-есть сухой закон, и налегают на легальные алкоголи со всем американским размахом. Размах, действительно, получается грандиозный. Пьют грандиозно не только в салонах, но на всех лестницах и палубах, залезая для поэзии иной раз под вельботы. Пьют, не разбираясь ни полом, ни возрастом. Каютные дела выползает тогда не только на палубы, но и в салоны, в каютных переулках останавливая время в вечность бутылкой виски в рот из горлышка. С российским пьянством этот американский размах во всепалубном масштабе сравнить возможно разве лишь в ломовом порядке. Куда русским!

Советскому гражданину и пассажиру: — прямо надо сказать — все это ка-

жется свинством, в независимости от масштабов. Советский человек, оставивший за собой трудное, стальное величие его страны (а действительно, за пределами СССР, сейчас же за польским «кордоном», — необыкновенно, величественно начинает гореть звезда СССР, когда быть гражданином СССР — величественно и гордо!), советский человек понимает, конечно, что тикер, фактический хозяин корабля и людей на корабле, — понятен, к сожалению, немногим, — что нет такого американца, который мог бы с'есть все то, что ему предлагается, но в подпалубных классах есть такие, которым не предлагается ничего, — что многие американцы тоскливо и подагрически ложатся спать до фокстротта, — что первый класс (и даже в первом классе люкс и ритц, где обитаятся миллиардеры за особую приплату, не желая есть с остальными), — тикер, водка, деревянные скачки, гимнастика и теннис на верхней палубе, «монкэй бизнес» («обезьянье дело» — то, что юркает женскими халатиками на мужских переулках и шлепает опоенными туфлями на переулках женских) — все это идеалы.

Советский гражданин держится в стороне, чуть-чуть ошарашенным. Ему хотелось бы пустить в эти верхне-палубные просторы тесноту подводных консервов и необходимости третьего класса, советскому гражданину понятных.

Советский гражданин, автор этих строк «о-кэй», американского романа, ехал в качестве писателя. Он знал, что ему нужно было поехать, но он также знал, что для его страны американские комбайны и тысячетонные штамповальные станки нужней его поездки. Поэтому он не взял с собою советского золота и от'езжал от советской границы без единого цента.

В Варшаве он получил злоты, которых ему хватило до Берлина. В Берлине он получил марки, которых ему хватило до Парижа. На «Бремене» оный писатель, ставая у форштевня, рассматривая океанские просторы горизонтов и светящихся фосфорически под носом корабля моллюсков, — соображал:

— от Варшавы до Берлина, от Берлина до Парижа, от Парижа до Нью-Йорка, — ну, а там как-нибудь образу-

ется, поелику одна голова не беда, а и беда — так одна.

Но писатель был писателем, а в паровой газете напечатан был список пассажира. И в день выхода этой газеты — сначала этакая сухая леди; а затем этаким сонным мистером, торгующим в СССР пушниной, — справились, — что, мол, такой-то не такой-то ли? — Барышня заинтересовалась моими фокс-данскими. Мистер потащил меня к маникюршике, справляясь о точке моих зрений на виски «блэк-энд-уайт» и «скотч».

И в этот же день пришли радиogramмы из-за океана. Приветствуем, дескать, встречаем, все о-кэй, но одна телеграмма гласила:

«номер приготовлен в отэле «Сэнт-Моритц» —

Я спросил сонно-пушного мистера, что это за гостиница. Мистер оживился, прочитав конфетно-изящную бумажку каблогаммы, и сказал, что это одна из самых дорогих гостиниц в Нью-Йорке, в пятьдесят этажей и находится между Пятой и Шестой Авеню, против Сэнтрал-парка —

Единственную каблогамму я послал с океана моему издателю: не надо, мол, мне «Сэнт-Моритца»!

Вечером мне подали новую каблогамму:

«остановиться в «Сэнт-Моритце» необходимо стап номер бесплатно» —

Я подивился любезности издателя, хоть воспринял этот номер, как вставной зуб.

4.

Океан был величествен. За ютом была Европа. Форштевень двигался к Америке. У русского человека есть такое:

— весна, заваленка, в валенках на заваленке сидит дед и блаженствует всем земным блаженством, — куры роются в пыли, тепло, девки-трактористки проехали на тракторах с пахоты в гараж, стрижи царапают закат, — деду нельзя — как хорошо! — и дед говорит:

— Благодать-то, благодать-то какая!.. — и молчит лирически, и добавляет: — зубы чтой-то давно не болели, — вон у Сидора Меринова вторую неделю болят...

— именно, — нельзя как! — нельзя

русскому человеку, чтобы ему было хорошо, когда у Сидора Меринова болят зубы вторую неделю. И у каждого русского человека обязательно есть свой зуб. Под величие Атлантики, на путях из Старого Света в Новый, открытых тогда, когда история человечества нащупывала пороги капитализма и лезла в подворотни открытых, и заросших уже бузиной, ворот средневековья, русский писатель думал:

— В веках, в громадных веках, быть может, в Атлантиде, в несуществующих теперь землях, возник первый человек. Где-то на берегах Атлантического и Индийского океанов, у Средиземного моря, возникли первые вести о человеке, известные человечеству. Из небытия, из мрака времен, из непознанных на берегах Средиземного моря возник тот ручеек истории человечества, который определил потом судьбы цивилизации земного шара. Этот ручеек Месопотамией, Палестиной, Египетом, Ассирией вести о человечестве вынес к грекам и римлянам, зародив историю Европы. От греков и римлян история полузаписана. Сколько народов, сколько цивилизаций, религиозных и философских систем, государственных образований возникало у человечества, жило, цвело и гибло. От римлян колымага истории известна, — известно, как эта история текла, — истине текла, — происходила, случалась, — как обливалась кровью германцев, гуннов, галлов, — как костенела средневековьем, — как перестраивала ее пар и ткацкий станок, — как грозами шли по ней революции. Но старость не есть древность. И если Египет, Ассирия и Вавилон погибли от греко-гунно-алланов, то до братьев их, живущих до сих пор в Индии, Китае, Японии, гунно-европейцы добрались только в прошлом веке. Эти народы ведут свою историю от времен Артаксерксов, при чем Япония свою историю сплела с Европой империалистическим равноправием разбоя. Все это происходило. И первая история, которая имеет свою дату возникновения, — это история Америки — не индейцев, конечно, не европейских колонизаторов. История Америки — молодая история. Мать американской истории — старуха Европа. Что взяли дети у матери? — дети победили мать? — молодая

Америка западнее Запада? — действительно ль она гораздо больший запад, чем Западная Европа? Великий океан есть громадный шов земного шара, где с одной стороны в океан обрывается древность Востока и с другой — молодость Запада, — не даром в Тихом океане есть черта, где корабли иль останавливают время на сутки иль сбрасывают сутки со времени. Но: земной шар — есть шар, и, стало-быть, в тот час, когда на Востоке романтиков панствует древность ночи (помните, — «спит седой Восток!»), — на Западе тогда закатывается день, — и, следовательно, где-то есть утро. Это утро в Союзе Социалистических Республик, история которого имеет дату рождения — 25 октября 1917 года старого стиля — и история которого не происходит, но строится, делается, конструируется.

Писатель был в Японии, Китае и Монголии, чтобы видеть древность Востока. Писатель поехал в Америку, чтобы видеть самый западный Запад. Писателю хотелось решить, как надо сшить тот шов, который образован Великим океаном, ибо писатель знал, что швы национальных культур лопаются один за другим, подобно обручам на сгнивших бочках.

— и все это писатель думал неверно, потому что думать так — романтика, писателям свойственная, но необходимости не имеющая. Все гораздо проще. Человеческая история растет. От надутых воздухом шкур барана, на которых в древности люди переправлялись через реки, человечество доросло до шестидесятитысячетонных кораблей, бороздящих океаны. По принципу надутых воздухом шкур барана человечество построило цеппелины, нью-йоркские небоскребы, где живут люди, вершинами своими, уходят в облачные дни за облака, похожие на бараньи шкуры. От каменного века и от первобытного коммунизма человек прошел дорогами средневековья, феодализма, абсолютных монархий, буржуазных революций, капиталистических деократий. Каждая из этих проистекавших эпох полагала, что она завершает достижения человечества, что она вечна — и каждая из этих эпох умирала. Именно поэтому в человеческих закоулках и до сих пор отстали

от времени центрально-африканский и самоедский бронзовый век, северо-индийский феодализм. И даже в Европе кое-где до сих пор воняет псиной монархий. Человечество сейчас переживает эпоху, когда на смену капитализму идет социализм, — кто бы и как бы хотел этого или не хотел, — и социализм не проистекает, но строится. Бактерии тифа, чумы, холеры в изолированном виде в природе не встречаются. Их можно найти только в бактериологических институтах. Там они совершенно чисты, помещены в бульон разлиты по колбам и называются культурами — тифа, чумы, холеры. Капитализм в Европе, по существу говоря, в совершенно чистом виде виден трудно. То тебе глаза застыят раскопки древних. То понятия твои спутала «вежливость» последних Людовиков. То ты потонул в английском дедовском кресле, ровеснике английских консерватизма, парламента, Вестминстера и ведьм, сжигавшихся некогда под Вестминстером и сжигаемых до сих пор речами консерваторов в парламенте. То в Шамборском замке ты видишь тени Мольера, которого играют до сих пор и который до сих пор звучит европейски. Америка начала свою историю самостоятельности на принципах французских энциклопедистов, сразу начав с буржуазной демократии, пионерами своими имевшая людей главным образом сектантов, авантюристов и преступников, не укладывавшихся в европейский склероз средневековья. И не есть ли Америка теперь — Соединенные Штаты — культура капитализма в чистом виде, подобно бульону чумы в бактериологическом институте? — этакая колба на сто двадцать миллионов свободно-капиталистических американских граждан!?

Конечно, Америка лежит на столбовой дорожке развития человечества.

Эти тракты в социализм конструируются в Союзе Социалистических Республик.

Ныне СССР и U.S.A. играют в шахматы сегодняшнего человечества.

— а океан, конечно, величествен, космос воды и неба!

На пароходе со мной пожелал познакомиться и познакомился некий аме-

риканский кишечный миллионер мистер Котофсон. Это был настоящий американец, и он задавал на наших палубах американский тон. Он возвращался из Европы с дочерью, у которой был подвязан глаз и которая все время лежала с американскими журналами на палубах и в салонах. Он был энергичен, этот американец. Он крепко стиснул мою руку, подав ее широким американским жестом, ладонью вверх. Мы обменялись «хэлло». Первые фразы нам пытался переводить пушной джентельмен, очень почтительный с кишечным миллионером. Фразе ж на десятой американец сказал:

— Ну, ладно, будем говорить по-русски. Я к вам за советом. У меня, изволите ли видеть, две дочки. Впрочем, не откажите.—стакан сода-виски?—Итак, у меня две дочери. Ради них я живу на свете. Одна из них сейчас осталась в Англии. Все-таки это самая приличная страна. Вторая возвращается со мною, я вас представляю ей. Она доктор философии. У нее от чтения на глазу появилась бородавка, и я возил ее в Германию, чтобы ей отрезали бородавку. Все таки германская медицина самая приличная. С меня брали по пятьсот долларов за визит. Моя дочь пишет такие рефераторы, что профессора ахают. Дать воспитание детям — это стоит копейки. Итак, я хочу говорить о второй дочери. У нас в Америке хромает искусство. Моя дочь захотела стать писательницей. Говорят, что английская литература сейчас в застое, я в этом не специалист, но все же английская литература — самая приличная. Мне дали список самых лучших английских писателей. Я остановил свое внимание, главным образом, на писательницах. Так, изволите ли видеть, мне кажется, удобнее и приличнее. Я посетил этих писательниц в Лондоне, и я предложил им давать уроки моей дочери, чтобы она стала писательницей. Она очень талантливая девочка. Итак, что вы скажете по этому поводу? — У нас в Америке так мало настоящего искусства!

— Но откуда вы знаете русский язык!? — спросил я.

— Хэ! — если бы вы знали мою биографию! — Я круглый сирота. У моего дяди в Орле была своя бойня. Мальчи-

ком лет десяти я был уже самостоятелен и ездил с дядей в Сибирь, в Семиречье к киргизам скупать кишки. Вы знаете, что русские кишки, свиные и овечьи, не сравнимы ни с чем в мире, особенно из Заволжья, из западной Сибири и из Семиречья. Несравненные кишки! Ученые полагают, что это от континентального климата и от плохой вашей пищи для овец — такие несравненные кишки. Советское правительство не знает, какое у него имеется золото. Я давал ему через Амторг не плохие миллионы, предлагая сдать мне монопольное право на русские кишки, — ведь у вас же монополия торговли, а я бы сам для этого дела тряхнул стариной!—Итак, шестнадцать лет я оказался в Одессе на морском пароходе и шестнадцать с половиною лет ступил на землю Нового Света. С тех пор я в Америке. Вы не знаете моей биографии! — никто в Америке не знает лучше меня кишечного дела! — Впрочем, вы разрешите, — я выпью еще стакан сода-виски? — Итак, что вы скажете по поводу английских писательниц и моей младшей дочери? В России у меня была фамилия — Котов. Теперь я — Котофсон. Итак, уэлл?

Пушной мистер, когда мы остались одни, почтительно сказал мне, что мистер Котофсон — до сих пор неграмотен, не читает ни по-русски, ни по-английски, он может подписать только свою фамилию на чеке, но все дела читают ему его секретари. Вечером на баловстве (от слова «бал») за столиком Котофсона сидело большинство общества наших палуб, и Котофсон поил всех коктейлями.

—Философия истории!

5.

Первое, что меня поразило в Америке, — это национальные флаги.

Статуи Свободы, с которой всегда начинают описание Америки, я не успел повидать, подплывая к Нью-Йорку. Меня сбили с толку пароходная шумиха и небоскребы Уолл-стрита. Статуи Свободы я не видал и впоследствии. И, чтобы не путать ею будущих путешественников в Америку, имею сообщить, что в голове этой Свободы можно расположить целую квартиру, а в части юбки ее сзади, под верхними складками,

в течение долгого времени располагался тюремный каземат, — факт не менее поучительный, чем история «о-кэя».

У меня сохранились письма, написанные мною в первые мои американские дни на родину. Рефреном этих писем были междометия — ох, Америка! ах, Америка! ух, Америка! ну, Америка!

Пусть читатель знает, что девяносто девять процентов советских граждан, несмотря на визы, не спускаются сразу в Америке на берег, но арестовываются и отправляются на Эллис-айлэнд, — в просторечии — называемый Островом Слез, — в притаможенную тюрьму, где их, людей, судят американцы за право быть советским гражданином. Я не имел оснований вывалиться из процента, а тюремные операции на всем свете неприятны, — и, когда пароход входил в порт, вышеупомянутые прелести статуи Свободы меня интересовали меньше свободы моей собственной. Я не был арестован, но два моих соотечественника-инженера (один из них был с женой и ребенком) отправлены были вкушать пороги американской свободы Островом Слез, оставив мне размышления о естественной человеческой солидарности.

В Америке — прохибишен, сухой закон. В его честь всепароходное население пило всю приамериканскую ночь и утром ходило в обалдении катцен-ямера по буфетам, разыскивая, чем бы опохмелиться. Буфеты блистали печатями вместо бутылок.

Припароходные репортеры приехали на пароход вместе с полицией. Я ехал с «публицити», и, когда пароход пришвартовывался, репортеры, взяв меня крепко под руки, свели в детскую комнату первого класса. В комнате этой на стенах были нарисованы смеющиеся и плачущие дети в стиле русских кустарных игрушек. Стояли стульчики и столики для детей. Разложены были игрушки. На детские столики поставлены были бутылки с виски и пинты с пивом. Детины-репортеры расселись на детские стульчики, задрав ноги куда не надо. Был этот народ ражий, плохо одетый, в стоптанных ботинках, при чем каждый ботинок по пуду. Был это народ активный. Стал этот народ торопливо пить пиво и виски, вопрошать меня и ошупывать. В двухчасовых газетах сооб-

щалось, что с таким-то пароходом приехал такой-то. Галстук на нем такой-то и башмаки такие-то, и остановится он в гостинице такой-то. И больше ничего. Разве лишь еще описание волос и прически. Волосы, оказывается, у меня — песчаные.

Порт, Гудзон и Ист-ривер, задавленные небоскребами Манхэттена и Бруклина, — грандиозны, ни с чем, ни с каким сном не сравнимы — ни с какою Татлиновскою фантазией.

Улицы, на которых пешеходов меньше, чем автомобилей, испугали национальными флагами, точно я приехал в табельный день, хотя были будни. Сразу в легкие вошел воздух невероятностей этого города, где в небо торчат стозажные дома, и ни единого листочка, ни единой травинки нет на бетоне города.

Отэл «Сэнт-Мориц» повторил роскошь Бремена. Мои чемоданы пришли раньше меня. Кроме моих чемоданов, в номере стоял ящик с виски и джином. Я знал уже цену американскому алкоголю по сухой расценке. Моего кошелька нехватило б, чтоб заплатить за эти ящики. Лакеи сервировали чай человек на сорок. Незнакомые люди раскупоривали виски и джин. Я должен был давать интервью.

Стали приходить журналисты, уже барственные и медлительные, мужчины и женщины. Они жали мне руки и называли не свои фамилии, но имена тех газет, от которых они приходили. Мне непонятные люди передавали журналистам «стэйтмент» — этакую хлестаковскую бумажку обо мне, где рассказывалось, сколько мне лет и кто мои папы, какой я такой-сякой и кто что обо мне сказал. Я был не я, но — материал для публицити. Собравшие солидно стали пить виски и допрашивать меня. Я говорил о колымаге истории. Мне задавали вопросы:

— как вам понравилась Америка?

— сколько стоит в загсе развестись и выйти замуж?

— сколько получает жалования товарищ Сталин?

— как вам понравились американские женщины и Нью-Йорк?

Когда спросили, сколько получает жалования товарищ Сталин, я ответил, что получает он, надо полагать, партмакси-

мум, около полутора ста долларов в месяц. Народ трепетно поразился этакой мизерной оплатой, — что, мол, стоит Сталину из-за такой мелочи трудиться!?

Меня спросили:

— Кто же в таком случае сколько получает жалования, и есть ли люди, которые получают больше, чем товарищ Сталин?

Поразив журналистов тем, что миллионеров у нас нет, понеже они изгнаны (есть еще такие в Америке, которые об этом плохо знают, даже среди журналистов), я сказал, что больше полутора ста долларов в месяц зарабатывают квалифицированные рабочие, инженеры, люди свободных профессий, писатели, артисты.

Меня спросили:

— Ну, а вы?

Я ответил, что я зарабатываю раза в три больше в месяц, чем полтора ста долларов. На утро в «Нью-Йорке Таймсе»

— Пильняк предрекает гибель капитализма!

— Самый богатый человек в СССР — Пильняк!

Этак в «Нью-Йорке Таймсе». Другие газеты сделали меня Рокфеллером. И много месяцев спустя, уже в Москве, один приятель, американский журналист, рассказывал мне, что он получил из Нью-Йорка от своего агента запрос, после тогдашнего моего интервью, почему и как Пильняк не Пильняк, а Рокфеллер!?

Кесарево — кесареви. Я четырежды упоминал об отэле «Сэнт-Моритц» (над сим «Моритцем» реял национальный флаг). Продолжаю американскую традицию — плачу с благодарностью. Бесплатный номер в этой гостинице и бесплатный алкоголь были даны мне не издательством, но самой гостиницей. Публисити-мэн этой гостиницы рассчитал правильно, что обо мне будут писать в газетах с указанием, где я остановлюсь, а бесплатный номер дешевле, чем платная реклама. Да и реклама такого порядка меньше похожа на рекламу. Не от таких ли психологических комбинаций повела свою историю биржа, учреждение, конечно, психологическое, торгующее, кроме ценностей, также и психологической пустотой разных теплых слов, расцененных на долла-

ры!? — Дорогой «Сэнт-Моритц», — тэнк ю!

Портной предложил мне бесплатно костюм с тем, что я сфотографируюсь в нем и напишу, что, мол, нет лучше костюмов, чем у фирмы такой-то!

На второй или на третий вечер, не помню, меня повезли в театр. Было нас шестеро сидели мы в ложе, смотрели, как негры представляют себе рай, как бог-Саваоф, наподобие янки, расхаживает в клетчатых брюках, в сюртуке, с бороною в роде ошейника. И пили мы в ложе из бумажных стаканчиков виски. После театра повезли нас в некий «клуб», в кабарэ. Американцы берут масштабами, количеством. Если в Париже в таком кабаке показывают пять голых женщин, то в Нью-Йорке — сто. «Клуб», в котором мы были, знаменит. Имя его я опускаю, дабы не делать ему публицити. Изошрялось в нем штук сто голых красавиц. Люди фокстроттили и пили шампанское, коктейли и ликеры. Был джас, и выступали различные певцы. Все было ужасно роскошно, как у мистера Котофсона. Ко мне подходили какие-то люди, знакомились, уходили. И вдруг до моего сознания довели, что меня просят выступить и сказать хотя бы одно русское слово, здравствуйте или спасибо. Оказалось, что программа этого клуба в тот вечер передавалась по радио. Оказалось, что завезли меня и мою компанию в театр и в этот клуб, кормили и поили для того, чтобы я выступил в программе этого клуба по радио! — хорошо был бы советский писатель, с корабля попавший на голопупый бал и радующийся в радио! — Ушел я из этого клуба совершенно без всякой вежливости, посредине блюд, а дома долго пил воду со льдом, дабы прогнать раздражение до дрожания рук, злону и бессоницу. Публисити, реклама, чорт бы их побрал!

6.

Публисити! реклама! — честное слово, часто казалось мне, что люди в Америке существуют не к тому, чтобы быть людьми, но для публисити и для рекламы. Это мне казалось. Но я твердо знаю, что все американцы — суть жертва рекламы, ибо реклама там важнее людей, дороже людей, важнее вещей и дороже вещей.

Вы взбрасываетесь пневматическим лифтом на шестидесятый этаж небоскреба — это реклама и чтение рекламы, кроме под'ема. Вы едете в такси, за стеклом перед вашим носом около счетчика ползет кинолента заманчивейших информаций, — это реклама. Вы поднимаетесь на воздушную железную дорогу (на вторые этажи нью-йоркских улиц), вы опускаетесь в подземелье собеев, — вас преследуют кока-кола, Шевроле, барышни Локки и Честерфильда, — это реклама. Вы едете за город, и вы ничего не видите направо и налево из-за заборов необыкновенных молодых людей обоих полов, прославляющих папиросы, автомобили, мыло, клизмы, кастрюли и самую природу, в роде Грэнд-кэньона, — это реклама, равно как и сам Грэнд-кэньон. Вы прячете ваши глаза в небо, но там реклама, расписываемая аэропланами и прожекторами. Вы лезете в ванну, и на коврик под ногами вы читаете рекламные прелести. Вы прячетесь в постель, вы тушите свет в комнате, и на стене около штепселя, чтобы его легко было найти в темноте, фосфоресцируют слова рекламы. Вы прячете голову в подушки, но в ваши уши, через заводский вой и скрежет города, лезут слова радио-рекламы.

Эти рекламы орут, мурлычат, напевают ариями, пугают, шарашат глаза и глаза успокаивают, сшибают с ног, караулят на перекрестках, в подворотнях, в сортирах, в альковах. Эти рекламы лезут в нос, в глаза, в уши, в пищу, в кровь, в сердце и — в карман, карман, карман! — ибо все они существуют к тому, чтобы орать:

— покупайте больше (и ломайте) автомобилей, зажигалок, рефрижераторов! — если вы сломали ваш прекрасный автомобиль, мы его починим в двадцать четыре часа, и он будет еще прекраснее, ибо мы нацепим на него два новых прожектора, лишнюю никелевую сетку, радио, зажигалку, часы, пепельницу, аптечку! —

— радио в вашем автомобиле будет улаживать ваш слух, когда вы будете проезжать поля Таксеса и пустыню Аризона! —

— покупайте больше штанов, сапог,

посуды, мебели, галстуков, папирос, пилюль от кашля и прыщей! —

— ешьте больше мяса, ветчины, омаров! —

— ешьте больше хлеба и масла! —

— пейте больше кока-кола, кофе, чая! —

— больше! больше! больше! —

— самое хорошее! ни у кого, кроме вас, не будет! и самое дешевое! — вы не имеете права не есть, не пить, не иметь автомобиля! —

(Об этом «больше! больше! больше!» речь будет впереди, в разговоре о кризисе, — это «больше» орет тогда, когда в стране десять с лишним миллионов человек безработных).

Все запатентовано. Все пократо тайной неизвестности.

На грецком орехе стоит клеймо продающей его фирмы. Машины, которые ставят это клеймо, их оборудование и их обслуживание стоят дороже орехов. Покупатель за клеймо платит больше, чем за орех. Все запатентовано. Бюро патентов сокрыло тайны патентов.

В аптеках в Америке, как известно, можно обедать, покупать мороженое, помидорный сок, спортивные принадлежности, книги и папиросы, кроме лекарств (а также каждая аптека — шинок). Аптекарям, фармацевтам совсем не надо висеть над унциями и граммами весов. Все запатентовано, и невозможно купить порошок православной хины, а надо купить хину патентованную, убранный в тубик, не горькую, а сладкую, при чем эти стеклянный тубик, сладость и красота стоят в десять раз дороже самой хины.

Но это еще не беда, хина, — это указывает на обстоятельство, что не качество товара, а уменьше его продать решает судьбы предприятий.

Полбеда, что не покупатель ходит за товаром, а продавец насилует покупателя, ловит его всем, чем угодно, от кредитов, от присылки товаров на дом, — до судов. Полбеда, что покупатель должен бегать от продавца и пребывать во всегдашней зависти, потому-де, что — пожалуйста, пожалуйста! больше, больше! так дешево и стыдно каждому американцу не иметь! — а десять миллионов безработствуют, а долларов у покупателя уже нет на самые первые необходи-

мости, ибо ему всунуто радио для автомобиля, когда автомобиля нет, зажигалка для сигар, когда он не курит, и он купил женские туалетные патентованные тайны, но жениться еще не успел. Торговля, равно как и промышленность, свободны по священному праву капитализма. И полбеда, что каждую неделю вдруг выясняется, что некоторая железная вода, которую пил знаменитый боксер (фотография тут же за подписью), этому знаменитому боксеру — вода и не что иное — дала возможность разбить рожу другому знаменитому боксеру, — так вот эта вода, страшно железная, в упаковке фирмы стоила два доллара, а действительная ее цена две копейки, — и никакого железного чуда действия в ней нет. Бритва жиллет, от гупых ножей которой страдают россияне, запатентованная в первые годы своего существования, стоила десять долларов. Ныне патентные права изжиты, и бритву жиллет дают бесплатно — в качестве приложения к десятку бритвенных жиллета же ножичков. Сколько миллионов долларов переплатил американский любитель побриться жиллетом?! — То-есть полбеда заключается в жульничестве, проверить которое нет сил, ибо каждая проверка упирается в «священные» права свободы собственности и торговли капиталистических китов.

Беда (или полбеда?), что наибольшая статья расхода потребителя направлена на «амюзмент» (амюз — развлекаться), на наслаждения, когда, действительно, рядовой американец завален штампованными запонками, но не имеет лишних (и нужных) сапог, и всегда имеет радио, и всегда знает последнюю картину М.С.М.

Беда... — концерн лесных строительных материалов вступает в борьбу с концерном каменных (или железобетонных, или азбестовых) строительных материалов (или мясники хотят заставить есть мясо за счет молока, — или нефть решила положить окончательно на обе лопатки каменный уголь, — или синдикат, производящий искусственный шелк, решил убить шелк коконовый), — это в тайне, — это вооружено экономистами, инженерами, миллионами долларов, — это упирается в Уолл-стрит, в

Белый Дом, в Республиканскую партию и в бандитские тресты — бедный мечтатель, желающий построить себе дачку на берегу Гудзона (или купить себе и своей «уумэн», «уайф» или «сюит-харт» — женщине, жене или сладкому сердцу — шелковое, а не «химическое» белье) — здесь он уже не при чем, — здесь не только реклама, здесь — приказ, повеление, — здесь совершенно ясно, что и люди, и вещи дешевле самих себя, — и статистические выкладки знают, что не миллионы, а миллиарды долларов были отобраны у американцев таким образом — такими образами.

И над всем над этим — всюду, везде, на домах, на заводах, на перекрестках улиц, на церквях, даже на кладбищах, — американские национальные флаги, флаги, флаги, точно сплошной табельный день.

7.

Знавал я в Нью-Йорке человека с Уолл-стрита, чувство к которому я передать не могу за отсутствием слов, передающих подобные чувства. Человек этот лет сорока, миллионер, сух и упрощен в движениях, как хороший перочинный ножик. Он не следует современной американской манере одеваться во все цвета радуги. Он придерживается традиций конца прошлого века, костюмов, символизирующих паровозную трубу. В его кабинете, рядом с тикером, ежесекундно связывающим его с Уолл-стритом, — телефонные трубки прямых проводов в Лондон и в Женеву (к его информатору с заседаний Лиги наций). Он не имеет никаких предприятий. Его метье: давать советы американским миллиардерам из дураков, куда и как вкладывать им свои миллионы, чтоб получать наибольшие барыши. Меньше чем миллионными суммами он не оперирует. Он очень неглуп и он очень циничен, как полагается ему быть по его профессии. Он знает, если он будет давать плохие советы, безмозглые его пациенты найдут в себе мозгов для того, чтобы от него отказаться. Я увидел этого человека в минуту, когда он положил женевскую трубку. Меня и моего спутника, раскладывая перочинный нож правой руки, он встретил словами:

— Кризис, кризис и кризис! Я говорю моим пациентам, что придумать сейчас ничего нельзя. Иногда я говорю им, что самое лучшее и верное применение долларов, — это вкладывать их в вас, большевиков. По крайней мере деньги будут целы до тех пор, пока вы сами не появитесь у нас!.. Или я говорю им, не плохо было бы организовать концерн по уничтожению советской власти. Собственно, не советской власти, — но создать акционерную компанию по доказательству, что кризис происходит благодаря советскому демпингу, большевистской агитации и заговорам. Открыть бы парочку заговорчиков!.. — В тот и другой бизнес я дал бы по паре личных миллионов, своих собственных. Ручаюсь в доходности на первые шесть месяцев! — вы помните Флоридские болота в двадцать шестом году! — и не надо забывать, что ближайшее наше процветание создали — автомобиль, который стал для американцев каторгой, и прохибишен... При концерне против большевиков — какие публисити, хокум и амюзмент! —

8.

Что касается меня, то я, в отличие от королевы румынской (королевские дела — факт!), ничего под костюмом не подписывал и за костюм заплатил, равно как и из «Сэнт-Моритца», узнав его благодетель, сселился в квартиру, где я мог расплачиваться. И в первые десять дней моего пребывания в Америке я получил телеграмму:

«работать в Голливуде у фирмы М. С. М. стап долларов десять недель стап столько-то долларов неделя» —

Я послал запросную телеграмму: как работать и что делать? — Ожидая ж ответа, я показывал эту телеграмму друзьям и знакомым. Друзья и знакомые оценивали телеграмму различно.

Один:

— Сколько-то долларов мало.

— Но что же там делать!?

— Это безразлично. Меньше тысячи вам брать неудобно.

Второй:

— Ну, так и надо было предполагать.

— Что именно! — я никогда не работал в кино и не знаю, что там делать!

— Это безразлично. А вдруг вы написали бы что-нибудь для Факса или

Парамоунта! — лучше вам заплатить даже в том случае, если вы ничего не напишите, чем если вы напишете Факсу.

Публисити! — реклама!

9.

В Голливуд я ездил. Об этом ниже.

Кино — третья в U.S.A. индустрия, и эта индустрия — порядка амюзмента. Амюзмент — главная расходная статья американского потребителя. Кино, радио, автомобиль, прочее. Под Нью-Йорком, за Бруклином, есть учреждение массового, миллионного амюзмента.

Это — Конэй-айлэнд.

По летам, в праздник, там собирается до полутора миллионов нью-йоркцев для «гуд тайма» («хорошего времени») и амюзмента. Туда не ездят богатеи. Миллион людей — это Эстония, Литва, Латвия. Миллион людей — это массы.

Учрежденьице, называемое островом и городом, которое может собрать столько людей, — кроме того, что оно массовое, — оно любимое, и оно — не прыщ на поясице, сиречь не случайно. Люди едут наслаждаться, наслаждаться во что бы то ни стало!

На десяток километров по берегу океана (а фактически, под другими именами, на сотню километров) тянутся балаганы, карусели, цирки, харчевни, лупаиарии, музеи уродств, тиры, лотереи и прочее, прочее, прочее тому подбное, — залитое электричеством под национальными флагами. В один, в два, в три дня всего этого электрического наслаждения осмотреть нельзя. Московский парк культуры и отдыха не сравним никак, — хотя бы потому, что в Конэй-айлэнде нет ни одной травинки. Там: несколько саженей «битча» (пляжа), песка, залитого электричеством, перемешанного с апельсинными и бананными корками, с пробками от кока-кола, с газетными листами и прочими человеческими отбросами, — затем дамба и железо-бетон, засиженный, как мухами, автомобилями, десятками тысяч автомобилей, и заваленный людьми, как битч апельсинными корками. Ночь там так же светла, как день, — от электричества в небе, электричества на земле, электричества под землей.

Океана там не видно, и пахнет не океаном, но бензином, краской и горя-

чими сосисками (называемыми «хат-догсами» — горячими собаками, что и соответствует истине). Пятьдесят, примерно, процентов людей, переодевшись в автомобилях, валяются на битчах — битчуются — и ходят по набережной в купальных костюмах и в купальных пижамах самых невозможных цветов и оголений. Остальные народы наслаждаются зрелищами.

Эти зрелища воют, свистят, громяют, мартируют, комарят, разливаясь трелями от гармошки до сексафона джаза, в экстатическом наслаждении. Эти зрелища жгут прожекторами, ракетами, фейерверками, всеми электрическими цветами и темпами. Орут живые и электрические клоуны. Гирляндами реют национальные флаги, братствуя с электричеством. Миллион людей прет, хохочет, свистит, на ходу танцует, как на пароходе, со свистульками, с тещинными языками, в необыкновенных костюмах, — на ходу ест хат-догсы, целуется и обнимается. Веселье сверхестественное! — веселиться во что бы то ни стало! — Веселье летит с каждого лица, с каждой руки, положенной на бедра, на талии, на плечи или на грудь соседа или соседки! — каждая нога ликует! — Галстуки мужчин развязаны. Женщины полуодеты, и очень большой процент женщин одет в белые или цветные, предпочтительно полосатые, брюки, широкие как у матросов. Старозаветные американские традиции костюмов по принципу паровозной трубы, клетчатых брюк по принципу американского знамени, волосяных ошейников, вместо бород, — исчезли. Американцы одеты во всяческие невозможные цвета, мужчины и женщины одинаково, в лиловые, зеленые, малиновые, желтые брюки, юбки и рубашки. И самый модный цвет — электрик!..

Пары и компании идут в Steeplechase, так скажем, в Сорок Одно Удовольствие, залитое электричеством и украшенное национальными флагами. Пары платят полдоллара за человека, на груди у каждого приколот жетон на сорок одно удовольствие.

Удовольствия начинаются сразу. Под электрическую музыку надо пройти сквозь трубу, которая вращается электричеством. В этой вращающейся трубе люди падают, хохочут и визжат. Бра-

щающаяся труба не дает им встать, возникают невероятные позы, у женщин задираются юбки, если таковые имеются. Специально приставленные молодцы тащат веселящихся из трубы за ноги. Дальше начинаются острые ощущения. Пары бросаются на электрические автомобили. Наблюдатель прокалывает на жетоне одно удовольствие. Шины на этих автомобилях надеты не на колеса, а вокруг автомобиля. Автомобиль на площадке приводится в движение электричеством. Автомобили летят друг на друга, стыкаются своими шинами, отлетают друг от друга, как мячики, налетают на третьи автомобили. Веселье сверхестественное! Откатавшись народы залезают на гору. Наблюдатель прокалывает на жетоне следующее удовольствие. Гора тщательно отполирована, со всяческими ухабами. Люди съезжают с горы на своей на собственной, парами или шеренгами, держась за руки. Ухабы и горы раз'единят людей, неизвестно, где руки и ноги. Вокруг этой горы у парапета стоят зрители фантастических полетов. Иные оперлись о парапет. Вдруг через парапет пропускается электрический ток. Ток колет зрителей, иные обалдело вскрикивают, все хохочут. На тарелке, размером в цирковой ипподром (Америка известна размахами: так в нью-йоркском цирке таких ипподромов три сразу, и на всех на трех сразу играют), — на такую тщательно отполированную тарелку, на середину ее, забираются люди. Наблюдатель прокалывает на жетоне удовольствие. Тарелка начинает вертеться, вращаемая, конечно, электричеством. Один за другим люди срываются с середины тарелки и повисают на ее краях. Тот, кто сумел перехитрить центробежную силу и усидел на середине тарелки, имеет право повторить этокое удовольствие без жетонного прокола.

Качели всех сортов!

Карусели всех сортов!

Американские горы (которые в Америке называются русскими)!

Удовольствия! Наслажденья!!

Рядом с Сорок Одним Удовольствием — музей, где показывают самую толстую в мире женщину, самых маленьких карликов, самых страшных уродов, женщину и мужчину рыб.

Рядом продажа национальных флагов, под которыми вопят армейцы спасения, завывая в свои трубы.

Рядом музей накожных заболеваний и зачатия ребенка (детям вход запрещен).

Рядом музей ужасов (детям вход не запрещен): здесь показывают те комбинации, которые застала или восстановила полиция при сенсационных убийствах. Бандиты зарезали женщину в постели, постель и женщина в крови, бандиты склонились над нею. Жена убила мужа в ванне, ванна полна крови, в руке полураздетой женщины нож. Муж зарезал жену в лесу. Сакко и Ванцетти на электрическом стуле, их лица искажены судорогой электричества. Все это сделано из воска в страшном изобилии ужасных выражений лиц и крови.

Рядом скелет кита, показывается за один цент.

Опять армия спасения.

Рядом с гадальным учреждением, куда заманивают гадалки, чтобы предсказать судьбу, стоит гадалка механическая, в роде автомата пригородных касс: надо опустить никель (пять центов) и судьба будет предсказана.

Рядом стреляют в тир, кидают мячи и кольца, чтобы выиграть тещин язык, свистульку, колпак, плюшевого мишку, пепельницу для автомобиля.

И есть в Сорок Одном Удовольствии одно удовольствие, которые покрывает все. На миллион людей всегда найдется сотня (или тысяча) дураков (или одураченных). Посреди Сорок Одного Удовольствия построены зрительный зал и сцена, украшенные национальными флагами. Зал всегда дотказа набит людьми всех возрастов и предпочтительно мужского пола. На сцене бесменно находятся два клоуна, урод-карлик, толстый, как паук, и урод-великан, сухой, как жердь. Люди, ходящие по электрическим страхам, острым ощущениям, катающиеся на своей на собственной, в поисках дальнейших наслаждений национального флага, вдруг попадают в некий лабиринт, откуда нет обратного выхода. Они идут вперед. Иные понимают, в какую ловушку они попали. Другие ловушки не осознают. И это — безразлично, ибо оступления нет назад, на самом деле. Эти попавшие в лаби-

ринт, выходят на сцену. Зрительный зал гогочет от наслаждения. Из мрака лабиринта люди выходят в ослепительный свет прожекторов. Люди балдеют, совершенно естественно, эти мужчины и женщины, при чем некоторый процент женщин, естественно, одет в юбки, при чем женщины бывают молодыми и старыми, худыми и полными. При виде женщин в юбках зал гогочет особенно вожделенно. Урод-паук и урод-жердь бросаются к оказавшимся на сцене в клоунской вежливости. Оба они вооружены палочками на проволоке, электрическими палочками, при прикосновении с которыми вспыхивает искра и которые больно электричеством колят. Урод-паук предлагает следовать за ним. И вдруг под ногами вышедших из лабиринта снизу вверх начинает дуть сжатый воздух. Музыка захлебывается разными пуками. Юбки женщин взлетают вверх, обнажая, что полагается и чего не полагается обнажать. Женщины судорожно хватают летящие юбки, стараясь собрать их и удержать на коленях. Но урод-жердь тыкает тогда электрической палочкой в их собственную. Женщины визжат от неожиданности и боли, хватаются за собственную, бросая юбки. Юбки вновь летят вверх. Иль женщины бегут куда попало. Тогда под ними начинает прыгать пол наподобие взбесившегося козла. Женщины теряют равновесие и хватаются за поручни. Но по поручням идет ток. Но воздух снизу их не подкидывает! — И никто, никогда, нигде, если он не был в Конэй-айленд, не видал таких выражений лиц, как у тех зрителей, которые сидят в зрительном зале этого удовольствия! — Зал хрюкает, хохочет, визжит, сучит и стучит ногами, — наслаждается! — За вечер таких зримых пройдет не меньше сотни, и сколько панталон, подвязок, а то и совершенно беспанталоных насмотрится этаким миллионный американский зритель! — С мужчинами поступается иначе, чем с женщинами. В тот момент, когда ветер срывает шляпу и мужчина за шляпу хватается, его тыкают сзади электричеством и ловкостью рук уroda-жерди, вместо канотье иль шляпы поддуваемого, нахлобучивает на его голову какой-нибудь шутовской головной убор. Поддуваемый и электри-

зумыый замечает это лишь тогда, когда он выбрался из пытки обалдения. За шляпу он платил кровные доллары. Он секунду рассматривает то шутовство, которое оказалось у него на голове и о котором он узнал по хохоту окружающих. Он кидает это шутовство уродам и требует свою шляпу. Его шляпа лежит на троне среди сцены, ему говорят:

— Иди бери!

Жалость к потраченным долларам и жалость к своему достоинству секунду борются, и человек идет за своей шляпой. В тот момент, когда он протягивает за нею руку, шляпа летит в сторону, а вместо шляпы выскакивает из-под трона электрический урод, ужасно визжащий и пугающий шляпного обладателя.

Наслаждение невероятное!

Наслаждение сверхестественное!

Зал гогочет, и музыка захлебывается, пукая.

Зал украшен национальными флагами.

Но самое замечательное заключается в том, — это по поводу секунды раздумья о стоимости шляпы и своего достоинства, — замечательно то, что зримые и одуроченные выскакивали со сцены — веселыми, счастливыми, хохочущими, никак не обиженными. Ясно, было, что ряд зримых проходил по этой сцене, украшенной национальными флагами, не в первый раз. Все, что полагалось, они проделывали со знанием и удовольствием, они получали удовольствие, одно из Сорока Одного!

Таких учреждений, как Сорок Одно Удовольствие, в Конэй-айлэнде несколько. Да и не только в Конэй-айлэнде. Они имеются повсюду, по всей Америке.

Часам к четырем ночи, под праздник и в праздник, Конэй-айлэнд пустеет. Тысячи людей прут в механическую вежливость собвеев. В собвеех нет контролирующих людей, во имя американской рационализации. Чтобы пройти на перрон к вагонам, надо опустить никель в крестообразный автомат, похожий на те крестообразные калитки, которые ставились в России на провинциальных бульварах, чтобы на бульвары не заходила скотинка. Когда никель опущен, этот автомат рычит, вертится на че-

верть оборота, испешно пропуская человека и подталкивая его для бодрости. Человек должен подпрыгивать, спасаясь от автомата. В поездах же собвеев эти тысячи людей в тесноте и комбинациях, нашим трамваям не снившимся, хотя бы потому, что женщины у нас не ездят в трамваях на коленях своих друзей-мужчин. Но большее количество людей возвращается на автомобилях, знакомые, полужнакомые, познанившиеся сегодня. И на автомобилях ездят также не по-нашему, ибо вот некая наядя со стриженными волосами и в необъяснимом купальном костюме лежит на переднем крыле автомобиля, подставив раскинутые руки ветру, — иль экстренно влюбившаяся пара устроилась на крыше автомобиля.

Коней-айлэнд горит заревами, фантастикой, фантазмомогорней, обалдением, электричества. Милльон счастливейших клерков, рабочих и работниц, домашней прислуги, приказчиков, портных расползается по своим этажам, разносимый электрическими лифтами.

9.

По воскресеньям, когда милльон людей наслаждается Коней-айлэндом, иль даже полтора милльона, — нью-йоркские газеты выходят на ста пятидесяти—двухстах страницах. Большинство этих страниц в газетах заняты объявлениями об американских чудесах. Но там в воскресном номере есть все для любого американца. Там сообщается о рейсах торговых кораблей, о курсе бумаг с Уолл-стрита, депеши из Чикаго о ценах на пшеницу, депеши из Нью-Орлеанса о хлопке, а также о самой маленькой ножке самой большой красавицы. В номере напечатаны события, интересные только ирландцам. В номере есть страничка только для мужчин. В номере есть страничка только для детей. В номере есть страничка только для миссис и мисс, в модных картинках и интервью со знаменитыми красавицами. Литературные приложения. Театральная и математическая хроника. Хроника бокса. Иллюстрированные приложения.

И — страничка сатиры и юмора. Также иллюстрированная, в коей обязательно кто-то вылетает из окошка и попадает в бочку с водой. Или садится на бумагу для мух. Или вставляет в рот

сигару горящим концом. Или муж прячется от жены под кровать. Или жена привязывает мужа на цепь к кровати. Это должно катать американца смехом. И обязательно анекдоты, в роде следующих.

«Перевернул.»

— Мой муж вот уже целый месяц не покидает меня по вечерам!

— Перевернул новый лист книги поведения?

— Нет он перевернул автомобиль и теперь лежит в постели весь забинтованный!»

«Здравый ответ.»

— Сколько тебе лет, милый мальчик?

— К сожалению, я не знаю. Когда я родился, мама говорила, что ей было двадцать шесть лет, а теперь ей двадцать четыре».

«После футбола.»

— Сегодня игра была совсем неинтересная.

— Да, ни одного курьезного пьяницы!»

«Целят аппетит.»

— Доктор, я ем свой обед без всякого удовольствия.

— Почему?

— Потому, что еда уничтожает мой аппетит!»

«Боксеры.»

— Когда я наносу удар противнику, он чувствует тотчас же.

— А когда я наносу мой удар противнику, он чувствует только через неделю!»

«Хитрая вдова.»

— Сударыня, вы не можете выйти замуж. В завещании вашего покойного супруга говорится, что если вы вновь выйдете замуж, то наследство целиком передается кузену вашего покойного супруга.

— Да, но я за этого кузена и выхожу замуж!»

«Система оружия.»

— Я хотела бы купить револьвер для моего мужа.

— Какой системы оружие ваш муж предпочитает?

— О, ему все равно. Он еще не знает, что я собираюсь его застрелить!»

«В магазине.»

— Я заметил, что ваш последний

клиент ничего не купил, но ушел совершенно счастливым. Что он хотел видеть?

Продавщица: — Меня в 8 часов вечера!»

«Старая знакомая.»

Он (задумчиво): — Я, кажется, с вами знаком. У вас есть что-то такое, что мне кажется очень, очень знакомым...

Она: — Может быть, это мои панталоны? Я их взяла на эту ночь у мисс Морган.»

«Искренний смех.»

— Мои подтяжки лопнули в самый разгар танцев...

— Воображаю ваше смущенье.

— Нет, я хохотел от души вместе с другими. Мои подтяжки были на моем друге Лоренсе!»

От этих сатиры и юмора — предлагается хохотать до упаду, как на поддувании в Конэй-айлэнде.

10.

Очень много электричества!

Электричество по вторым этажам улиц Нью-Йорка и под землю развозит людей в пространство. Электричество растаскивает людей по этажам. Электричество запирает и отпирает двери квартир и домов. У иных домов, у подъездов, на стене около парадного, на доске против номеров квартир, находятся кнопки, рядом некое отверстие. Вы давите нужную вам кнопку, и из некоего отверстия вы слышите голос, спрашивающий, — кто звонит и кого нужно? — это хозяин квартиры вопрошает по телефону со своего этажа. Вы говорите. Хозяин говорит «о-кэй», и перед вами открывается парадное, запертое до сих пор. Это хозяин на своем этаже нажал соответствующую кнопку. Парадная дверь, открываясь, зажигает свет в коридоре. Вы входите в лифт. Лифт вспыхивает своими лампочками, и коридор проваливается во мрак. И так до двери в этаже. Электричество готовит и холодит кушанья, где есть электрическая плита и есть рефрижератор, производящий лед, этаким белым электрическим ящик. Электрические: утюг, завивалка для волос, чайник, инструмент для поджаривания (и порчи — на русский вкус) хлеба для сэндвичей. Швейные

и пишущие машинки приводятся в движение электричеством. Белье стирается электричеством. В некоторых квартирах вы нажимаете эту кнопку, и ваша кровать переворачивается в воздухе, лезет в стену, опускает стену за собою. В каждом автомобиле, совершенно естественно, есть аккумулятор, — но во многих имеется и радио. Гостиница «Сэнт-Моритц» построена по такому последне-электрическому слову техники, что я побайкался там касаться дверных ручек: тронешь ее, а в тебя электрическая искра, как в Конэй-айлэнде. Я долго добивался, почему это так. Толку не добился. Объясняли это мне свойствами ковров. Не знаю. Но по поводу ковров и полов вообще должен сказать, что чистят их также электричеством.

Кроме электричества, очень много шума.

И такого шума, как в Нью-Йорке, нет нигде в мире. Стесненный Гудзоном и Ист-ривером с одной стороны, ставший на граните острова, то-есть на крепчайшем фундаменте, со стороны другой, Нью-Йорк полез вверх, в десятки этажей, поставив рекорд ста двухэтажным Эмпайэр-Стэйт - Билдингом. Сто два этажа Эмпайэра — это самая высокая точка в мире, построенная человеком, выше Эйфелевой башни и всех антенно-мачт и соборов. Внизу, под этими билдингами, остались улицы, сдвинув шумы домов, как гармошки. На Манхэттэнэ десять авеню (авеню — это порусски перевести — аллея!), идущих вдоль города, и без малого триста стрит (порусски — улица), пересекающих город. На этих десяти аллеях четыре аллеи имеют вторые этажи, по которым ежеминутно мчат электрические поезда, мчат, сотрясая улицы и мозг, с воем и скрежетом. И нет в Нью-Йорке авеню, где не был бы слышен этот скрежет.

Все подземелья Нью-Йорка изрыты складами, собвеями, подездными подземными путями железных дорог, каналами городской пневматической почты, когда почтовые отправления развозятся по Нью-Йорку, по районам с почтамта не людьми, но подземным воздушным конвейером. Громаднейшие в мире нью-йоркские вокзалы врыты в землю. Человек в Нью-Йорке, если он вздумает

(но есть и такие, которых к тому побуждает судьба), — человек может неделями жить в Нью-Йорке, двигаясь по нему из конца в конец, проживая во множестве отзелей, — может неделями не видеть — даже улиц, не только дневного света, — проживая под землей. И ни на секунду не перестает подземелье гудеть, выть, стонать, этим своим истине подземным чревом, выбрасывая шум на улицы.

В одном Нью-Йорке автомобилей больше, чем во всей Германии. Сейчас известно, что расстояние в три авеню и десять стрит пройти по Нью-Йорку скорее, чем проехать на автомобиле. Автомобилей на улице больше, чем пешеходов, в этом городе, автомобиле-непроезжем. Автомобили там идут колоннами, в метре расстояния один от другого и в полуметре расстояния направо и налево. Автомобили больше стоят против сигнальных огней, чем движутся. Но автомобили шумят, как известно, пусть даже они ройссовских качеств. И эти шумы ежесекундно лезут в этажи и в нервы. Автомобили шумят круглые сутки, ночами больше, чем днем, ибо по ночам грузовики развозят все нужное этому миллионному городу.

Нью-Йорк — величайший в мире порт. И с Гудзона, и с Ист-ривер валют гулы и гуды тысяч океанских и десятка тысяч портовых пароходов, пароходишек и катеров.

Каждую минуту прорезывают вой города ни с чем не сравнимые полицейские сирены, сирены пожарных команд и карет скорой помощи. Их сирены сделаны специально для того, чтобы заглушать все остальные шумы и приводить всех в онемение. Они и онемляют.

Я, покинув «Сэнт-Моритц», поселился с моим другом Джо Фриманом на шестнадцатом этаже, на Второй авеню, почти на берегу Ист-ривер. И как в «Сэнт-Моритце», и здесь я не мог спать. Я просыпался ночами и слышал, как воеет радио, как за стеной сопит рефрижератор, вырабатывая лед, как свистит по нашим этажам рабочий элеватор (лифт), развозя по этажам все нужное и развозимое по ночам для уездного города нашего дома. Дом вздрагивал от пролетающей мимо воздушной желез-

ной дороги. По мозгу чертой истерии проносились звуки подземки, проложенной под нашим домом. За окном, почти в уровень моего шестнадцатого этажа, были трубы нью-йоркской электростанции, говорят, самой большой в мире, и чуть ниже моего этажа в утробу этой станции валились вагоны с каменным углем, с грохотом и скрежетом грузоподъемных кранов. В облачные дни трубы электростанции и вершины небоскребов уходили за облака, и облака шли в уровень с крышей нашего дома, все выселяя из реальности в бред воев.

С Джо Фриманом, нью-йоркцем чистокровным, мы проехали на автомобиле всю Америку, от Тихого океана до Атлантического. Джо говорит по-русски, но говорит плохо. Я же на всех языках мира предпочтительно говорю только по-русски. И я стал примечать, что каждый день к вечеру в нашем путешествии через Америку мы оказываемся в наивозможно большем по нашим дорожным местам городе и так устраиваемся, что обязательно у нас если не под нами, или над нами, то рядом с боку, либо поезда воют, либо заводы. Это хоть и не Нью-Йорк, но высыпаться плохо. Тогда я стал поступать по-своему. Едем к вечеру подальше от железной дороги, вижу гостиницу, — стап, ночуем здесь, никуда дальше не еду! — Ночевали так ночь, ночевали другую, я спал отлично. А на третье утро Джо оказался совсем больным. Я его спросил, — что, мол, с тобою!? — Он ответил сиротливо и неохотно:

— Не могу спать, три ночи не сплю, птички мешают.

— Какие птички?

— Вот эти, на дворе, я не знаю их имени.

Названия птички я не добился, в силу плохого совершенства наших словесных общений. Поехали дальше. Увидели на поле стадо кур. Лицо Джо стало сердитым.

— Вот эта птичка, мужчина этих лэди! — сказал Джо, указывая на петуха.

Когда мы под'езжали к Нью-Йорку, после перехода через Америку, — а был это субтропический июнь, и ехали мы с полупленными от зноя носами, тща-

тельно смазанными глицерином, — Джо ликовал в возможности нормально жить.

Я ж очень помню ощущение того заката, когда впереди стали дымы и горбы небоскребов нью-йоркского профиля, когда навстречу пошли шумы и бензины города, я физически ощущал, что в'езжаю в какую-то всемирную керосинку. Ведь если в Конэй-айленд нет океана, хоть он и рядом, то в Нью-Йорке на улицах надо дышать не воздухом, но перегорелым бензином, копотью машин и паровозов.

Ах, эта необыкновенная, механическая, сиротливая нью-йоркская грязь улиц, мусор газет и окурков в бетоне и удушьи бензинового пота! — грязь, теоретизированная одним американским писателем, который говорил мне однажды ночью под мое удивление этими грязями и мусорами, в ночную нашу прогулку, — о том, что мол, де, американцы — индивидуалисты, каждый живет сам по себе и сам за себя отвечает, — поэтому, вы обратили внимание, в квартирах американцев чисто, но их не касаются улицы! — Ах, этот американский индивидуализм!

11.

Но: кесарево — кесареви. Трюизмы бывают истинными очень часто, и трюизм истины, что доллар, только доллар, является хозяином, повелителем, мечтой, усладой американской морали — этот трюизм истины — истинен. И те, которые залезли за заборы долларов, кто имеет «джаб» (работу) или бизнэс (дело), — для тех — стандарты, несмотря на американский индивидуализм.

Это — для тех, которые залезли за заборы доллара.

Европейский стандарт с американским не сравним.

Для залезших за доллары и спрятавших доллары в благодетельность чековой книжки, опершейся на тикер, для всех их в их квартирах обязательны мечты о радио, которое есть страдание, никак не положительное, об электрической кухне и о рефрижераторе. Залезшие за доллар, мужчины и женщины, должны спать в пижамах, утром каждый должен проходить в свою ванную, принимать душ или ванну, меняя ночное белье на дневное, — умывшись

люди уходят на работу и возвращаются после пяти, — мужчины должны менять дневной серый (или малиновый, или желтый) костюм и цветные ботинки на костюм вечерний, более темный, бриться, второй раз принимать ванну, — обедать, амюзментиться и ложиться спать, перед сном принимая ванну и надевая пижаму. Так должно быть. Очень немногие, даже долларствующие, имеют домашнюю прислугу, и дома они едят только брекфест, утренний завтрак лонча (завтрака) около работы и диннеря (обеда) в порядке амюзмента. Работают, конечно, и мужчины, и женщины. Так утром, перед ванной, индивидуалист должен телефонировать в соседнюю лавочку, заказывая нужное ему для брекфеста, которое привозится ему рассыльным. Он должен уходить на работу. На несколько этажей имеется черная уборщица, негритянка, она подмывает комнаты электричеством. Лончит и диннерит индивидуалист в городе, как положено бытом. И разнообразие столовых и ресторанов — невероятно, две из причин коего — алкогольная и национальная.

Разнообразие начинается от дрог-стори, сиречь аптеко-ресторанов, в которых можно лечиться, закусывая, и питаться, излечиваясь. По всем авеню расположены коробки так называемых кафетерий, механических столовых, где вдоль стен, за стеклами, стоят горячие и холодные едова, супы, салаты, мяса, рыбы, раки, закуски, сладости, фрукты, коки-колы, горячее и холодное. Желатель поест идет вдоль этих стен, видит, что ему предлагается, решает о нужном ему. Каждое отдельное кушанье, которое он видит, стоит в автомате. Желатель, имеющий монеты, опускает монеты (разменные кассы, так же автоматические, — тут же), и автомат преподносит ему ту самую порцию, которую он видел. В распоряжении едока мраморный столик, обслуживающий персонал убирает лишь грязную посуду. При этом в большинстве случаев часть посуды — стаканы, тарелки, ложки — тут же выбрасываются в утиль, — штампованные из бумаги тарелки, ложки, стаканы. И так как кафетерия, чистая и всегда белая, где можно пообедать доотказа сытно и вкусно за сорок — пятьдесят центов, в

существе своем описана, то пусть будет речь о штампах. Тарелки, ложки, стаканы, не говоря уже о бумажных салфетках, — штампованы из бумаги, они употребляются всего один раз, и это гигиенично. Форд штампует свои автомобили. Но в порядке от штампованных фордов до тарелок расположены штампованные двери, рамы, кровати, столы, стулья, книжные шкафы, ножи, ложки, вилки, штампованные из железа, бронзы, бумажной массы, различных мастик, — штампованные в массовом порядке, и этот массовый штамп выбрасывает эти вещи на рынок миллионами и дешево, и эти штампованные — не только двери, стулья и заборные решетки, но и ножи для разрезывания книг, и лампы, и рамы для картин, и автомобили — сделаны отлично, изящно и удобно. И именно этот штамп дал возможность Вульворту организовать десятки и двадцатицентовые магазины, очень брехать на кои не следует.

Каждый американец, судя по уверениям реклам, должен иметь свой автомобиль, — на самом деле этого нет, — но тем не менее, не говоря о богатеях, почти всякий мелкий буржуа, многие рабочие, четыре с половиною миллиона фермерских хозяйств (а всего их шесть) имеют свой автомобиль. Автомобиль стандартного американца, залезшего за доллар, управляется самим американцем, джелътмэном иль лэди, и содержится автомобиль за углом в публичном гараже, при чем некоторые гаражи — в Нью-Йорке, в Чикаго, в Детройте — высотой этажей по десяти, где по этажам машины растаскиваются лифтами, — при чем, автомобильные бани, предположим, построены в этих гаражах с наименьшим усовершенствованием, чем ванны для людей.

Дороги в Америке скорее похожи на заводские конвейеры, чем на дороги: конвейером по ним идут автомобили, и за работой на конвейере чувствуют себя на них шоферы. Дороги все в графиках «трафиков» правил движения. Федеральные дороги в иных местах имеют шесть, восемь полотен, то-есть по ним проходит шесть-восемь машин сразу, четыре в одну сторону, четыре в другую. Не на обочинах дорог, и не на столбах, а на самом асфальте написаны белой

краской — графики трафиков — «стап», «тихий ход», «лимит не больше шестидесяти километров», «лимит не меньше сорока километров», «школьная зона», «больничная зона», «через триста футов мост», «через триста футов овраг», «через триста футов гора», «через триста футов поворот», «железнодорожный переезд», — и кроме этих надписей, если дорога, предположим, в четыре полотна, эти четыре полотна разграфлены белыми линиями вдоль дороги для того, чтобы шофера не зевали. Асфальт и гудрон дорог выверен по ватерпасу. Повороты, которые по-английски надписываются «сичие», построены, как строятся трэковые виражи — поворот налево — поднята правая сторона, поворот направо — поднята левая сторона, — когда не требуется менять на поворотах положения руля и нет оснований при быстрой езде слетать с дороги. Впрочем, все ж с дорог летают; в Америке наибольший процент автомобильно-человеческих смертей и увечий происходит не потому, что машины давят пешеходов, но потому, что машины сталкиваются или сваливаются с дорог; машины, которые слетели с дорог, которые разбились, — их не убирают, они валяются по придорожным канавам в дополнение надписей на гудроне и в качестве памятников аварий; в год 1930-й от автомобильных аварий погибло американцев больше, чем в год мировой войны — тех же американцев на войне. На каждые десять-пятнадцать километров по всем американским дорогам, а в иных местах на полкилометра и лишь в пустынях штата Аризона километров на пятьдесят друг от друга, стоят автомобильные станции, бензинные колонки, починочные гаражи, шэлли, ойли, Джeneral Моторс компани, Форд Мотор компани. Дороги заукрашены рекламными плакатами, и за плакатами попрятались отэли. Американец, управляющий машиной, мотора своей машины не знает, да и вообще, кроме руля и тормозов, ничего не знает в машине; хорошо, если он умеет слушать мотор и чувствовать амортизаторы. Американцу предлагается ничего этого не знать: каждый раз, когда он набирает бензин, машина его, в плату бензина, инспектируется, а профилактика, как известно,

очень полезна не только против малярии, но также против разрядки аккумулятора. Когда я менял масло в моторе, — было так раз два, — у меня записывали мой адрес, и я получал недели через полторы от автомобильной станции открытку, напоминавшую, что на моем счетчике было столько-то миль, когда я менял масло, дабы, мол, я не забывал сменить масл во-время, Американец должен уметь лишь одно — вести машину. Это американцы должны уметь, и нынешнее поколение, должно быть, с этим умением прямо рождается: десятилетние мальчишки и девчонки за рулем никак не редкость. Кроме управления машиной, американец должен знать правила езды, точнейшую сигнализацию, ибо он не просто едет по дороге, но соучаствует в конвейере езды. За каждое неисполнение этих конвейерных правил — штраф, но, если с вами случилась авария в поле, за вами приезжает автомобиль-мастерская. Российский шофер, если б он проехал по Нью-Йорку час времени с московскими правилами езды, — он был бы засыпан «тикетами», штрафными квитками, как снегом в метель, — и этого не произошло бы только потому, что его б угробили вместе с его машиной на нью-йоркских улицах в первые 6 пять минут. Но мне однажды угодилось сломать машиной в Нью-Йорке женщине плечо и руку; когда полиция расследовала этот «эксидэнт», мне было сказано:

«— Мистер Пильняк раздавил лэди по всем правилам, виновата в эксидэнте лэди, а поэтому мистер Пильняк может требовать с лэди стоимость разбитого об ее голову фонаря».

Дороги расписаны графиками трафиков и разукрашены памятниками разбитых автомобилей. Дороги загорожены рекламными плакатами, автомобильными станциями, гостиницами автомобильных клубов, туристских и спортивных обществ, отэлами с различными названиями, в роде «Чикэн диннер» — «куриный обед». Все это залито электричеством и спутано телефонами. Дороги освещены по ночам за сотни верст от городов. Машины идут вереницами одна за другой в метре расстояния друг от друга, идут в иных местах со скоростью не меньше восьмидесяти кило-

метров. На иных спинах автомобилей висят плакаты, в роде следующего: — «налетай, малый, разве ты не знаешь, что в аду есть еще место!» — Не только в городах, но и в полях, и в горах — не только надписи на асфальте, но и красные, и зеленые огни, и перчатка полисмэна сигнализируют машинам. Шмелями среди автомобилей, с акробатической ловкостью жужжат мотоциклы дорожной полиции. И американец едет по своим замечательным дорогам поистине в конвейере. Он ничего не видит, кроме кузова идущей впереди машины и крыльев машин, идущих справа и слева. Он должен следить за каждым своим жестом, чтобы он вел машину правильно, чтоб правильно шла его машина, — иначе — авария, смерть, — смерти в большем количестве, чем в мировую войну. Он должен следить за каждым сигналом на дороге. Он должен сигнализировать каждое свое движение, — например, «замедляю ход и хочу перейти к обочине», ибо у него прокол, — иначе на него налетят машины, идущие сзади его и сбоку. Машины и дороги — душат перегаром бензина. И индивидуалист, вылезший из конвейера дорог, увидав иной раз рекламу вместо природы, обалдело и блаженно стирает со лба пот конвейерного напряжения. Дороги, эти конвейеры, пересекли всю Америку вдоль, поперек, поперековдоль, вдоллепоперек — железом, железо-бетоном и всякими мостами перекинулись через реки, через Колорадо, Миссури, Миссисипи, Потомак, Гудзон, — дамбами прошли по болотам и озерам, — тоннелями врылись в горы. И дороги там не имеют имен, но имеют номера, 66-я идет от Нью-Йорка, через Чикаго, до Калифорнии, 11-я от Бостона, через Вашингтон, до Нью-Орлиенса. Карты дорог раздаются бесплатно на каждой автомобильной станции и в каждом придорожном отэле. Маяковский в своих поэмах поражался Бруклинским мостом через Ист-ривер. Сейчас построены под Ист-ривер и под Гудзоном тоннели, чтобы разгрузить автомобильное движение. По осени 1931 года открыт мост через Гудзон, соединяющий штат Нью-Йорк со штатом Нью-Джерси: в первый день по этому мосту проследовали — около трид-

цати тысяч автомобилей, семь человек пешеходов и одна лошадь с коляской.

Если 6 автомобили в Америке были социализованы, то на каждого американца пришлось бы по сидению в автомобиле, и все американское население в одно необыкновенное утро могло бы на автомобиле ехать. Слово поворот, угол, по-американски изображается буквами «Curve», по-русски прочесть — «курве», по-английски произносится «кэрв»; эс-эсеровский рабочий, практиковавшийся у Форда, естественно, обзавелся автомобилем, обучался управлять им и отписывал в письмах к жене, московской работнице, о своих успехах и неудачах; однажды он попал впросак и в руки полисмэну, заехав куда не надо на каком-то повороте; он отписал жене и об этом, писал:

«... а еще у меня был «эксидант», заврался на «curve» и получил «тикет» от полисмэна на трешницу...»

От жены из Москвы последовал строгий ответ: — ах, такой-рассякой, — разведусь!

Однажды в Калифорнии, в горах, я ехал с приятелями (на автомобиле, конечно), приятели затеяли спор о том, что правильно иль неправильно поступает штатное начальство, организовав работы для безработных, а именно постройку новой дороги в горах. Я спросил, где идут работы? Мне показали на дорогу вправо, уходящую в горы. Я попросил нашу драйвершу (шоферицу, хозяйку машины и жену писателя) свернуть к работам, чтобы посмотреть безработных. Направо и налево вдоль строящегося асфальта на километр стояли автомобили. Я спросил, — что за машины?

— «А это приехали безработные на работу», — ответили мне. Эх, подумаешь, какой в Америке стандарт, — безработные на автомобилях! — но дело-то в том, что автомобиль в Америке перестал быть предметом роскоши, став первостепенной необходимостью, — машины старых марок стоят там двадцать пять — тридцать долларов, — рабочему они заменяют ноги, и безработный расстается с машиной в очередь последнюю, отрезывая от себя возможность передвигаться.

В горах Аризоны, в местах Майн-Рида и Фенимора Купера, под скалами, работали два года тому назад, а теперь молчат по воле кризиса — заводы золотых приисков. Рабочие с гор и пустынь Аризоны, из мест «дикого» Запада и индейских традиций, раз'езжаются на своих двадцатирублевых фордишках. Сзади автомобиля привязана повозка. И автомобили и повозки набиты подушками, кастрюлями, радио-ящиками, детишками, нищетой. Таких повозок ползет множество. Мы спустились с гор Аризона к штату Нью-Мексико, запаздывали, спешили, было часов десять ночи (и было это во время нашего похода от океана к океану). На дороге фары нашего автомобиля осветили стоящий автомобиль, мужчину, рожущегося в моторе, женщину, лежащую сзади машины на асфальте, кудрявые головки троих детишек, за стеклами кузова. Мы остановили нашу машину, чтобы узнать, в чем дело и, быть может, помочь. Человек, рожущийся в моторе, сказал о себе:

— «безработный едет в Средний Запад, — непонятно, что случилось, с мотором, — бензин есть, — а жена — у жены третий припадок эпилепсии за день, иссякли все деньги, и жена, и дети ничего не ели».

Мужчина был академичен. Детишки, несмотря на час, когда им пора было бы спать, весело болтали детскую ерунду про маму. Я смущенно дал рабочему два доллара. Джо укорил меня в скупости. Мы обещали из первого же гаража пригласить механика.

Мы приехали в городишко и первым делом поехали в гараж. Человек из гаража не дал нам дорассказать о несчастье, которое мы встретили на дороге.

— Около моста? — милях в семи отсюда? — спросил он. — Так это наш Джон, наш нищий. — Ах, комик! — Он каждые два раза в неделю ездит на такую работу. Вы уже восьмой сегодня, который просит за него. Ах, юморист! — Сегодня он опять работает, значит, мне не дадут спать до часа ночи!

12.

Америка — страна рекордов и техники. Был я в Среднем Западе на фермах. Был на молочной ферме. И — в коровьих квартирах на этих фермах коро-

вам играет радио, чтобы коровы больше давали молока от успокоенных музыкою нервов. К каждой корове проведен свой собственный водопровод, чтобы коровы не питались из общей миски. Доят коров электричеством по конвейеру. Корова, коровы выходят на некоторую карусель размером в хороший ипподром, корова встает в стойлице. Карусель вращается по солнцу. Корова вместе со стойлом сдвинулась на размер стойла налево. В соседнее стойло входит вторая корова, а первой корове в это время душ льет мыльную воду под хвост, под живот, на вымя. Карусель передвинулась еще на стойло, корову поливает чистая вода, смывая мыло. Карусель передвинулась еще на стойло, корову под хвостом и в вымени сушит теплый воздух. Тогда в коровьи соски вставляется электрическая доилка. Когда корова привозится каруселью к первобытному своему месту, она подоена. Она подоена без прикосновения человеческих рук. Электрическая доилка гонит молоко по хитроумным трубкам, которые показывают химический состав молока, его водянистость, казеинность и жирность, которые стерилизуют молоко и разливают, герметически закупоривают его по бутылочкам, укладывая их в ящики.

Эти ящики везутся рефрижераторными автомобилями и поездами в города, к потребителю, где молоко прямо из коровьего вымени, без прикосновения человеческих рук, но стерилизованное, попадает в рот желающего попить молока.

Это — рекорд. Но был я в том же Среднем Западе и просто на фермах, где коровы доятся мужчиною-фермером при помощи собственной его пятерни, не чище, чем нашими рязанскими бабочками, а проживают коровы в черных сараях под черепицей в традициях рязанских единоличных коров. И в том же Среднем Западе есть фермы, которые брошены фермерами волей кризиса и голода.

В том же Среднем Западе находится город Чикаго, а в городе бойни. О чикагских бойнях написано множество. О чикагских бойнях, никак не отвлекаясь от темы, следует рассказать, что на них не механизировано только одно — предательство: на этих бойнях есть не механизированные предатели — преда-

тель-козел, предатель-боров, предатель-бык. Бойни вкопались глубоко в землю, там пахнет кровью миллионов скотин, там убитых. Гурты овец, свиней, коров, сброшенные поездами, в подземелье с тем, чтобы через несколько часов в качестве филэ, крайних мест, груденок-колбас, консервов поехать в рефрижераторах по стране, — гурты в подземельях охватываются смертным ужасом. К обессиленным в смертной тоске выходит тогда спокойный боров (иль козел, иль бык), боров ласково толкает свиней, успокаивает и ведет за собою, успокоенных. Свиньи идут за ним, боров ведет их в узкий лабиринт коридора. В темном месте в коридоре, где свиньи идут гуськом одна за другою, боров вдруг отскакивает в сторону, исчезает, — но на свинью, на свиней, идущих за ним, набрасываются петли, и свиньи вылетают на механических канатах на конвейер, в смерть. А боров в спокойствии идет в новый загон, чтобы успокоить новый гурт!

Эта уже не американская тема, — иль американская!? — но если вернуться к американскому молоку, то молоко погало в рот желателя попить молока прямо из коровьего вымени.

13.

Все это, и молоко, и свиньи, и радио-принадлежности, — все это для тех, кто залез за заборы доллара.

Ах доллар! — ох, американский индивидуализм! — эх, эти миллионы, которых поддувают в Конэй-айленд! — ну, Нью-Йорк! —

Впрочем, Нью-Йорк фактически на один этаж ниже, чем это указано цифрами: ни в одном нью-йоркском доме нет тринадцатого этажа, нет тринадцатой квартиры, нет тринадцатой комнаты. С крыш полунебоскребов я видел небоскреб Вулворта, пятый нью-йоркский по высоте, — того самого Вулворта, который по всей стране раскинул десятки- и двадцатипятитысячные магазины. В этих магазинах любая вещь стоит десять или двадцать центов, — стандарт американского индивидуализма. Десять центов ложка, записная книжка, носовой платок, чулок, ручка, чашка, стакан, зубная щетка,

прочая, прочая, прочая. И: механический гадальный аппарат — десять центов! — который предсказывает будущее, построенный наподобие перронных автоматов. Этакие ж автоматы торгуют папиросами, спичками, почтовыми марками, шоколадом, мятными конфетами, чуинг-гомьом (сколько его, этого чуинг-гом'а, сиречь жевательной резинки, пережевывают американцы, в подземельях собеев и на заводах некурящего Форда!), и прочая прочая, прочая порядка американского индивидуализма. Механический же гадавательный предсказатель будущего, подпертый отсутствием тринадцатых этажей, повторил мне мою американскую подружку, полужнаменитую актрису, которая каждые две недели ходила завтракать в цыганский ресторан на Пятуо авеню, где в плату лонча включалось цыганское гаданье о будущем!.. —

И все это, механическое и цыганское гаданье, отсутствие тринадцатых этажей, все это упирается в:

— больше ешьте! больше пейте! больше! больше! больше! слепните от рекламы! задыхайтесь бензином! глохните ревом города! давитесь автомобилями и радио! —

Когда можно лирически рассуждать, что город вместе с людьми сошел с ума, стал на дыбы, чтобы улечь в никуда и в нечеловечность, спутав всяческие перспективы.

14.

И все у американцев — спорт. При этом понятия — спорт, рекорд, о-кэй — понятия равнозначные. Костюмы у американцев — спорт (и рекорд, и о-кэй!). Автомобили у американцев — о-кэй, спорт. На каждом пустыре, в Нью-Йорке, и во всей Америке — гольф-площадки, размером в пинг-понг, — спорт, равно как и бокс, и теннис, и футбол о-кэй, рекорды. В Чикаго, на крыше небоскреба, на мачте провисел человек целый месяц, на мачте пил, ел, спал, жил, — спорт, рекорд. В Чикаго же, в некоем дансинге, со дня открытия его, две тысячи часов непрерывно танцевали — спорт, рекорд (и публицити, конечно), о-кэй. Два паренька оттащили от своего дома автомобиль

на десять шагов, без бензина, и проехали на нем, не купив ни капли бензина, выпрашивая у встречных по литрику, две тысячи миль, — спорт, рекорд, писали в газетах. Линдберг сел на аэроплан, никому не сказавшись, и перелетел через океан, — спорт. Его, Линдберга, коллега, позавидовав Линдбергу, влез в аэроплан и мотался на нем три недели над Нью-Йорком, пил там, ел, и ему туда слету переливали бензин и масло, — спорт и рекорд, даже мировой, — о-кэй, газеты с ума сходили. Обувь — спорт. Поддуться на Конэй-айленде — спорт. Замечательно спортивная страна! — все — спорт, даже бандитизм.

И — очень мною национальных флагов! — в Калифорнии, в Нью-Йорке, в Сантафе, в Нью-Орлеане, в Бюффало, — на поездах, на пароходах, на улицах, в ресторанах на оберточной бумаге, на стеклах магазинов, в клубах, посреди полей, на вышках гор, — флаги, флаги и флаги! — флаги бесценно, точно сплошной табельный день скачущего штандарта и стандарта. Флаги даже на кладбищах!

Так много национальных флагов, что начинает заползать раздумье: не национальными ли флагами заменена нация? — Ведь можно построить парадокс и утверждать, что в Америке нет американцев. Следовало бы коренными американцами считать индейцев, — но они — иль вырезаны саксами, иль ассимилированы испанцами, и: индейцы, проживающие в U.S.A., в американских гражданах — не состоят! — американские индейцы даже не граждане американской республики Соединенных Штатов! Англичане — родоначальники Америки, — но Англию в Америке наиболее не любят, со дней войны за освобождение. Приезжает в Париж, в Москву этаким человек, за пять метров видно — американец, человек неловкий, смущающийся и от смущения чуть-чуть угловатый, человек добродушный и пахнет, кроме французских духов, долларами, — так вот разговоритесь с ним, — не Котофон ли он?! Город Нью-Орлеан — легкий французский город, его улицы названы генералами французской революции, и на этих улицах французская речь. Итальянцев в Нью-Йорке больше, чем в Риме, и самая большая итальянская газета в мире

выходит не в Риме, но в Нью-Йорке. Штат Нью-Мексико своим названием говорит, что это штат мексиканский, в этом штате живут католики, мексиканцы и индейцы, и там говорят по-испански. Писатель Теодор Драйзер — американский классик — говаривал мне, что себя он считает немцем. В самые первые мои американские дни был я несколько часов сыном святого Патрика. Есть у ирландцев такой просвятитель, коего ирландцы считают детьми. В этот день по Пятой авеню ирландская мелкая буржуазия ходила с флагами и песнями, а вечером буржуазия крупная — Патрикеры дети, капиталисты, адвокаты, инженеры, ксендзы, судьи, прокуроры, — обедала. Оказался случайно и я на конце этого обеда. Один миллионер, забыл фамилию, тряс меня за плечи, одновременно за плечи мои держась, силится и никак не мог собрать свои зрачки на моих очках и соворил:

— Ты Пильняк, мне говорили, — у тебя — голова!.. У тебя голова, а у меня миллионы, — давай вместе!

Двоегражданство ж американцев имеет ряд последствий. В Нью-Йорке и во всей Америке вы найдете рестораны французские, испанские, китайские, японские, английские, немецкие, итальянские, польские русские, — но американского ресторана там не найдешь. За американским рестораном надо ехать в Токио, в Шанхай, в Париж (к Ритцу), в Лондон (к Ритцу) и в прочие ритцовые столицы, и даже в бесвкусицу московского Гранд-отэла, бывшей Большой Московской. Разве лишь кафетерии, механическая вежливость, — есть американское изобретение, — но грэйп-фрут американцы едят по-английски. Американцы придумали мороженое «эскимопай». Но нью-йоркцы решают перед обедом о том-де, что следует сегодня поесть французской спаржи, а завтра протравить себя испанскими специями и токилло, мексиканской водкой, делаемой не то из кактусового, не то из агавозого сока, самой жестокой в мире. Двоегражданство помогает, конечно, американскому ниществу. На фордовских заводах ставят рядом разнонациональных рабочих, чтобы меньше разговаривали один с другим. Наплевать мне на итальянца, раз я ирландец! — Аме-

риканское двоегражданство надо помнить всегда, когда речь идет о быте,— и ни в коей мере не стоит отдавать предпочтение англичанам. Американская национальность возникает тогда, когда речь заходит о долларе, ибо —

— американский флаг!

И все — доллар! и все — в долларе! Человек окончил университет и человек, читающий в газетах только об убийствах, один зарабатывает — университетский человек — доллар, а второй в это же время — пять долларов: уважаем тот, кто зарабатывает пять. Человек окончил университет, но другой бандит, — второй получает больше, и он уважаемее. Люди ученые, люди, занимающиеся гуманитарными делами, даже чиновники, — люди второго сорта. Если не можешь быть мэй-монейщика — ну, так иди учиться. Хороший игрок в гольф — куда до него хорошему ученому! — Студентов следует спрашивать не о том, какого они факультета, но какой команды — футбольной, баскетбольной или хоккейной? — Заниматься теориями — ерунда, если их нельзя сразу же обернуть в доллары.

И — патриоты! — в восторге от самих себя, в восторге от своей страны (пусть у половины американцев даже отцы не родились в Америке)! — Америка — вершина человечества и цивилизации, венец творения! — и американцы — никак не космополиты: — что такое Европа или Азия!? — Афины, это где — в Мексике? — Москва, — ах, да, это, кажется, в штате Кентукки! — Одиссей Вольтер, — это бондарь со второй улицы? — но вообще это не важно, Америка никем, ничем и нигде не превзойдена и не может быть превзойдена! — впрочем, если европейцы там что-то придумывают, так это только для Америки! — все остальное — пустяки! — наш национальный флаг — даже на кладбищах!

Впрочем, если послушать иных американских граждан, оказывается, что все, написанное выше, никакого отношения к Америке не имеет. Даже Нью-Йорк, оказывается, никакого отношения к Америке не имеет. Америку, оказывается, надо искать в Среднем Западе. Оказывается, Америка, как была сто лет тому

назад, так и теперь живет в демократии, в пуританстве, в свободе слова, совести и вероисповеданий, в страшной добродетели, трудолюбии и целомудрии. По праздникам ездит в церковь, при чем некоторые церкви построены так универсально, во имя свободы вероисповедания, что в них помещены подотделы — лютеранский, католический, методистский, еврейский и прочие. По понедельникам, дескать, Америка стирает белье. Живет в страшной нравственности полов и охраняет эту нравственность такими, например, законами, по которым не родственники и не муж и жена не могут вместе переехать из штата Нью-Йорк в штат Нью-Джерси, то-есть переплыть через Гудзон, и должны быть арестованы за прелюбодеяние, — а муж и жена имеют строгое расписание своих семейных обязанностей, разрестрынных на год вперед. Населяют Америку, дескать, демократы, когда фордовский рабочий может похлопать Форда по плечу и сказать: — «Хэлло, Генри!» — (что касается Форда, то это самый недоступный в Америке человек, живущий в крепости, почти никого не принимающий, но, действительно, раз в году появляющийся среди рабочих, когда его соратники должны кричать ему — «хэлло, Генри!»). Не важно, дескать, — скажут вам, — чем ты зарабатываешь деньги, — и вечером на скамеечке около дома, в клубе или в ресторане все равны, все кланяются друг другу и — в провинции — жена бондаря знает, какая курица сегодня на обеде у жены шерифа.

И — действительно, свидетельствую — все это имеет основание до сегодняшних дней, не только для Среднего Запада даже, но даже для Нью-Йорка. Прошлый американский век пуританизма то там, то тут вдруг выползает из сна времени и приводит в недоумение, ибо с автомобиля современных американских скоростей вдруг попадаешь в кованную железом медленность пионерских фур. Это он путает очень многим по очень многому количеству пунктов мозга. Это он зажигает свечи и поручает интеллигентам строить коттеджи в стилях избушек дровосека. Это он из городов по деревням, а не наоборот, посылает крестьянские платя. — Это он свел меня

с некоей женщиной в бронкском парке, в дожде —

15.

Это он свел меня с моими соотечественниками-американцами и с Эйми Мак-Ферсон, в Лос-Анжелесе, в Калифорнии.

Я прочитал:

«Песнь 91.

«Любодейца в Содоме,
«Живет она в Вавилоне;
«Сидит она на престоле;
«У ней чаша в руках;
«Полна мерзости в устах.
«Она сидит, укоряет,
«Избивать всех желает,
«Святой боже, святой наш,
«Отомсти ты ей при нас,
«Чтобы очи наши видели,
«Чего мы ожидали:
«Чашу гнева ты излей,
«С лица земли ты избей:
«К пропасти ее отведи».

И так далее.

«Богу слава и держава,
«Во веки веков. Аминь!»

Песнь эту я прочитал в книге, которая называется: «Сионский песенник столетнего периода. Христианской Религии Молокан Духовных Прыгунов в Америке. Первое издание в Лос-Анжелесе 1930 года». Издана книжка отлично, в кожаном переплете. В отделе «от издания» я узнал:

«Приступив к первому изданию Сионского песенника, объясняется. Содержание песен и напевы разделялись на унывные, торжественные и средние. Будучи пропеваемы соответственно обстоятельствам жизни: при страдании, печальном положении, с коленопреклонением, воздетыми руками и слезным плачем; а при благополучии — радостном настроении торжественные, с духовной пляской попросту: бесформенным прыганием. Такие песнопения дают подкрепления плачущим и утешения торжествующим. Когда в собрании плачут, молятся, благодарят, славят своего господя, песнопения с прославлением святых, крайняя степень восторженного возбуждения, доходящая до иступления, до самозабвения, вызывает духовный пляс».

Я был у этих моих соотечественников-американцев.

Сумерки по субтропическим местам переходят в ночь стремительно. Надо было проехать центром Лос-Анжелеса, переехать через мосты железнодорожных путей, попутаться в переулках. И — Расея мать! — за палисадами белые избышки типа кавказских, кавказско-русских построек. На перекрестке — православная, прости, господи, лужа, как у Гоголя, — но над лужей американский фонарь. У двух женщин под фонарем, очень дородных, в белых, похожих на ночные рубашки, платьях и в белых платочках спросили по-русски, — где находится молитвенный дом? — Ответили обе сразу, приветливо, крестьянски-русски напевно, — объяснили. Поровнялся с нами форд серии Т, высокоосный, остановился, — человек с бородой, как лес, в белой русской рубашке, спросил:

— А вы кто такие, братие, будете?

Объяснили, сказали, что-мол, вот один такой приехал недавно из Москвы, хочет побывать на молении. Форд поехал перед нами, показал дорогу. Я ехал за этим фордом и размышлял о том, что — надо ж было отмахать пол земного шара, чтобы вот повидаться с соотечественниками и повидать прыгуново! — но я ж помнил о том, что в Берлине, в американском консульстве, мне предлагалось верить в бога, — и прыгунов я хотел повидать не только потому, что они русские, но и потому, что они — американцы. Подъехали к зданию, похожему на сельскую русскую школу, поднялись на терраску, вошли в большую, человек на полтора, комнату, освещенную электричеством. Слева в углу стоял стол, покрытый белой скатертью, на нем лежала библия. От стола перпендикулярно друг к другу шли ряды скамей, — на скамьях от стола вглубь комнаты сидели женщины, на скамьях от стола к двери сидели мужчины. И мужчины, и женщины были в белом. Волосы женщин были повязаны белыми платочками. Мужчины были очень бородаты. Бородное зрелище в нынешней Америке — дело чудное. Моложе тридцати пяти лет ни мужчин, ни женщин не было. Женщины на подбор дородствовали. Александр Браиловский, который привел нас, научил, как надо кланяться. Мы поклонились, нам ответили. Я с наибольшим вниманием рассматривал электри-

чество: прыгуны, как известно, удовлетворяют американским божественным требованиям, и американские власти поставили прыгунам одно лишь божественное условие — не тушить во время радений света, радеть при полном электричестве,

За столом, за скатертью сидели старейшины — плотноплечие старичищи — и вели духовную беседу, обращаясь с вопросами и за словом к председательствующему.

— А вот, Иван свет Карпович, видел я нынче сон, еду я на каре, припарковался по всем правилам около своей плантации, и вдруг вижу, идет моя Марфа с колерным, спикают, а в руках у негра факел, и негр смотрит строго, как я припарковался.

На русский язык перевести эту фразу надо со следующими поправками: кара—кар-автомобиль, парковаться—ставить машину в указанном месте, по правилам, плантация — поле, колерный — негр, спикают — говорят. Говорил старичище елейно, пошамкивая, напевно.

Иван Карпович молвил, расправив бороду и проникновенно:

— Мда, этта, конечно, — сон... В священном писании сказано... мда, этта, колерный, конечно, диавол-вельзевул... А факел у него в руке, мда...

Одна из баб, сидевшая на женской скамье, подперла щеку и сокрушенно вставила слово:

— И хвакел, заметьте, горит красным полымем, будто ойлевым-нехфтяной, а я спикаю, а что спикаю — не помню...

Иван Карпович молвил проникновенно:

— Не помнишь, сестра, про што спикала?.. Мда, — а я тебе об'являю. Нес этот вельзевул этот факел, чтобы омрачить глаза духовных христиан. Попрыгать тебе надо, Марфа, как следует прыгать, мда...

Другой старик завел другую духовную речь:

— А я хотел побеседовать, — кредитовался у меня на десять долларов один шабёр, имя его умолчим в виду его духовного братства, надо ему прикупить силосу, обещал отдать на твоём молении и не отдал по сие время... духовно он поступил ай нет?

Иван Карпович молвил, проникновенно

но попрежнему и опять поправив бороду:

— Мда, этта, конечно... в священном писании сказано, мда...

Этак духовно поговорили еще тем на пять. Подобрался народ. Каждый проходящий кланялся поясным поклоном. Когда духовные темы иссякли, а народ подошел, Иван Карпович прочитал страничку из священного писания, на славянском языке, — этакую страничку белиберды, вырвавшуюся из средневековья во американские утверждения, что Америка, как была сто лет тому назад пуританской страной, так и существует поныне, стирая белье по понедельникам, веруя в любого бога и пребывая в целомудрии, когда из штата Нью-Йорк с не-женой нельзя проехать в штат Нью-Джерси. Читал Иван Карпович ритмично, почему-то задыхаясь, почему-то волнуясь. И, когда он кончил читать, я увидел, что собравшиеся уже экзальтированы.

— Попоем, братие, — крикнул Иван Карпович.

Отодвинули стол и скамьи, люди стали, мужчины и женщины, двумя группами, под прямым углом друг к другу, запели:

«Мир вам, братцы и сестрицы,

Вы зачем сюда пришли.

Дух, дух, дух,

Вы зачем сюда пришли!..

Вы зачем сюда пришли,

Много казни принесли.

Дух, дух, дух,

Много казни принесли!..

Много казни принесли,

Вы какие труды несли.

Дух, дух, дух,

Вы какие труды несли!..

Вы какие труды несли,

Вы трудились ли о том,

Сознаете ли дух отцам».

Песнь очень длинна, выкидываю три четверти и привожу конец в сокращении для иллюстрации глупостей:

«Мы не знаем, как нам быть,

На каком судне нам плыть,

А мы сядем на корабль,

Каждый будем богу раб,

А наш господь есть один,

Ему славу воздадим,

Богу слава и держава,

Во веки веков. Аминь».

Надо отдать справедливость — пели иступленно, восторженно, изуверски. Сумбур совершенно бессмысленных словесных наборов прыгуны пели, начав замедленными ритмами и ритмы затем все время ускоряя. К концу песни — была уже не песнь, но истерический, гипнотический, замкнутый круг ритмов, вой, когда непонятно было, как у этих людей хватает дыхания для этих, замыкающихся в истерию и в гипноз, все убыстряющихся, все нарастающих в иступлении слов.

Первым запрыгал тот самый, который духовно толковал о десяти долларах, ему не отданных во-время. Это было просто страшно, и это вываливалось из ритма, и это

— бородатый человек лет пятидесяти, широкоплечий мужик, чернобородый и черноглазый, в кованных сапогах, исказив лицо в бессмыслицу, вдруг запрыгал, — прыгал он очень высоко и, казалось, прыгал затем, чтобы проломить пол, так остервенело он долбил его своими подковами сапог, — он приседал на корточки, откидывал руки назад, взлетал в воздух и свирепо подставлял каблуки полу, чтобы долбить елико возможно ими пол, он делал это все быстрее и быстрее, — он стал прыгать против одного из старцев, он закричал, переплетая свои откровения святого духа, сошедшего на него, со словами песни:

— Дух, дух, дух! — а кто взял десять долларов — не скажу! не скажу! — а мы сядем на корабль! — дух, дух, дух! не скажу!..

Он упал на минуту, повалился в бесилы и поднялся бледным, ничего не понимающим, стал опять на свое место, продолжал петь. В это время прыгали двое других мужчин и одна женщина. У женщины сбился с головы платок, рассыпались волосы, ее белая рубашка-юбка взбилась выше колен.

Действительно, белье стиралось по понедельникам! — Надо ж было проехать ровно половину земного шара, когда я к Москве был вверх ногами, — чтобы увидеть этакий бред, благословенный американским пуританизмом, что ли?! — Видеть прыгающих людей было попросту стыдно.

Средневековье неистовствовало, и его стыдно было видеть потому, что прыга-

ли, искажая лица и тела, — люди. Когда я выходил из моленной, вслед мне вышел один из молящихся. По-домашнему просто, он спросил меня, — «вы будете такой-то?» — я ответил. Собеседник сказал:

— Читал о вас в газетках. Ну, как на родине? — разрешите мне вас после моления попросить ко мне попить чайку, — не откажите, расскажите про СССР. Мы посылали в Москву к Михаилу Ивановичу Калинин у ходоков, — собирались вернуться. Только вот — попрыгать, — от этого мы не откажемся.

Я ходил чай пить к этому человеку. Канонный русский мужик, канонный кулацкий быт. Отличие лишь в том, что рядом с коровой на дворе, вместо лошади, стоит фورد, да вместо русского «нет», он говорит английское «ноу». Приехали прыгуны в Америку лет двадцать — двадцать пять тому назад, поселились на пустых местах. Лос-Анжелес тогда сам был немного больше, чем их, молоканская деревня. Занимались сельским хозяйством. Сельское хозяйство сейчас на втором плане, главным источником существования сейчас является ветошничество, собиранье мусора и Лос-Анжелесе, дело, которое молокане монополизировали. Молокане ныне — совершенно естественно — американцы, граждане страны пуритан.

И там же в Лос-Анжелесе — городе Ангела — видел я Эйми Ферсон. Надо мне было побывать на вокзале, встретить Ала Люэна, моего супервайзера. Приехали на вокзал и: — толпища народа, кинодеи на заборах, сумятица, американские флаги. Цветы, автомобили, пренарядная толпа и, предпочтительно, молодежь, люди до тридцати лет. Приезжала Эйми Мак-Ферсон.

— Что такое, — спрашиваю, — за Эйми Мак-Ферсон? — кино-звезда?

— Нет, — рассердились, — святая!

Приезжала калифорнийская святая. Устроился с кинодеями на крыше автомобиля, чтобы рассмотреть. Святая ездила путешествовать по Европе. В Америке миллиардеры могут заказывать себе отдельные вагоны, — так вот на пороге такого вагона появилась женщина в наимоднейшем платье, возраста кото-

рой — из-за наличия наличных красок — разобрать нельзя, не то семнадцать, не то тридцать семь, очень красивая. Женщину стали осыпать цветами. Заработали кинодеи. Из-за нее и из-за цветов высунулся мужчина, — сразу видно — сутенер и любовник. Женщина изрекла, толпа перечликала ее слова до крыши моего пребывания:

— Будьте вечно молоды, мои христиане!

За женщиной, за сутенером из вагона полезли чемоданы и круглые для шляп картонки. Ройс усадил женщину и сутенера в свое покойствие. Рассмотрел ее из близости: красивая женщина, уже потрепанная, раскрашенная, как актеры в гриме. Толпа неистовствует, всем весело, и все рады. Штандарт скачет.

Добивался толку, — в чем дело!? — и толка добиться не мог. Ездил на моление в честь приезда Эмми Мак-Ферсон. Так — скажем — храм построен в стиле эллинских храмов, — этаким эллинизм по американским понятиям! — Все завалено цветами. Не знаю, как правильнее выразиться, — алтарь или эстрада: на эсталтраду вышла эта самая Эйми Мак-Ферсон, преразряженная, и велела допрже всего всем перецеловаться. Затем поехали. Затем Эйми стала рассказывать о своей поездке по Европе, о боге, о парижских модах и ритцево-божественных нравах. Так — скажем — храм набит был людьми в возрасте от двадцати пяти лет до тридцати пяти: клерки, магазинные продавцы и продавщицы, домашняя прислуга. Что такое!? — Игорь Северянин в юбке, что ли!? — Эта женщина, спрятавшись однажды у любовника, объявила себя украденной, — дескать, три дня проводила в пустыне, — как сообщалось в газетах, — и спаслась только по воле Христа. Эта женщина доказывает, что самое главное добро заключается в красоте, которую категорически требовал Иисус Христос, поэтому мужчины должны как следует причесываться, носить наимоднейшие костюмы и галстуки, — женщины ж никак не могут отставать от моды и обязательно для-ради Христа должны краситься, пудриться, укорачивать или удлинять юбки по мере сил и моды. Эта женщина доказывает, что все должны как можно больше целоваться

и обниматься во имя Христа, поелику это красиво. У этой женщины легализованный любовник, под-Христос, что ли? — И все! Над храмом — американский флаг!

О госпоже Мак-Ферсон рассказано в дополнение к молоканам, духовным прыгунам.

В те же самые дни однажды шел я по набережной Санта-Моника, под пальмами.

— Борис Андреевич!

Оглядываюсь: — Перетц Гиришбейн.

С этим чудесным человеком, еврейским писателем, впервые я встретился в Японии, в свое время я написал о нем рассказ, который называется «Олений город Нара». Тогда, в первую мою встречу, меня поразило в этом человеке то, что он все время путешествует, — он объездил весь земной шар, Африку, Австралию, Азию, Америку. Тогда, до Японии, он путешествовал уже целый год, и мы уславливались встретиться через два года в Москве. Он должен был из Японии ехать в Китай, в Индию, в Палестину и — в Москву. Я спросил его тогда, почему он так много ездит, почему у него такая воля видеть? — он ответил мне, что он ездит не потому, что он хочет видеть, но потому, что он не хочет видеть виденного. Поздоровались, пошли ко мне, удивлялись необычайностям наших встреч. А вечером ездили к прыгунской молодежи уже американской генерации.

И это было уже совсем отличное зрелище от того, что я видел, когда люди прыгали, — и было это не в моленном доме, а в школе. На скамьях сидели юноши и девушки, одетые и причесанные американцами. Речь была предпочтительно английской. Бородатые отцы на задних скамейках выглядывали недоразумением. Юноша в спортивном костюме произнес речь на английском языке, изредка вставляя в нее славянско-евангельские тексты. Старец говорил поучения, в роде тех духовных собеседований, которые рассказаны, — так его речь у молодежи вызывала смешки, особенно в особенно глупых местах. Девушка, опять на английском языке, прочитала по бумажке, страшно волнуясь, классное сочинение про прыгунского бога. Ни о каком плясе и помину не было, —

так, диспут в колледже при родителях. Этак просидели часа полтора, и затем ребятишки валом и отдохновенно повалялись из класса. Вторая генерация прыгунов — это уже американцы, плохо говорящие по-русски, спортсмены и люди, ходящие в школы и колледжи.

Пишется сейчас это во разрушение моих же утверждений, что в Америке нет американцев, — есть, оказывается: это те, кто собраны под американскими флагами. Я принял виденное у прыгунской молодежи к сведению, — Джо этому порадовался, — и вдруг мы с Джо увидели, что очень опечален Перетц Гиршбейн, в большей степени, чем прыгунские старцы.

И по дороге домой, и дома заполночь у нас был разговор — о следующем. Джо говорил, что второе поколение евреев в Америке — уже не евреи, но американцы, что еврейские газеты умирают с каждым днем, что еврейские писатели в Америке, в этой богатейшей стране, вынуждены издавать свои книги в Польше. Джо и Перетц — писатели, оба евреи, — и Джо считал правильным, что он пишет на английском языке. Джо утверждал, что еврейский вопрос существует только там, где есть гонение на евреев, когда этого гонения нет, евреи перестают быть евреями, становясь американцами, — и не случайно, поэтому, еврейские издательства, которые издают еврейских писателей, и Перетца в частности, находятся в Польше, одной из отсталейших стран. Джо считал не только закономерным, но и положительным ассимиляцию евреев, и он утверждал, что ему не важно — элин иль иудей, но важен трудящийся человек, и он утверждал, что еврейский вопрос есть пережиток средневековья, он должен исчезнуть, и нет ничего страшного в том, что, мол, вот — Пильняк, немец по происхождению, состоит в русских писателях, и очень хорошо, что прыгунские дети не прыгают и чувствуют себя американцами, интересуясь комсомолом. Перетц не мог отрицать фактов, Перетц очень нервничал. Он говорил о прекрасной истории еврейского народа и недоумевал, почему следует сохранять историю английского или русского народа, и недоумевал, почему следует сохранять историю английского или рус-

ского языков, и надо уничтожить язык еврейский. И Джо, и Перетц перебирали судьбы еврейских колоний на земном шаре. Вдруг наново осветился передо мною образ Перетца, этого трагического человека и писателя. Я вспомнил мой киотский с ним разговор, когда он мне ответил, что он ездит по миру не для того, чтобы видеть, но чтобы не видеть виденного, — этот человек, положив себе в карман американский паспорт, ездит по земле, чтобы найти уходящее гетто, чтобы сберечь своего читателя, свой народ, который от него уходит Гетто в Америке умирает со вторым поколением, как со вторым поколением умирает прыгунство.

Конечно, я не прав: капиталистическая Америка в первейшую очередь скидывает с людей средневековые обручи национальностей и сословий (об индейцах и о неграх — дальше). Америка затуманивает, замаскировывает перестраивания людей в классы, когда нет элина и иудея, и российского прыгуна, но есть грудящиеся и бездельничающие за счет трудящихся. Это — на пороге. Но пока — национальный флаг, вместо американской нации, и штандарт (или стандарт) скачет!..

Эйми ж Мак-Ферстон, оказывается, — баптистка!

Итак, — американский флаг!

В Нью-Йорке, на углу Второй авеню и Десятой стрит, есть англиканская церковь, где раз в неделю, после проповеди священника, танцуют разные духовности полуголые женщины. Делается это во имя бога, как уверяет тамшний батюшка, изобретатель этих танцев. Другие полагают, что учинены эти танцы для поднятия посещаемости божьего храма, ибо вообще посещаемость церквей на земле падает. Во всяком случае, полиция никак не протестовала против этих танце-оголений, раз это требуется богу. Возмущались лишь батюшки из соседних храмов. Танцевальный же храм посещался не меньше, чем любой бурлеск, американское публичное раздевание женщин, называемое также рэвю.

О том, как разрешается веровать — рассказано. И рассказано, как исчезает двоегражданство: у наций, которые были угнетаемы на своих полусредневековых родинах, в первую очередь. Нации

подобраны под американский флаг, под ликование американской демократии, под доллар.

16.

Впрочем, если послушать иных американцев, даже Нью-Йорк никакого отношения к Америке не имеет, вместе с танцевальными храмами, не то, что прыгуны и Эйми Мак-Ферсон. Вам расскажут, что Америка, U. S. A.—пуританская, правоверная, законная страна, где законы превыше всего. Я, например, во утверждение этой истины, могу рассказать следующий эпизод, бывший в Детройте. Американский Детройт отделен от канадского Винзора мостом. С'ехал с моста, из Канады в U. S. A., автомобиль и поехал дальше по всем американским правилам уличного движения. Полисмэн заподозрил в шофере бутлегера, торговца алкоголем, контрабандиста. Полисмэн на мотоцикле поехал вслед автомобилю. Автомобиль шел по всем правилам. Полисмэн потерял терпение, остановил машину, учинил обыск, нашел несколько ящиков виски. И — по суду — алкоголь был возвращен шоферу. Праведный американский судья рассудил, что автомобиль шел по всем правилам, стало быть, полисмэн не имел права его арестовывать. А раз полисмэн не имел права арестовывать, то суду ничего неизвестно про виски вообще, — в частности ж все, что в автомобиле находилось, должно быть положено в автомобиль обратно. Закон торжествовал, само собою разумеется. Как выше уже сказано, при переезде через Гудзон из штата Нью-Джерси немужа и нежену следует арестовывать. Этот закон существует, равно, как в штате Юта существует закон о многоженстве. Но разводиться американцы ездят в штат Невада, в город Рэно. В штате Южная Каролина разводиться никак нельзя, ни по каким поводам, — в штате Нью-Йорк для развода требуются постельные доказательства прелюбодеяния стороны, — а в штате Невада ничего не надо для развода, кроме желания и гражданства. Нью-йоркцы и прочие народы и ездят разводиться в Рэно, столицу штата Невада. Раньше для этого они проживали там три месяца и один день. Теперь в силу темпов, всего три недели и один день. Безвыездно прожившие в штате

три недели становятся гражданами штата. На другой день после обретения гражданских прав — разводятся. Срок сократился до трех недель в силу конкуренции с другим бракоразводным штатом, забыл, как называется, гостинице-содержатели которого добились также бракоразводных законов. Какие в Рэно казино и отёлы! — буржуазия, разводясь, отдыхает! Закон, как видите, в силе.

— все время мне снился сон, все время я хотел восстановить фантазией и знанием те корабли, которые везли в Америку пионеров, — такой парусник, — этакие люди за столом в кают-компани, заросшие бородами, в свете чадных масленок — ибо в Америку ехали с единым желанием — хорошо жить, всячески хорошо жить, каждый по своему пониманию, — и ехали со всех концов земли, убегая от гнета европейской тогдашней властички, от голода, и бесправия, сектанты, бандиты, авантюристы, мечтатели. Волнами американского заселения можно проверять негативы европейской истории. Время олицетворило хорошее житие в доллары.

17.

Ах, ох, ух, эх, Америка!

Надо вернуться в Нью-Йорк, чтобы поставить вещи на свои места. Я употребил сейчас «ох, ах, ух», — так же, как это было в первых моих из Америки письмах, — и первые страницы я писал, чтобы передать американское обладение.

Некогда в одном из моих романов я имел образ, который я наполнил новыми ощущениями в Нью-Йорке, — эти ж мои ощущения Нью-Йорка обязательны мне для всей Америки, для U. S. A.

Я писал:

«...на курганах у нас выкапывают иной раз каменных баб, — археологу баба та — красота прекрасная, — но мельчайшей букашке, которая ползет по щеке этой красоты, видны будут только комья грязи, камень да пыль: надо стать в рост красоты, чтобы видеть ее».

На самом деле, любимая мы некою прекрасною дамой, видим, как все у нее прекрасно и на своем месте, а инфузория, которая в этот самый момент ползет по щеке данной дамы от рта ко глазу, — эта инфузория попадала в кратер ноздри,

болталась по красным пескам пустыни Аризона, называемой щекою, видела пальмовые насаждения ресниц. Эмоциональная линия образов каменной бабы и раскрашенной красавицы с эмоциональной линией нью-йоркских ощущений не совпадает. И тем не менее.

С шестидесятого, с того этажей Нью-Йорк — поразительный, неопиcуемый, необыкновенный, злоещий, злоеще-прекрасный город, — город торжества индустрии, размаха, человеческого умения, — ни одному Татлину и европейскому поэту-урбанисту не снилась такая необыкновенность, такое величие, такие конструкции, такие линии и грандиозность, единственные в мире, неповторимые. Для европейца Нью-Йорк с небоскребов скорее сон, чем явь, — и сон ни с чем не сравнимый, разве от детства осталось воспоминание фантазии, библейское воспоминание города Вавилона, которого никто не видел, и именно этой невиданностью Нью-Йорк похож на Вавилон. Нью-Йорк — нечеловечески-грандиозный город, нечеловеческий, злоещий, поразительная конструкция. С крыши Эмпайэра (иль от грифов Крайслер-былдинга) океан, Гудзон, Ист-ривер, горы Нью-Джерси — ваши братья. Шестнадцати-, десятиэтажный Нью-Йорк (а в среднем он и есть десятиэтажный, имея целый ряд районов трехэтажных) — этот Нью-Йорк лежит у ваших ног, в дыму, тумане и гуле улиц, лежит далеко внизу. И рядом с вами равноправными братьями стоят в облаках, а иной раз и над облаками, братья-небоскребы. Вдали равным братом и господином величеству небоскребы Уолл-стрита, нечеловеческая красота!

Человек, стоящий на крыше Эмпайэра, подпертый Эмпайэром, есть человек, стоящий в уровень — нечеловеческих! — красоты и необыкновенности Нью-Йорка.

Но, если итти по улицам Нью-Йорка (итти или ехать в авто, по вторым этажам улиц, в собвях), Нью-Йорк — ужасный город, ужаснейший в мире, различно, на Парк-авеню или на Баури. Город оглушен грохотом. Город дышит не воздухом, но бензином. Город обманут проститучьей красотой электрических реклам. Улицы завалены мусором, без единого листочка. Город превращен

в громадную какую-то керосинку копоти и удушья. Взбесившийся город, полезший сам на себя железом, бетоном, камнем и сталью, сам себя задавивший. Город, в котором человеку жить невозможно, как невозможно в этом городе ездить на автомобилях, ибо автомобилям приходится ездить не по улицам, но друг по другу, несмотря на то, что в этом городе собрано наибольшее количество лучших в мире автомобилей и автомобильных марок.

Индивидуализм! — люди, идущие, едущие по улицам Нью-Йорка и наслаждающиеся радио, кино, бурлениями Конэй-айлэндом, — это те, которые ползут по прекрасной красоте каменной бабы, вырытой из раскопок очень-очень древних и очень примитивных — курганов!

Этот город имеет позор Баури, единственный в мире улицы люмпен-пролетариев, трэмпов, свалившихся с доллара (и этих горьковских люмпенов в Америке, конечно, больше, чем в Китае). На Баури в лавках продают башмаки, снятые в моргах с мертвецов-беспризорных. На Баури есть ночлежные дома, но люди спят там на асфальте тротуаров, подложив под себя мусор газет, поднятых на этих же асфальтах, потому что эти ночлежные дома работают в четыре смены. Через каждые шесть часов опрастывается помещение ночлежек от людей, чтобы впустить новую людскую пачку — тех, которые ожидали очереди на асфальте тротуаров. Если в Америке нет восьмичасового рабочего дня, — то для людей с Баури крыша в ночлежке только на шесть часов. Эта улица всем своим поддолларовым населением — в башмаках с мертвецов — идет по ночам на угол Бродвэя и сорок второй стрит, в центральнейшее место театров и рекламного сумасшествия роскоши, — идет для того, чтобы, стоя в очередях, в одном месте получить чашечку бульона и сэндвич от армии спасения, а в другом — никель, пять центов, — чтобы слушать божественный бред армий спасения и видеть, как волны людей, повторенные Конэй-айлэндом, идут из кино и в кино, американскую радость! — Баури повторена на Мотт-стрит, где в «ночной церкви» бездомники спят под вои батюшек. Этот город, как и вся Америка, имеет позор негритянского вопроса, упер-

шегося в Гарлэм. Этот город имеет упорную нищету, упорную тесноту и упорную волю не голодать и жить по-человечески,—грязную, и все же в белом воротничке, теснейшую и отчаяннейшую борьбу за существование Ист-Сайда. Индивидуализм! — никакой одесский Привоз старых времен не сравнится с палатками и лотками переулков Ист-Сайда, где к громам города примешаны крики детишек, возрастающих на бетоне улиц под автомобильными колесами, и вопли лотошников, которые орут на всех языках мира:

- молоко!
- бананы!
- рыба!
- апельсины!
- электрические утюги!

Однажды с неким бедным миллионером я пребывал на крыше полунебоскреба этого бедного миллионера. Было это этаже на тридцатом. Город разместился внизу. Сидели мы на диванах-самокачках, под зонтиками. Крыша была засажена пальмами и являла собою сад. Над крышей реял национальный флаг. Бедными миллионерами в Америке называются просто миллионеры, а не миллиардеры, в роде каких-нибудь там свиных, стальных или кишечных королей. Бедный миллионер указывал на небоскребы, разместившиеся вокруг его полунебоскреба в синеве неба, и объяснял, что этот, мол, небоскреб принадлежит такому-то миллиардеру, тот такому-то, третий — так он мог насчитать небоскребов пятьдесят.

Я подошел к парапету и стал смотреть вниз. Рядом с полунебоскребом моего бедного миллионера, внизу, видны были крыши соседних десяти-семиэтажных домов. Крыши эти чернели от копоти. На веревках по крышам висела нищета стиранных простыней, рубашек и прочего. Под бельевыми веревками бегали, играя, детишки. На одной крыше, сев на матрац, целовались двое влюбленных. На другой, подстелив газеты, спало несколько рабочих. На цементе крыш, так же как на улицах, валялся мусор апельсиновых корок.

Я спросил бедного миллионера, прерывая его истории миллиардерских былингов, — кому принадлежит дом, стоящий рядом с его полунебоскребом?—

Мой бедный миллионер ответил незнанием.

Закат был очень хорош.

Мне все стало понятным.

В Нью-Йорке есть сорок-пятьдесят человек, подпертых небоскребами в рост Нью-Йорка, для которых Нью-Йорк прекрасен, — эти люди называются миллиардерами, сиречь капиталистами. Они имеют видимые и невидимые кабинеты на Уолл-стрит.

Закат был прекрасен, — на крыше соседнего дома валялись апельсиновые корки, брошенные туда, надо полагать, с крыши моего бедного миллионера, ибо легенда о манне небесной, ровно как и о небесных апельсинах, законами физическими объяснена быть не может. Ах, как зловещ и нечеловечен Нью-Йорк с небоскребов! — ох, Америка! — ах, Америка национальных флагов, которые даже на кладбищах!

У бедного миллионера сидели усы, подстриженные нищенско-макдональдсовски. На нем бодрствовали лиловый костюм и красные полуботинки. Его рубашка, галстук, платочек во внешнем кармане и носки были сделаны в один и тот же рисунок и цвет. Движенья и глаза бедного миллионера пребывали лиричны и размягченны. Ах, американско-нищенский индивидуализм!

Выше рассказано о публицити. В «Нью-Йорк Таймсе» от 11 октября 1931 года появилась заметка, что помер некий знаменитый американский публицити-мэн Харри Райхенбах, помер и оставил после себя мемуары, в которых утверждал, что человек пятьдесят, не больше, и он принадлежал к ним, владели, заведывали и командовали вкусами всех ста десяти миллионов американских белокожих. Эти пятьдесят человек одевали, обували, раздевали американцев, укорачивали женские юбки и удлиняли их, раскрывивали мужские костюмы в индейские цвета, сажали людей в автомобили различной марок, поили их кока-кола, оглушали их радио, брили их жиллетом и прочая, прочая, прочая.

18.

Впрочем, все эти благородства — для тех, кто — за долларом. Весь аховый и оховый Нью-Йорк в националь-

ных штандартах и стандартах — для тех, у кого в кармане чековая книжка, и чем больше долларов за чеками — тем больше ахов. А те, кто свалился с заборов доллара. —

Именно это и есть американско-ницшеанский индивидуализм, как оказывается на самом деле. Доллар — вот, кто самый главный американский ницшеанец. И именно этот ницшеанец толкует об индивидуализме и живет легендами о том, что Авраам Линкольн, лицо которого штампуется на долларах, начал свою судьбу в избушке дровосека, что Гувер — сын фермера, — что каждый американец может, — у каждого американца есть возможность вырваться в индивидуализм просторов так же, как вырвались за облака небоскребы (и выписывать тогда себе из Нью-Йорка в Лондон любимого парикмахера в виду того, что лондонцы бреют плохо!). О небоскрежных историях Линкольна, Эмпайэр-Гувера, о вещах и людях — пишутся исторические монографии, как, мол, взяли «бойсы» да и свистнули в сотый этаж! — Но истории свала под доллар пишутся редко, а они суть продукт этого самого американского «индивидуализма», они естественнее небоскребов, и их больше, чем хижин Линкольна, в миллион раз.

Закон американских — «свободных»! «индивидуальных»! — трудовых отношений гласит, что, мол, сегодня, в двенадцать часов пятнадцать минут, босс сказал рабочему (или рабочий сказал боссу, по закону это безразлично, кто кому сказал, хотя рабочие своим «правом» пользуются редко), — «пойди, мол, ты к миссис чортовой мамаше!» — и с двенадцати часов пятнадцати минут между заводом и рабочим никаких отношений нет, в субботу рабочий получит конверт с чеком, коим расплачивается с ним контора по сегодняшние двенадцать часов пятнадцать минут.

Приятель мой рабочий Х., русский по национальности, рассказывал мне о его работе на заводе. Поступил, дали джаб. Работал на конвейере. Заняты были на конвейере у моего приятеля только две мышцы, только, весь остальной организм здорового человека бездействовал. Эти две мышцы посинели от переутомления. Мой приятель показал

боссу посиневшие две мышцы, попросил, нельзя ли стать к другому станку, чтобы синели другие мышцы, а эти отдохнули Босс (это — надсмотрщик) сказал, — о-кэй, завтра будет перевод. Мой приятель пришел назавтра. Босс дал ему записку к другому боссу. Второй босс показал на двери, там, мол, ждут. Мой приятель вышел за эти двери и оказался за заводскими воротами. В конторе его рассчитали по тот рабочий день, когда он показал посиневшие мышцы. До конца рабочего дня его продержали, чтобы не обрывать конвейера. Ко второму боссу его послали, чтобы не было лишнего шума на конвейерном производстве. Босс прав — «причина» посинения двух мышц лежала в самых мышцах, а, стало быть, инициатива лежала в моем приятеле, — стало быть: свободные индивидуальные отношения! — И это тем паче, что безработных в И. С. А. сейчас миллионы, — а вообще, чем старше рабочий, тем больше он изношен, тем больше у него шансов свалиться под заводские и долларовские ворота.

В U. S. A. есть индивидуально-свободный закон, гласящий о том что если ты, мол, взял в кредит некую вещь, стоящую, предположим, доллар, уплатил за нее девяносто девять центов, но последнего цента в срок не внес, так вещь у тебя отбирается, а девяносто девять центов остаются в пользу обиженного неполучением одного цента.

Мистеры Форды, ни Гэнри, ни Эдсэль, — не при чем, — они пуритане, они даже не курят и только изобретают и усовершенствуют. Генри Форд, как известно, сам даже не торгует. Он даже знать не может о моем втором приятеле рабочем У., украинце по национальности. Сиживали мы с этим моим приятелем под детройтским открытым небом — на его квартире, — покуривали, и приятель мой покручивал недоуменно головою, в национально-украинском благодушии. Все фордовские рабочие должны иметь фордовский автомобиль. Гэнри Форд аргументирует эту необходимость тем, что рабочие его, дескать, комфортабельны, и им следует знать ту машину, над производством которой они работают. Когда мой приятель поступил к Форду, у него был автомобиль шевролэ. Босс сказал У., что

он должен продать шевроле и купить форда. Гэнри Форд не торгует. Босс указал знакомого диллера, машиноторговца, который отпустил моему приятелю форда в рассрочку, взяв шевроле в качестве аванса. Второй босс сказал моему приятелю, что фордовским рабочим предпочтительнее жить в таких-то районах и в таких-то домах, построенных специально для фордовских рабочих. Гэнри Форд здесь не при чем. Мой приятель взял себе прифордовскую квартиру в три комнаты, — у моего приятеля жена и двое детей, — взял квартиру в рассрочку, конечно, и с тем, что, когда он выплатит всю сумму долга, он будет собственником. Было все это в конце двадцать девятого года. В январе тридцать первого года Форд выпустил новую модель. В январе тридцать первого года первый приятель босс сказал, что он слышал, что, мол, мой приятель (кризис! кризис!) предназначен к сокращению, но, что он может остаться на заводе, за него похлопочут, если он возьмет себе фордовскую модель, тридцать первого года. Мой приятель, почесав по-украински в затылке, эту модель взял, сдав форд двадцать девятого года диллеру в аванс. Я был в Детройте в конце июня. Так, вот, в конце мая моего приятеля сократили.

В середине июня у него отобрали модель тридцать первого года (продать автомобиль он не мог, как не окончательно выкупленный), — отобрали за неуплату очередного взноса. А в конце июня я помогал моему приятелю выволакивать из его котлы его добреджа, ибо его выселили, — также за неуплату очередного взноса. И, по-украински покачивая головой, на квартире господ бога, под кусточком, мой приятель недоумевал: было в его руках три автомобиля, и нет ни одного, была квартира — и есть небо — и почему не отбирают радио, помещенное под кустом, которое также куплено в рассрочку!? — остались только жена, да двое ребятишек!..

Дорогие американские индивидуалисты! — на Баури ходят в башмаках, снятых с мертвецов! — Дорогая американская свобода! — ужели нет возможности построить не только эмоциональный, но и логический мост между заоблачно-брадобрейной «свободой» небо-

скребов и подземельно-спокойной работой боровов в Чикаго!?

Дорогой ницшеанец доллар! — какая разница в существе вещей между миллионами чикагского председателя бандитских трестов, короля бандитов Ал-Капона и небоскрежествами Эмпайра!? — разве Ал — не о-кэй!?

В Калифорнии, когда там открыли нефть, был такой эпизод. Жила-была индейская семья. Пришли люди из-за гор и предложили продать пустыню. Отец-индеец отказался уйти с земель своих отцов. Через несколько дней семья была вырезана. В живых осталась только одна девушка. Через месяц тогда на горизонте возник ковбой, он под'ехал на своем коне, испанец, красавец, он попросил напиться воды, и он уехал за горизонт. Он приехал через три дня, опять просил напиться и опять уехал за горизонт. Через месяц девушка-ка-индейка любила испанца, испанец любил девушку. Они поехали в город к морю, чтобы повенчаться. Они приехали в некоторую контору. Девушка была безграмотна. Ей сказали, чтобы она тут-то и тут-то поставила крестики, за нее расписались. И в тот момент, когда крестики были поставлены, американским спортсменским жестом — в спину башмаком — девушку выгнали из этой некоей конторы. Девушка подписала не брачный договор, но купчую на продажу нефтеносных земель. Кто это вырезал индейскую семью, а девушку поддал носком бутца в любовь, — не нефтяной ли...

Ойль?! — Над землями этой девушки ныне — национальный флаг!

19.

Совершенно естественно, что во всех странах люди иной раз сходят с ума, и в Америке в частности. В заболеваниях манией-грандиозой русские начинают представлять себя Петром Великим или Буденным, — французы — папою Пием или Наполеоном, немцы — Бетховеном, англичане — Шекспиром, про которого никто ничего не знает. Американцы ж, сходя с ума, представляют себя миллиардерами, Рокфеллерами, долларщиками.

В Европе, у нас, в СССР — всегда переполнены концерты всяческих знаменитых баритонов, теноров, рассказчи-

ков, скрипачей, пианистов, их передают по радио, в них влюбляются, у каждого любителя есть свои любимцы. В Европе о них пишут в газетах, — как, мол, их здоровье, и что они разучивают заново. Так вот в Америке к этой категории людей надо отнести и математиков, физиков, конструкторов, инженеров. Их лекции воспринимаются, как концерты. Они любимы, как тенора. Их речи и формулы передаются по радио. Каждый день в программе радио есть математическая программа. Математические формулы суть материал для газетных сенсаций. Европейских математических знаменитостей выписывают, как мы выписываем Эгона Пэтри. Эйнштейн приехал в Америку, как знаменитый певец, приехал так, как он не приезжал ни в одну страну, забросив свое имя поистине в массы таким образом, когда известно, что Эйнштейн предпочитает сандалии, а не твердую обувь.

Это математическое мое познание привело меня к познанию так называемой «технологической» безработицы, сколь ни длинен логический мост от математических концертов до голода безработиц. Несмотря на «просперити» (цветание — противоположность кризиса), — в самые лучшие годы последнего просперити — в Америке было от трех до трех с половиною миллионов безработных рабочих, и процент этот рос с каждым годом. Эти безработные не были безработными, рожденными кризисом, — но безработные — «технологические»!

По подсчетам статистиков, в самые лучшие годы Америки на каждые двенадцать рабочих тринадцатый не работал и не работал совсем не потому, что американцы боятся цифры тринадцать. Всему миру на удивленье, переведя математику и механику даже в план эмоциональных, эстетических наслаждений, американцы усовершенствуют машины, которые заменяют человека, организуют труд, которые труд же и сокращают. Используем наши примеры: Сясь, бумажный гигант, построен по американским принципам, — бумаги он производит горы, на самом деле, — а работают на нем человек сто рабочих полуинженерного типа; — на Днепростое, когда он будет

закончен, будет работать человек сто двадцать, не больше, они будут караулить правильное поведение машин и воды. Американцы — изобретают. Изобрели электрическое доение коров — сколько рук на сторону? Изобрели, действительно изобрели, «мозг дельца», такую машинку, которая абсолютно безошибочно работает сразу за бухгалтера, счетных барышень и кассира, — сколько сотен тысяч человек на сторону!?. Изобрели теле-пишущую машинку (стоит на столе пишущая машинка, сбоку у нее вертушка, как у телефона-автомата, — человек вертит вертушку, набирает нужный ему номер и пишет затем нужное ему на своей машинке, — это ж самое будет напечатано и на той машинке, которая стоит за номером, им набранным; теле-пишущая машинка заменяет телефон и телеграф сразу, но не трещит, как телефон, и не мешает разговорам. Изобрели вот такую Сясь, которая у нас. На пороге двадцатого века девяносто-пять процентов американских машин двигались паром и руками, и только пять процентов — электрическими моторами, — в девятнадцатом году электричество двигало пятьюдесятью пятью процентами машин, в двадцать седьмом — семьюдесятью восьмью, — в 1931 году, надо полагать, всеми ста процентами (хоть из этих ста процентов многие и безмолвствовали, ибо в 1931 году фабрики и заводы в Америке стали по воле кризиса, но речь сейчас не об этом), — сколько истопников и кочегаров должны были искать новых профессий? — сколько людей было сброшено на сторону!?. — Спросите десятого американского рабочего, — он расскажет вам о десятке своих профессий: — он, было, начал свою судьбу в Нью-Йорке кройщиком, был шофером, торговал в мелочной лавке, работал углекопом и кондуктором, был контрабандистом, — ныне он лифтер, — был он всем, — но главное, что он делал, — это он искал работы в уверенности, что завтра — он опять безработный.

Безработица, которая возникает за счет усовершенствования машин и изобретения машин новых, изобретения новых способов производства вещей (штамп, например, вместо поковки), ор-

ганизации наново труда и снижения себестоимости, — за счет трестирования предприятий, — такая безработица называется — «технологической».

Выработка на одного рабочего в автомобильной промышленности с начала века по двадцать пятый год возросла на тысячу двести семьдесят процентов — автомобилями американцы подавились.

Процент «технологической» безработицы сейчас уперся в десять с лишком миллионов безработных, которых считают уже не «технологическими», а кризисными. По-моему кризисный безработный или технологический — он одинаково хочет есть, и вообще изобретение «технологической» безработицы — словоблудие. При социалистическом строе государств безработицы быть не может, — при капиталистическом строе государств — даже «технологическая» безработица (экое словечко придумали!) — гонит на Баури и обуваает в сапоги с мертвецов.

Есть в американских заповедях (на ряду с той, что каждый, в роде Авраама Линкольна из его избушки дровосека, может угодить в Рокфеллеры иль президенты) заповедь о том, что-де:

— «... кто действительно хочет найти себе работу, тот ее найдет в Америке».

Ну, а «технологическая» безработица? — это и есть американский индивидуализм? — и не это ли самое рассуждение построило мост, гораздо более грандиозный, чем Бруклинский, — мост в американский бандитизм сверхамериканского масштаба?! — ведь каждый американец каждодневно встречается со знакомыми ему бандитами и общается с ними, когда бандитское дело в Америке поставлено так, что не мне уже, а читателю предлагается решить, Белый ли Дом или бандиты являются правительством Америки?!

Познавание концертов «технологической» безработицы сообщило мне, куда растет технология. Сейчас в Америке миллионеров в шесть раз больше, чем в девятьсот четырнадцатом году (за два года — с 1927 по 1929 (предкризисный) — они почти удвоились). Населения в Америке — сто двадцать миллионов человек. Подоходный налог берется в Америке с женатых, когда они зарабатывают больше двух с половиной

тысяч долларов в год, а с одиноких — когда больше тысячи пятьсот. Так, на сто двадцать миллионов населения в самый лучший год всеамериканского процветания, в год 1927, подоходный налог платило всего лишь два с половиною миллиона человек. Процентом девяносто пять из них зарабатывали до десяти тысяч долларов в год, и только, двести восемьдесят три человека — больше миллиона. В последний год процветания американских капиталистов (при чем год этот стал годом кризиса), в 1929 году, «зарабатывавших» больше миллиона стало пятьсот одиннадцать человек; двести восемьдесят один человек пришлось из них на Нью-Йорк; одиннадцать человек из них «зарабатывало» больше пяти миллионов. Это было в 1929 году — в год процветания и кризиса: на пятьсот одиннадцать этих миллионеров пришлось десять миллионов безработных. Как известно, в капиталистическом обиходе источниками долларовых благополучий служит не труд, а право собственности: — так четверть американского национального дохода — восемнадцать с половиною миллиардов долларов — пришлось в тот процветательный год на долю земельных собственников, акционеров и облигационедержателей.

«Технология» голода, оказывается, называясь «технологической» безработицей, имеет противоположный конец миллионерских карманов, — какой замечательный концерт! — Стюард Чэйз, американец и экономист, который по нашим стандартам был бы кадетом, пишет поэтически:

«Возвышаясь над всеми, собственники окопались, как диктаторы американской жизни и ее уклада. Они изгнали философа, учителя, государственного деятеля, редактора, проповедника в качестве умственных руководителей народных масс. Они управляют правительственной прессой, университетом, церковью, искусством. Они спокойно спят, возглавляя денежную систему. Взоры людей обращены к ним, как некогда были обращены к алтарю, к полководцу, к портику Академии. Боги впервые воздвигли себе храм из золота и мрамора... на рыночной площади».—

Штандарт — и стандарт — скачут!

20.

Дорогой читатель, когда вы приедете в Нью-Йорк, ваш друг скажет вам, что он для вас «построил» вечеринку. Вы — советский гражданин, вы готовитесь к речам и готовите речь, придумывая старательно, как бы соблюсти вежливость и уложить в ваши слова неуложимое рядом — вашу родину и Америку, ибо вы, советский гражданин, конечно, думаете о социализме, но помните о «веровании» в бога по консульскому предписанию. Так эту речь готовите вы зря. Когда «строят» для вас вечеринку — это значит, что гости придут к половине десятого, а вы приглашаетесь к шести. Вы с хозяином выпиваете по его достаткам и решаете, в какой ресторан вы едете обедать, к мексиканцам или японцам, ваш друг за вас платит. Вы возвращаетесь к вашему другу после обеда. Начинают приходить остальные гости. За руку здороваются немногие. Если дело происходит летом, мужчины, сказав «хэлло!» (здравствуйте), снимают пиджаки и немедленно приступают к экстренной работе — фокстроттят часов до трех под граммофон или радио. Разговоров никаких не полагается. По достатку вашего друга — пьют алкоголь, ибо — если алкоголя нет, то и вечеринки не построишь. Часам к половине четвертого начинают развоститься по домам и вечностям. Если дом вашего друга побогаче, то коктейлят и фокстроттят не под электричество, но под стеариновые свечи разных окрасок и толщин. Советский гражданин, естественное дело, или совсем не фокстроттит, а уже если танцует, то у него получается не фокстротт — лисий шаг, — а бер-тротт — шаг медвежий. Трудолюбиво заготовленные речи расплзаются в ералаш от трудолюбия полотеров, приглашенных в честь советского гражданина.

Вечеринок с речами у меня было мало, но все же были. Рей Лонг построил для меня обед в Метрополитэн-клуб. Когда я просматривал список приглашенных, за именем каждого были многочисленные труды и биографии: это были крупнейшие американские писательские имена, известные не только в Америке, но миру. В Метрополитэн-клуб недопускаемы женщины. Мы пришли в

смокингах. Стены и портьеры Метрополитэн-клуба уничтожали шум города. В Метрополитэн-клубе горели свечи, и в креслах из свиной кожи разлеглось покойствие. Нас было человек сорок — их, знаменитых, и моих друзей со мною. Гости встречались за коктейлями. Гости сели за священнодействие обеда, за спинками стульев построились лакеи. Свечи величествовали. Рей Лонг сказал речь, торжественную, как Метрополитэн-клуб. Вторым говорил я, речь свою я готовил дня три, с таким же трудолюбием, как излечивают флюс, — говорил я о заборах национальных культур, об СССР, о земном шаре, о том, что честь, оказываемая мне этим обедом, не есть честь мне лично, но той прекрасной литературе, прекрасной и молодой, которую создали зори социализма и грозы революции, — молодости я говорил с особым удовольствием, ибо, действительно, я да Люи Фишер, да Мендельсон, да Джо, — только мы и были на этом обеде молоды, хоть и относительно, конечно, — остальные ж рассчитывали свое время от пятидесяти, от шестидесяти и больше. За мною говорил Синклер Льюис, нобелевский лауреат, — он высок, узкоплеч, сероглаз, краснолиц. Он нашел меня своим взором, сосредоточил свой взор и сказал:

— Я ничего не буду говорить о Советском Союзе и о Пильняке, — и смолк.

Пауза была величественна, как Метрополитэн-клуб. Синклер Льюис нашел глазами Теодора Драйзера.

— Я ничего не могу говорить о Советском Союзе и о Пильняке, — глаза Льюиса стали страшными, устремленные на Драйзера, — потому что один из присутствующих здесь украл у моей жены три тысячи слов, — сказал Льюис и смолк.

Пауза не походила на Метрополитэн-клуб. Глаза Льюиса побрели по столу.

— Потому что второй сказал, что нобелевскую премию надо было дать не мне, а Драйзеру, и напечатал это в газетах, — сказал Льюис и смолк.

Глаза Льюиса побрели к третьему. Метрополитэн-клуб никак не походил на паузу.

— Потому что третий напечатал, что я просто дурак.

Синклер Льюис торжественно сел за свои тарелки. Пауза после его речи была гораздо длительней, чем во время его информаций. В тот вечер Драйзер, уже после беда и наедине, давал пощечину (или две) Льюису, — пощечину очень большого звука, ибо на другой день о ней писалось во всех газетах, телеграфировалось в Европу и Японию, сообщалось по радио, комментировалось в лекциях. Я при давании пощечины не присутствовал, уехав раньше этого дела. От репортеров на другой день я должен был прятаться, сознательно устранив себя от пощечинного публицити. Но прок мне вышел от этой пощечины не малый: в штатах Тэксес, в Аризоне, где, конечно, никто ничего не знал не только о моих писаниях, но даже об СССР, я об'яснил про себя,—я, мол, гот-то, на обеде которого, — и все всё понимали сочувственно.

За день до моего от'езда в Калифорнию столкнула меня судьба с миллиардером мистером Z.

Я сознательно скрываю его фамилию, ибо она известна так же, как фамилия Рокфеллера иль Моргана. Этот человек, его семья и его банки принадлежат к первым десяти американским миллиардерским фамилиям. Если считать, а так и есть в действительности, что Америка сейчас командует капиталистическим земным шаром, в Америке ж командует доллар, торжествуя национальным штандартом, — то этот человек, один из десяти командиров Америки, богаче и сильнее английского короля иль французского президента. Человек этот сух, стар и слабощен. Я стал говорить о том, что завтра я еду в Калифорнию и по дороге на сутки останавлиюсь в Чикаго. Сейчас же за понятием Чикаго, как это всегда бывало, разговор пошел об Ал-Копоне, чикагском короле бандитов. Я сказал, озорничая:

— Я был бы рад познакомиться с Копоном.

И мистер Z, человек, более сильный, чем английский король, молвил любезно:

— Я вам устрою эту встречу.

Мистер Z позвонил. Вошел бестелес-

ный секретарь, который понимал мистера Z астрально, без слов. Через полчаса секретарь сообщил, что он телефонировал в Чикаго, что мистер Копон занят в понедельник (в тот день, когда я должен был быть в Чикаго), — занят на выборах мэра города и поэтому, к сожалению, не может принять в этот день мистера Пильняка, — если мистер Пильняк задержится в Чикаго, мистер Копон к его услугам.

Я не видал Копона, — но этот разговор о нем гораздо более значим, чем встреча: бандит не принял меня потому, что он был занят на выборах, а познакомиться меня с ним хотел — законный миллиардер!..

21.

Иные американцы скажут вам, что все написанное выше к Америке никакого отношения не имеет. Америку, дескать, следует искать не здесь и не там. И вместе с читателем сейчас я намерен пуститься в поиски Америки, в пространства, в безвестность дорог, чтобы найти, наконец, Америку. Я подписал договор с Голливудом, с М. С. М. И мы с Джо двинулись в пространства, от'ехав от Нью-Йорка на «двадцатом веке», таким образом, что «двадцатый век» есть интродукция к Голливуду, Голливудом данная.

«Двадцатым веком» называется поезд, такой же конвейер, как автомобильные дороги, только много пыльнее, имеющий от Атлантического океана до Тихого всего две остановки, в Чикаго и в Санта-Фэ. От Нью-Йорка до Чикаго рельсы идут в четыре полотна. Поезд стремится до утомительности, отбрасывающий в час сто двадцать километров. Поезд идет в пыли и дыме встречных и обгоняемых поездов. Поезд на ходу берет воду: в положенных местах между рельсов проложен жолоб в полкилометра длиной, наполненный водой,—паровоз спускает ковш в воду, вода своим собственным напором лезет в фильтровые резервуары. За каждую минуту опоздания этого поезда пассажирам выплачивается по доллару. На каждого пассажира моего вагона положено было по отдельной кабине, с диванчиком, креслом, письменным столом, с двуспальных размеров кроватью но-

чью, с гардеробом и умывальником. В поезде было три обслуживающих вагонов, — вагон-обсервейшэн (сплошь стеклянный, с терраскою, на которой нельзя сидеть от пыли), вагон-ресторан, и вагон-салон с комнатой для вязания старухами джемперов, с комнатой для курения, с телеграфо-радиоконторой, откуда можно сообщаться с миром и куда с мира приходят телеграммы, и с баней, где можно помыться, где тебя побреют и причешут и где тебе вычистят обувь. Этот поезд предназначен для крупно-калиберных народов. Я отношу его за счет Голливуда. В поезде имеются все шумы, кроме человеческих слов, — негры, которые прислуживают, говорят шопотом. Поезд полупуст. Через города поезд жарит по улицам. Если в СССР, откуда ни глянь в небо, даже в метель, всегда видна полярная звезда, то здесь за окнами поезда, также даже в метель, отовсюду торчат разные девушки и молодые люди рекламы которые выстроились над шпалами, как у нас клоуны на крышах провинциально-ярмарочных балаганов. Воротничок хотелось менять каждые три часа, — и полоскать рот от гари и пыли — ежеминутно.

Так проехали от океана к океану, сохранив традиции и гари Нью-Йорка. От Нью-Йорка уехали в мятель и в горы штата Пенсильвания. Мятель — как у нас. Пенсильванские—Аллеганские—горы—в роде Валдайских. Когда глаз прорывался за рекламу, располагались за шпалами тверские земли. От

Нью-Йорка до Чикаго, кроме реклам и тверской земли, путь заставлен был громадами корпусов фабрик, вышками каменноугольных шахт, пожарищами доми, да мелкорослыми вокруг них домишками в палисадах, острокрышими и в черепице. Чикаго утвердил, что Чикаго и Нью-Йорк — одно и то же, одного ж лица прекрасные детали: Нью-Йорк — финансово-капиталистический центр, Чикаго — центр капиталистическо-финансово-промышленный. И Чикаго сломан пополам: на нищету, гораздо большую, чем нищета Баури, с лохмотьями в навозе человеческих отбросов и антисанитарией вшей на улицах, на дорогах, на каналах, в голой грязи полуголых, как в Шанхае, людей, — и на роскошь набережных Мичигана, похожего на море, забитого яхтами и гидропланами, университетских и музейных площадей, мест столь же колоссально-поразительных своею роскошью как нищета. Немеханизированное на чикагских бойнях — борова-предатели — служит для раздумий о капиталистической культуре, — раздумий о чумных бульонах. В серии американских банкротных крахов тридцать первого года Чикаго решающий своей роли не оставил, — чикагский муниципалитет обанкротился, — слово об этом будет дано Алу-Копону, чикагскому бандиту.

За Чикаго поезд пошел в прерии, застрявшие в памяти от юношеских романов и географий. По эс-эс-эсеровским пейзажам — прерии — это Украина.

(Продолжение следует)

Аргамак¹⁾

И. БАБЕЛЬ

Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом.

— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя в раз уконтрапуют..

Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую. Меня определили в 4-й эскадрон 23 кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для остротки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что не замечен был переход от забытья к бодрствованию.

Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места. Казака решили судить в ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз.

Мука, которую я вынес с Аргамакон, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с Терека, из дому. Она была обучена на казачью рысь, на особый казачий карьер — сухой, бешеный, внезапный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибывался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артдивизионе при 15-й пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы ездили в оружейной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жесткой, в раскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи раз'едали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опосали брюхо лошади. От неумелойковки Аргамак начал засекаться, задние ноги его распухли в тутовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.

— Аннулировал ты коня, четырехглазый, — сказал взводный.

При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать...

¹⁾ Ненапечатанная глава из «Конармии».

Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят верст. Мы приближались к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушные их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны.

Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.

Взводный как-то сказал мне:

— Пашка все домогается, каков ты есть...

— А зачем я ему нужен?

— Видно, нужен...

— Он небось думает, что я его обидел?..

— А неужли ж нет, не обидел...

Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.

— Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Баулина.

Эскадронный проехал мимо и зевнул.

— Это не моя печаль, — ответил он, не оборачиваясь, — это твоя печаль...

Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.

Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был земляк Тихомолову, он знал Пашкиного отца, там, на Тереке

— Евронный отец, Пашкин, — сказал мне однажды Бизюков, — копей по олооте разводит... Боевитый ездок, дебелий.. В габух приедет — ему сейчас коня выбирать... Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит... Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо, махнет кулачищем, даст раз промежду

глаз --- коня и нету. Ты, зачем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит, страшной охоте мне на этом коне не ездить... Меня этот конь не заохотил... У меня, говорит, охота смертельная... Боевитый ездок, это нечего сказать.

И вот Аргмак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот.

Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки отеснили нас. Они дали бой для того, чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужил ураган, секущий дождь, летняя тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки. В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомом. Так верно строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбил от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади.

— Ты что бойцов маринуешь, — сказал Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя.

— Верно надо, если мариную...

— Смотри, нарвешься...

Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной магли. Они волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступенях костела и парил себе в лохани ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железом в начале закалки. Ключья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичах и черепице

костела. Бизюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рванную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Паша стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно.

— Знатьця так,—произнес казак едва слышно.

Я выступил вперед.

— Помиримся, Паша. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить... Помиримся, что ли?..

— Еще пасхи нет, чтобы мириться,—взвонный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.

— Похристосуйся с ним, Пашка, — пробормотал Бизюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца, — ему желательно с тобой христосоваться...

Я был один среди этих людей, друзья которых мне не удалось добиться.

Пашка, как вкопанный, стоял перед лошадей, Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.

— Знатьця так, — повторил казак,

резко ко мне повернулся и сказал в упор, — я не стану с тобой мириться.

Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.

— Ты меня врагом наделил, — сказал я ему, а чем я тут виноват?

Эскадронный поднял голову.

— Еще что-нибудь скажи.

— Еще скажу...

— Я тебя вижу, — прервал меня командир,—я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь—без врагов...

— Похристосуйся с ним, — пробормотал Бизюков, отворачиваясь.

На лбу у Баулина, отпечталось огненное пятно. Он задергал щекой.

— Ты знаешь, что это получается?—сказал он, не управляясь с своим дыханием, — это скука получается... Пошел от нас к трепанной матери...

Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6 эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы там ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.

1924—1930.

Открытое письмо

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ

Годами грез,
Ночами мук
Я выстрадал тебя,
Мое сознание.
Врезайся в мир
Стихов упорный звук —
Последнее
Я вынес испытание.
Последнее...
И вот горит звезда
Все тем же пламенным
И незакатным светом,
Звезда всемирная
Республики труда,
И радостно мне быть
Ее поэтом.
Осколок прошлого,
Дитя сословий, рас,
Сын века подлого
Обид и унижений,
В огне борьбы
Я врос в рабочий класс
В дни грозные
Побед и поражений.
Шатаниям я отдал дань
С законностью полунинтеллигента,
И я узнал,
Как вырастает ткань
От философии —
До злобы интервента.
Наследья прошлого
Тончайший яд культур,
Я пил его,
И знаю — был отравлен,
Не потому ль,
Порою чересчур,
Мой грустный стих
В раздумия оправлен?
Я не кляню тебя,
Мой трудный рост
И то, что не всегда
Был в жизни стойким,
Стыдиться нечего —
Не так уж прост
Наш век неслыханной
Всеобщей перестройки.
Я слишком знал тебя,
Проклятый старый мир!
Твой страшный лик

Я вижу неотступно,
Я слышал твой
Предсмертный дикий пир, —
Звериный рев
На торжищах преступных.
Тяжелый бред!
Весь небосклон в крови,
Но, кровь замученных,
Ведь ты еще обильней,
Слова безумные
Язык мой назови,
Но знаю я,
Что мы с тобой бессильны..
Века веков,
Тысячелетья тьмы, —
Вот путь истории,
Жестокий, неизменный,
Мираж вставал,
Но снова мрак тюрьмы
Окутывал
Пределы всей вселенной.
Сократ, Шекспир, Бетховен и Вольтер...
Вы только звезды
В этом черном небе,
Играла музыка
Божественных химер,
Но не смолкал
Безумный вопль о хлебе
И хищник рос,
Плодился и тучнел,
Звенело золото,
Постукивали счеты,
Струилась кровь,
И поп гнусаво пел
Среди костров,
Помостов, эшафотов.
И хищник царствовал
Средь тюрем и церквей,
В столетиях,
Меня лишь наряды,
Он вытеснил зверей,
Он выбил дикарей,
Сам — омерзительней
Всех бывших в мире гадов.
К вершинам знания и красоты
Свою когтистую
Протягивал он руку, —
Как Мефистофель заклинал цветы,
Блаженство превращая в муку.

И золото
Вдруг обращалось в кровь,
Любовь и страсть —
В продажные камни,
И вера — в ложь.
И шествовали вновь,
С Христом и Буддой,
Смерть и преступленья...
Хвала тебе,
Великий, грозный класс!
Железный авангард
Республики Советов.
Над смрадом войн,
Враждой племен и рас
Поднявший знамя
Огненного цвета.
Кровь перешла в огонь...
Горит твой алый свет
Над миром прошлого,
Навек опустошенном,
Ты заменил
Неверный блеск комет
Организованностью
Воли миллионной.
К тебе простерлись
Руки всех детей,
Я слышу
Этих радостных малюток:
— Мы не хотим воров,
Убийц и королей!
— Не надо нам —
Принцесс и проституток!
Учет и план —
Два слова наших дней.
Возвышенной
Поэзии певучей.
Учет и план —
Они врагам страшней
Штыков и пушек
Армии могучей.
Сквозь мгlistый пар,
Груда горячий пот
Уже теперь
Видны нам очертанья:
Восходит ввысь
И крепнет и растет
Социализма
Солнечное зданье.
Идите все,
Несите мысль и труд
В давно готовые
Проверенные соты.
Пусть каждого
Потомки назовут
Участником
Невиданной работы.

Я не скажу —
Страна Советов — рай,
Блаженный сад
Беспечных и счастливых,
Нет не таков
Труда суровый край,
Не надо лжи,
Хотя бы и красивой.
Легко прочесть:
«План выполнили в срок»,
Но я видал
Те согнутые спины,
У домен и мартен,
Где огненный поток,
В утробах шахт,
У врубовой машины.
Нет, не легко
Дается блеск побед!
Но каждый чувствует,
Что он не раб унылый,
И он готов,
Сомнений в этом нет,
Для дела общего
Отдать и жизнь и силу
Вновь хищники
Оружием гремят,
Без крови не прожить
Матерым тиграм.
Стеной железной
Встань, пролетариат,
Ты слышишь
Их предательские игры?
Пускай испробуют
Смертельное вино,
Барышники всех стран
А паразиты,
Вспрос решен
Историей давно,
Их не спасут
Ни танки, ни иприты...
Он шествует,
Тот долгожданный век,
Что предсказал нам
Мудрый Маркс и Ленин.
Достойным звания
Ты станешь, человек,
В саду прекрасном
Новых поколений.
Последняя
Падет стена тюрьмы,
Я верю:
Близки эти годы,
Из царства принужденья
Выйдем мы
В мир солнечный
Действительной свободы.

Эскадра идет дальше

Повесть

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

I

Двадцать суток потратили мы на переход через Индийский океан, двадцать суток находились вне видимости берегов, среди водной шири и неба. За это время, к нашему счастью, мы не испытали ни одной настоящей бури. Были только отдельные налеты ветра, как озорные набегу ребят, но это не причиняло нам особых хлопот. Некоторые дни хмурились и моросили дождем, словно оплакивали нашу судьбу, а потом снова загорались ослепительным блеском тропиков. Неодинаковы были и ночи — то облачные, наполненные густой и плотной тьмой, какая бывает в неосвященной утробе судна, то ясные и синие, завораживающие сиянием луны и звезд.

После того, как мы оставили Мадагаскар и взяли курс к Зондскому архипелагу, для всех ясно стало, что эскадра идет на Дальний Восток.

Чувства раздвоились: с одной стороны подавленность — нас не вернули в Россию, с другой — нам все надоело и скорее хотелось той или иной развязки.

В первый же день нашего пути с парохода «Киев» бросился в море матрос. Были приняты меры, чтобы спасти его, но адмирал, узнавши, в чем дело поднял сигнал: не искать. Матрос утонул. На следующий день подобный случай повторился на крейсере «Жемчуг» — также выбросился за борт матрос. Он долго плавал, пока его не подобрал госпитальный «Орел». Что произошло с этими людьми? Нормальные они были или нет? Неужели страх перед грядущей смертью толкнул их покончить жизнь самоубийством?

Ни одни сутки не проходили без того, чтобы на том или другом корабле что-нибудь не случилось: повреждения в машине, в кочегарке, в руле. Судно выходило из строя, останавливалось или шло тихим ходом под одной машиной, задерживая всю эскадру. Миноносцы тянулись за транспортом на буксирах; буксирные перленя часто лопались. Это тоже тормозило наше продвижение вперед. В среднем эскадра проходила за сутки около ста сорока морских миль.

Многих занимал вопрос: почему мы не дождались в Носси-Бэ эскадры контр-адмирала Небогатова? В этом была какая-то непонятная для нас тайна. Я несколько раз прислушивался к разговорам офицеров, но и они ничего определенного не знали и только строили свои догадки.

— Командующий, как я слышал, считает 3-ью эскадру только обузой для себя, — говорили одни. — Поэтому решил не встречаться с нею.

— Этого не может быть, — возражали другие. — Вероятнее всего, что Небогатову назначено где-нибудь рандеву. Не исключена возможность, что мы соединимся с ним в открытом море.

— В таком случае какими соображениями руководствовался адмирал, разрознивая свои силы? Мы ведь со дня на день ждем нападения противника. Опасность эта возрастает по мере того, как мы приближаемся к Японии.

Хотя никто и не верил в большую помощь 3-й эскадры, но, видимо, всем хотелось, чтобы она была с нами.

До сих пор мы грузились углем в разных бухтах, в какие заходили. Теперь же через каждые трое-пятеро суток за-

нимались этим делом на океанском просторе. С утра, по сигналу флагмана, эскадра останавливалась на дневное время, застопорив машины, но не отдавая якоря. Боевые корабли спускали барказы и паровые катера, а транспорты — специальные железные бога с воздушными ящиками. С каждого линейного судна посылались в сопровождении офицеров партии матросов не менее ста человек на угольный транспорт. На их обязанности лежало работать в трюмах, заполнять мешки углем. Назначались еще команды на барказы и бота, снабженные мешками, стропами и лопатами. Строй эскадры нарушался: транспорты и боевые корабли держались по способности. Вспомогательные крейсера — «Днепр», «Рион» и «Кубань», — имея в своих объемистых трюмах достаточные запасы угля, не нуждались в дополнительных погрузках. Этим судам было приказано нести дозорную службу для предупреждения эскадры в случае внезапного появления противника. Они расходились по окружности горизонта, но держались не дальше как в пределах видимости сигналов.

Как и во время предыдущих погрузок, в работе принимали участие все, не исключая и офицеров. Способ погрузки был самый примитивный: одни в трюмах транспортов наполняли мешки углем, другие отвозили эти мешки на ботах и барказах к своим кораблям, кто стоял на лебедке, кто сыпал уголь через горловины в угольные ямы. Через каждый час сигналом сообщали адмиралу о результатах погрузки. Нельзя было отставать от других. Поэтому сам старший офицер Сидоров, желая показать пример другим, становился на оттяжки и помогал в работе. Угольная пыль оседала на его лицо и китель с золотыми погонами. Грозные седые усы, острая борода и густые брови становились черными. По временам он покрикивал:

— Нажми, белята, чтобы нам не остаться в хвосте.

И матросы нажимали, одетые в равные рабочие штаны и нательные сетки. Ноги были обуты, вместо сапог, в самодельные лапти или просто обмотаны тряпками и шкердами. Редко у кого осталось больше одной фуражки — ее нужно было беречь. Поэтому каждый

прикрывал голову несуразным колпаком, сшитым из старой парусины, или чалмой из ветоши. Все были скорее похожи на крючкотв, работающих на баржах, чем на военных моряков. Крики людей и лязг лебедок разносились с кораблей, окутанных черным туманом пыли. Среди беспорядочной толпы судов, паровые катера, покачиваясь на зыби и давая свистки, тащили на буксирах в разных направлениях барказы и бота, то пустые, то переполненные грузом.

Так обыкновенно продолжалось часов до пяти вечера без отдыха, с перерывом лишь на обед. Погрузка кончалась по сигналу с «Суворова». Все барказы, паровые катера и бота поднимались на место. Эскадра снова выстраивалась в походный порядок и шла дальше.

Весь мир удивлялся, как это огромнейшая эскадра решилась пойти в такую даль, не имея по пути ни одной угольной станции. А на деле выходило все гораздо проще, чем многие думали. Командующий и его штаб ничего не придумали тут нового и разумного — выручала из беды мускульная сила людей.

Хуже обстояло дело с мешками. Правда, только на один броненосец «Орел» их было отпущено три тысячи штук, но они ничем не отличались от обыкновенных мучных мешков. Заполнять их углем было трудно: двое должны держать мешок на высоте своих плеч, а третий насыпать. Работа шла чрезвычайно медленно. В довершение всего мешки эти постоянно расплзались и лопались от семипудовой тяжести и острых углов угля. Много времени тратилось на починку их. И неудивительно было, как все обрадовались, когда достали с транспорта «Корея» семьдесят мешков немецкого производства, специально приспособленных для погрузки угля. Они были сделаны из двойной парусины и обшиты по краям тросами. Твердые, кубической формы, они стояли в трюме, словно корзины. В каждый такой мешок, вместимостью до семнадцати пудов, могли насыпать уголь сразу три человека.

Эти погрузки угля больше всего выматывали силы эскадры. Галерникам жилось, вероятно, легче, чем нам. Мы дышали угольной пылью, забывая ею

легкие, мы ощущали ее хруст на зубах и проглатывали с пищей, она в'едалась нам в поры тела. Мы спали на ворохах угля. Из угля мы создали себе идола и приносили ему в жертву все — наши силы, здоровье, спокойствие, удобство. Думали только о нем, отдавали ему всю изобретательность, хотя и не придумали ничего путного. Он, как черная завеса, заслонил от нас более важные дела, словно перед нами стояла задача не воевать, а только приблизить эскадру к японским берегам. Мы завалили углем всю батарейную палубу настолько, что 75-миллиметровые пушки в случае минной атаки не могли бы быть пущены в действие. А Рождественский словно помешался на таких погрузках. Говорят, он и во сне иногда выкрикивал:

— Уголь, уголь! Я приказываю еще грузить! Грузить доотказа!

Живые быки, находившиеся у нас на палубе, убавлялись в числе. В перемижку со свежим мясом мы стали есть солонину. Но она была просолена неумело и от жары почти вся испортилась. Каждую бочку, вытащенную из ахтерлюка, выкатывали на бак и там уже раскрывали ее с предосторожностью. Обыкновенно кок или артельщик обухом топора ударял по дну бочку и сейчас же убежал прочь, так как из образовавшихся щелей, пенясь и шипя, начинал бить фонтаном прокисший и забродивший рассол. По всей палубе распространялся такой отвратительный запах, что все зажимали носы. Только спустя несколько минут можно было снова подойти к бочке, чтобы закончить расчистку дни. Сколько ни вымачивай в воде такую солонину, она мало чем отличалась от разложившейся падали.

Находясь при таких тяжелых условиях, мы давно должны были бы подохнуть. А мы не только продолжали жить, но временами и смеялись. В свободное время раздавались звуки гармошки или гитары. Пели песни хором или в одиночку. Находились матросы, которые, несмотря на усталость, отплясывали трепака. На баке рассказывали о разных смешных случаях. Это облегчало нашу участь, спасало нас от сумасшествия.

Иногда развлекал нас своими причинами Рождественский. Как-то сигналом он ошарашил корабли новостью, что

вблизи находится японская эскадра. Невольно возникал вопрос: откуда он узнал об этом? Ни одно из иностранных судов не приставало к «Суворову», а до берега было около двух тысяч морских миль. Конечно, у нас по ночам принимались все меры охраны и дежурили при заряженных орудиях. С разведочных крейсеров, после такого предупреждения адмирала, то и дело стали доносить, что они видят огни то впереди, то по сторонам. По проверке оказывалось, что никаких огней не было. Так «Изумруд» сигналом сообщил:

— На горизонте вижу корабль.

Адмирал переспросил:

— Что вы видите?

«Изумруд» ответил:

— Ничего.

Адмирал рассердился и просигналил «Изумруду»:

— Глупости.

Редкий день проходил без того, чтобы на каком-нибудь судне не был арестован за ту или иную оплошность вахтенный начальник. Пловучий госпиталь «Орел» за невнимание к позывным получил три холостых выстрела. Некоторые корабли за провинность адмирал ставил, как и раньше, на правый траверз «Суворова». Однажды ночью броненосец «Сисой Великий», шедший в левой колонне, ни с того ни с сего свернул внутрь строя и полез на нас. Правая колонна, увертываясь от таранного удара шального корабля, расстроилась. А «Сисой» сделал поворот на сто семьдесят градусов и пошел обратным курсом, ничего не сообщая о себе флагману. На мостике у нас недоумевали:

— Что с ним случилось?

— Кажется, в Россию понесся?

— Вот это номер!

С флагманского корабля спросили сигналом:

— «Сисой», уходите ли вы куда-нибудь?

Тот ответил:

— Имею повреждения в руле.

Адмирал приказал старшему офицеру «Сисоя» немедленно явиться к беспроволочному аппарату, и начался разговор по телеграфу:

— Кто на вахте?

— лейтенант Z.

— Отдать вахтенного начальника под надзор фельдшера.

— На мостике неотлучно находится командир.

— Объявляю ему выговор.

На «Сисое» было два доктора, но вахтенный начальник все-таки был отдан под надзор фельдшера. Можно себе представить, что переживал лейтенант Z, когда ему объявили распоряжение адмирала. Это означало — признаки психической ненормальности лейтенанта настолько явственны, что в них может разобратся даже низший представитель медицины.

В таком роде нелепости повторялись почти каждый день.

В ясные дни океан, замкнутый в широкий круг чертой горизонта, лежал темно-синей громадой под бледно-голубым небом. Офицеры и матросы всматривались вперед и по сторонам, в слепящие дали, и ничего не видели, кроме безжизненной пустыни. Жизнь была только в глубине вод, и она редко замечалась на поверхности. За кормой следовали беломраморные акулы, пожиравшие всякие отбросы с корабля. Казалось бы, не все ли равно, в чей желудок попадет после смерти твое тело? Однако, когда смотришь на этих прожорливых чудовищ, чувствуешь на спине знобящий холодок. Иногда кашелот показывал свою морду, черную и несуразно-тупую, как пень. Тревога вкрадывалась в сознание: не подводная ли это лодка? Но тут же раздавался шумный и протяжный, словно от безнадежного отчаяния, вздох животного, и сомнение людей рассеивалось. Где-нибудь в стороне от кораблей поднимался пущенный китом фонтан, белый на темно-синем фоне океана, похожий на взвихренную снежную пыль и сопровождаемый хрипяще-глухим стоном. Чаше давали о себе знать летучие рыбы. Величиною не больше средней сельди, они стаями выпрыгивали из воды и, сверкая чешуей, неслись над поверхностью океана на своих длинных и острых, как ласточкины крылья, плавниках. Пролетев сажен 30—40, они падали, поднимая мелкие брызги.

По вечерам, отделившись от своей работы, я выходил на бак. Здесь, у горящего фитиля, всегда можно было застать покуривающих матросов. От них

я узнавал все новости по эскадре. За последнее время сюда начал похаживать и старший боцман, кондуктор Саем, человек, лицо которого с густыми усами было фальшиво, как отражение в кривом зеркале. Недавно его отучили заниматься мордобойством. В тот момент, когда он ночью спускался по трапу вниз, рядом упал кусок железа, весом фунтов в десять. Виновника не нашли, но боцман понял, что этак и без войны можно потерять голову, и стал изгрывать с командой. Однажды я застал его у фитиля ночью. Небо густо было усеяно звездами. Синий сумрак нежно окутал заштилевший океан. Эскадра шла под полными огнями. Две кильватерные колонны, растянувшись напоминали широкую освещенную улицу города.

Боцман Саем долго сидел молча на выступе передней башни, а потом, вздохнув, тихо промолвил:

— В такую ночь только бы молиться. Душа сама устремляется к небу.

Ему на это кто-то сказал:

— А вам, господин боцман, приходится беспокоиться и произносить слова не совсем угодные богу.

— Ничего не поделаешь — военная служба. Тут все должно быть строго и точно, как на аптекарских весах. Иначе дело не пойдет.

— Значит, и без битья не обойтись?

Саем, оживляясь, ласково заговорил:

— Вы вот, братцы, обижаетесь на это, а все зря. Что делается с человеком, если я иногда разок — другой хлопысну его по морде? Ничего. Физия от этого только крепче станет. А разве лучше было бы, если бы я о каждом провинившемся матросе стал докладывать по начальству? Ведь половина команды пошла бы под суд. И мне не с кем было бы соблюдать порядок на судне. А тут сорвал на ком сердце и опять живи по душам, как полагается истинным морякам.

Боцман снял фуражку, вытер стриженую голову платком и продолжал:

— В сравнении с прежней строгостью теперь одна забава. Помню, как плавал я на учебном парусном судне, когда на квартирмейстера готовился. Вот где была настоящая служба! Старший офицер у нас был человек сильный и сытый —

лось, как морж. Горячки не порол, но характер имел крутой. Матросов бил молча, спокойно, словно дрова рубил. Все перед ним трепетали. Но зато бывало начнет командовать во время парусного учения — красота! Голос у него был — труба иерихонская. Как-то шквал налетел. Погнали нас на мачты паруса крепить. И вот один ученик сорвался с бом-брам-реи, но успел ухватиться за нижний край паруса. Повис, несчастный, в воздухе и давай мотаться во все стороны. Смерть пришла человеку. Старший офицер увидел его и заревел: «Тарасенко, держись, подлец, а то запорю!» А тот сверху протяжно пропищал, словно ребенок: «Есть ваше высокоблагородие, держусь». Вот это матрос! В такую помрачительную минуту и то дисциплину не забыл. Успели все-таки спасти его. Когда он очутился на палубе, на нем лица не было — точно гипсовая физиономия, а на ней два стеклянных глаза. Пальцы все были в крови. Глянули мы на них и ахнули: ногти под мясо ушли. Чувствуете, какая была служба, а?

— Очень даже чувствуем, — ответили матросы иронически.

— Вот и отлично — похвалил боцман. — Люблю понимающих ребят. Слушайте дальше. Подстать старшему офицеру был у нас и командир, только в другом духе. Своего матроса в обиду никому не даст и насчет пищи заботился. Не командир, а бриллиант чистой воды. Только больно горяч был. Огонь! Все бывало по мостику прохаживался и плечами дергал. От нервности больше. Когда рассердится, делается в роде как без памяти. Однажды квартирмейстер чем-то проштрафился перед ним. Командир бросился на него с визгом, обхватил руками шею и вцепился зубами в ухо. Весь свой белый китель испачкал кровью. Напрочь откусил ухо и выплюнул на палубу. Вот до чего ополоумел. Командир ушел к себе в каюту, а квартирмейстер — к доктору. Когда квартирмейстер вылечился как следует, призвал его командир к себе. «Ты, — говорит, — прости, что я малость погорячился. В Кронштадте может к нам адмирал явиться. В случае спросит, почему у тебя только одно ухо, надеюсь, сумеешь ответить. Скажешь — в ино-

странном порту по пьяной лавочке такая оказия случилась. А тебе за это вот награда». И сунул квартирмейстеру английский золотой — фунт стерлингов. Вот как служили. Но зато и порядок был.

Саем, поднявшись, окинул взором эскадру и воскликнул:

— Прямо целый город плывет. Несокрушимая сила.

Он пожелал спокойной ночи и ушел.

Кочегар Бакланов, лежа на палубе животом вверх, лениво процедил:

— Подлизывается к нашему брату продажная тварь.

— У хоряка больше совести, чем у него, — промолвил кто-то другой.

Но скоро забыли о боцмане, заинтересовавшись чудесами океана. Корабли проходили места, густо населенные светящимися медузами. В продолжении целого часа мы наблюдали зеленые огни в воде. Казалось, с таинственного дна всплывали электрические шары и сияли ровным светом среди ночного безмолвия.

II

С рассветом двадцать третьего марта перед нами с левой стороны открылась три небольших острова. Спустился час четвертый, показались берега и справа. За двадцать дней плавания мы впервые увидели землю. Эскадра входила в Малаккский пролив. К вечеру миноносцы отдали буксиры и пошли при помощи своих машин.

За время перехода через Индийский океан мы пять раз грузились углем.

На «Орле» среди команды распространилась новость, исходившая из радиорубки. Пришлось обратиться за сведениями к телеграфистам. Оказалось, накануне ночью вспомогательный крейсер «Терек» сообщил по беспроволочному телеграфу:

«Взбунтовалась команда. Требуется смены старшего офицера. Считаю команду неправой. Командир».

На это с «Суворова» последовал ответ:

«Фельдфебелей разжаловать в матросы 2-й статьи. Назначить других фельдфебелей. Дело будет разбираться следствием. Адмирал Рождественский».

Меня очень заинтересовал вопрос: что случилось на «Терек»? Но об этом

я узнал только на одной из следующих стоянок, когда увиделся с командой этого крейсера.

Эскадра, войдя в Малаккский пролив, перестроилась в новый походный порядок: первый броненосный отряд справа и второй—слева; между ними разместились транспорты с миноносцами; впереди—разведочный отряд; позади, в кильватер броненосцев,—отряд крейсеров; в замке—крейсер «Олег».

Очевидно такой строй эскадры адмирал Рождественский считал наиболее безопасным.

Стали встречаться иностранные коммерческие суда.

Бдительность на эскадре усилилась. С наступлением темноты на кораблях не зажигали огней, кроме отличительных и гакобортных. На броненосце «Орел» сигнальщики стояли не только на мостиках, но и на марсах и салингах. Офицеры и оружейная прислуга дежурили у своих пушек. Погребя были открыты, при них находились люди, готовые к подаче снарядов. Все иллюминаторы задраили боевыми крышками. Внутри судна, накаленного за день тропическим солнцем, стояла душливая жара.

У нас в кочегарке лопнула паровая труба, идущая от пятнадцатого котла к магистрали. Дело обошлось без жертв, но броненосец вышел из строя. Несколько крейсеров осталось охранять нас. Пока закрыли клапан в котле и подняли пар в остальных, прошло полтора часа. За это время командир, находясь на мостике, весь издергался и охрип от крика. Через каждую минуту он спрашивал по телефону в машину:

— Когда же вы кончите там?

И начинал ругаться, нервирова этим работающих людей.

«Орел» наконец пошел, развил ход и, догнав эскадру, занял свое место в строю.

Остальная часть ночи прошла благополучно.

Мы шли вдоль берега крупнейшего острова Суматра, покоренного голландцами. Справа от нас, неясно, словно поднимающиеся испарения, синели его загадочные берега. Я смотрел на них с жадностью любознательного ребенка и думал: забраться бы туда, в этот новый мир, побродить в девственных ле-

сах, посмотреть на таинственные озера и реки, окунуться в жизнь четырех миллионов не виданных мною малайцев. Остались ли где-нибудь на нашей планете вольные земли? Все захвачено капиталистическими странами. Поверхность пролива, ровная, словно литая, сияла голубыми переливами с изумрудными оттенками. Над кораблями носились фрегаты. Иногда эти оригинальные птицы снижались почти до мачт, паря в солнечных лучах, коричнево-черные, с пурпуровым отблеском на груди, с острыми полусажеными крыльями, с длинным раздвоенным хвостом. Они плавали по воздуху то медленно, как бы приспособляясь к ходу судна, то вдруг уносились вперед с быстротой стрижа. В особенности интересно было наблюдать за ними в те моменты, когда, спасаясь от врагов, выпархивала из воды летучая рыба. Словно снаряды от навесного огня, фрегаты падали вниз, с необыкновенной ловкостью набрасывались на свою поживу, а потом снова взмывали вверх, и почти у каждого из них в длинном крючковатом носу трепетала жертва, сверкая перламутром чешуи.

Мы не переставали получать тревожные вести от разведочных крейсеров. Им все мерещились неприятельские корабли. Когда этому настанет конец? Каждый раз у нас напрасно били боевую тревогу.

Малаккский пролив постепенно суживался.

В одну из ночей налетел шквал с тропическим ливнем и грозой. Вот когда был удобный момент для минной атаки. Неприятельские миноносцы могли бы приблизиться к нам вплотную, и никто бы их не заметил. Я представлял себе, что произойдет с эскадрой в сорок пять кораблей, сбитой в такую тесную шестикордонную кучу, в которую любая торпеда может ударить без промаха. Теперь и для меня стало ясно, что принятые меры охраны эскадры никакими не годились. Главное ядро ее представляли четыре новейших однотипных броненосца. Казалось, вот их-то и нужно было больше всего охранять. А они, как и броненосцы первого отряда, совершенно не были обеспечены с флангов ни быстроходными крейсерами, ни

миноносцами. Разум подсказывал мне, что потеря ничтожного судна не остановит движения эскадры вперед, но если будет потоплен первоклассный броненосец, то это сразу расстроит все наши планы. А Рождественский поступал как-раз наоборот, превратив лучшие линейные корабли в охрану. И кого охранял? Транспорты и миноносцы. К счастью, мы никого не встретили, кроме трех пароходов. Их освещали прожекторами, передавая по очереди друг другу, пока они не скрылись у нас в тылу.

Утро было пасмурное. В честь праздника благовещения отслужили обедню. Команда была освобождена от раб^{от}.

Крейсер «Алмаз» шел под флагом контр-адмирала Энkvиста. Вдруг там появился сигнал, что сам адмирал, командир и офицеры, находившиеся на мостике, а также и сигнальщики ясно видели десять судов. В них нельзя было не признать миноносцев, прятавшихся за встречный английский пароход. Затем они быстро скрылись в направлении на норд-ост.

На «Орле» все заволновались, ожидая, что сейчас начнется сражение, но там ничего не было видно, кроме упомянутого парохода.

Меня в данном случае удивляло одно: если действительно были усмотрены миноносцы, то почему не предприняли энергичных мер против них. Необходимо было бы моментально выслать за ними погоню из быстроходных крейсеров или миноносцев. Скорее всего опять произошла ошибка. Скорее всего в глазах людей, пораженных страхом, одно коммерческое судно удесетерялось и превращалось в целую минную флотилию.

Осталось ходу только на одни сутки — и Малаккский пролив кончится. Последняя ночь была самая напряженная. Эскадра прошла мимо города Малакка. Видны были огни, разбросанные по набережной. Еле уловимый береговой бриз доносил до нас пряные ароматы тропиков. В воображении рисовалась иная жизнь — экзотически-сказочная, без пушек и торпед. Хотелось броситься за левый борт и плыть прямо на призывно сверкающие огни.

В одиннадцать часов дня все узкости пролива остались позади нас. Эс-

кадра перестроилась в прежний походный порядок. Транспортам было приказано следовать в арьергарде.

После обеда слева показался город Сингапур, расположенный на самой южной оконечности Малаккского полуострова. В бинокль можно было разглядеть около десятка пароходов и два военных корабля, стоявших в бухте, а также несколько больших цистерн, расположенных на берегу. За ними смешались в одну кучу белые квадраты зданий, прорезанные путанными линиями зелени. Отчетливо выделялся только один собор в готическом стиле. В городе с населением в полтораста тысяч господствовали англичане. Справа от нашего курса разбросались пустынные острова с отмелями апельсинового цвета, в окружении зеркальных вод. Казалось не проливом, а по могучей реке выплывали мы в голубой простор Южно-Китайского моря, в бесконечное знойное море.

Из Сингапура навстречу нам вышел небольшой пароход под флагом русского консула. На пароходе подняли сигнал: «Имею на борту консула, он же лает личного свидания с адмиралом». Но эскадра не остановилась. К пароходу был послан миноносец «Бедовый». Как после узнали, консул, надворный советник Рудановский, передал на него какие-то пакеты. Затем миноносец прошел вдоль колонны первого отряда, передавая в рупор новости на суда. Мы слышали от него только две фразы: «Японский флот севернее Борнео Куропаткин сменен, назначен Ленеvич».

Консульский пароход догнал флагманский корабль и шел некоторое время около его борта.

Вечером с «Суворова» передавали по семафору на броненосец «Ослябя» лично адмиралу Фелькерзаму такие сведения:

«Пятого марта главные силы японского флота, из двадцати двух боевых кораблей, под начальством адмирала Того, приходили на рейд Сингапура. Теперь эти силы находятся у Лабуана на острове Борнео Крейсера и миноносцы скрываются у острова Натуна. Вчера они могли узнать о нашем движении. Небогатов вышел из Джибути».

Теперь никто не сомневался, что японский флот находится от нас в двухстах милях. Об этом сообщил сам консул. А он, живя в Сингапуре, очевидно, точно узнал, что на рейд приходили двадцать два боевых корабля. Значит, японцы хотят заранее напасть на нас, не дожидаясь, когда мы придем в их воды¹⁾.

У нас спешно начали готовиться к бою. Закипела работа. Беспощадно ломали дерево и спускали его в трюмы. Забивали углем каюты для защиты опреснителей, поставленных в батарейной палубе. Сетями и тросами прикрывали все, что представляло собою ценное.

Не спали всю ночь.

С утра следующего дня эскадра останавливалась лишь на несколько часов, чтобы миноносцы могли погрузиться углем. И пошли дальше по Южно-Китайскому морю. Впереди рассыпался цепью разведочный отряд из крейсеров: «Светлана», «Кубань», «Терек», «Урал», «Днепр» и «Рион».

Четверо суток мы шли до берегов Аннама, четверо суток находились в большой тревоге, ожидая нападения неприятельского флота. Но он все не показывался, несмотря на частые донесения наших разведчиков, что они будто бы видят его. Такая бестолочь истрепала нервы личного состава.

Тридцать первого марта сквозь утренний туман увидели берега с высокими горами. Эскадра остановилась перед бухтой Камранг, расположенной на двести миль севернее Сайгона. Были высланы вперед миноносцы, чтобы протралить вход в бухту и места якорной стоянки. Затем пошли катера и шестерки, имея назначение расставить вехи по диспозиции и произвести промер.

От Мадагаскара до Камранга мы прошли расстояние в четыре тысячи пятисот шестьдесят морских миль, не заходя ни в один порт. На такой путь потребовалось двадцать восемь изнуряющих суток. За это время много было пережито волнений и тревог—эскадра останавливалась сто двенадцать раз. Из этого числа тридцать девять остановок бы-

ли вызваны тем, что рвались буксирные перленя, а в остальных семидесяти трех случаях задерживались вследствие повреждений, котлов, механизмов и рулей.

Пока в бухте производили траление и промер, эскадра занялась погрузкой угля с транспортов.

В этот же день на броненосце «Орел», после обеда произошел маленький случай, развеселивший многих матросов.

Мичман Воробейчик прилег у себя в каюте на койку. Имея свободного времени каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут, он не разделся, не разулся и даже не снял с носа очков. Повидимому, ему просто хотелось только почитать книгу, лежа на спине и свесив ноги на пол. Но предательский сон охватил мичмана своими мягкими и облакивающими объятиями, охватил настолько, что из его аккуратенького носа с тонкокрылыми ноздрями понеслись свистящие звуки.

В это время мимо каюты Воробейчика проходил кочегар Бакланов. Увидев мичмана спящим, он остановился, оглянулся—в офицерском коридоре никого не было. И ему моментально пришла мысль выкинуть одну шутку, не считаясь с тем, что ему придется отвечать за нее, если попадетсЯ. Конечно, запачканный угольной пылью, он мог рассчитывать на то, что его трудно узнать, а задержать его, когда он бросится в кочегарку, у мичмана нехватит ни силы, ни решимости. Бакланов достал из кармана папиросную бумагу, отделил два листочка и заклеил ими оба стекла мичманских очков. Воробейчик продолжал свистеть тонкокрылыми ноздрями. Тут же он был схвачен за ногу и над ним раздался пугающий возглас:

— Пожар!

Кочегар Бакланов убежал в помещение команды, а мичман вскочил, как шальной. Что должно было представиться в его воображении, встревоженном страшным словом, да еще после крепкого сна? Он ничего не видел перед глазами, кроме серой пелены, похожей на дым. Воробейчик, шарахаясь в своей каюте и не находя выхода, завизжал:

— Вестовой! Вестовой!..

¹⁾ Впоследствии выяснилось, что консул зря наболтал: никакого японского флота на рейде Сингапура не было.

В ту же минуту в дверях каюты вырос вестовой.

— Чего извольте, ваше благородие?

Но Воробейчик уже держал в руках очки с заклеенными стеклами. Бледный, он весь дрожал и тарашил непонимающие глаза. Потом, захлебываясь от ярости, закричал:

— Кто сейчас здесь был?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Догнать этого негодяя! Я его в тюрьме сгною, повешу! Какого же чорта ты стоишь? Бегом, негодяй!

Вестовой тоже ничего не понимал и продолжал стоять, пока не получил несколько пощечин.

После он жаловался другим вестовым:

— Барин мой совсем спятил. Кого-то заставляет ловить и в драку на меня лезет. А очки свои для чего-то папирсной бумажкой заклеил.

Воробейчик в этот день ходил с таким видом, словно у него разболелся зуб; мичман старался не смотреть на команду, чувствуя в каждой паре глаз насмешку над собою.

III

Разглядывая бухту Камранг, я думал о вечной борьбе суши с водной стихией. Мне казалось, что Аннамские берега с горными хребтами и высоченными вершинами сплошным изогнутым фронтом наступали на море. Но море стойко боролось за пространство и старалось прорвать этот фронт. Оно, вгрызаясь в каменный берег, проникло двойным проливом в материк, а потом постепенно начало раздвигать горы и скалы в стороны. Прошли тысячелетия, и в суше образовался просторный бассейн с несколькими небольшими заливами. Дальше, в глубине материка, был еще такой же бассейн, который соединялся с первым узким горлом, способным, впрочем, пропустить самые большие океанские корабли. Моряки, побывавшие на Дальнем Востоке, утверждали, что Камранг с двумя своими бухтами напоминает Порт-Артур.

Внутри бухты было дико и пустынно. Из глубины суши спускалась к воде отлогая равнина и заканчивалась низменностями, поросшими кустарником. Кое-где по скатам протянулись красные по-

лосы, как незажившие раны на теле великана. Леса, несмотря на солнечный зной, не отличались тропической пышностью—зелень их пряталась в ущельях среди серых и бесплодных скал. И нельзя было не удивляться, что заставило несчастных аннамитов поселиться в семи-восьми хижинах около самой воды, под сенью кокосовых пальм, у подошвы горной громадины. На противоположной стороне рейда приютилась небольшая французская колония с почтой и телеграфом.

В первой бухте разместились по позиции боевые корабли, а во второй—скрылись транспорты и вспомогательные крейсера.

Гранитный островок, отшлифованный до блеска волнами, разделил выход в море на два пролива: меньший из них, чтобы не прорвались к нам неприятельские миноносцы, заградили боном из бревен и железных ботов, а второй постоянно охраняли миноносцы и минные катера. Несколько крейсеров по очереди несли дозорную службу. Для этого каждый из них выходил в море и крейсировал в милях десяти от Камранга. Словом, были приняты строжайшие меры охраны эскадры.

Но вот что случилось ночью на 1 апреля. Транспорты еще днем накануне вошли в бухту Камранг, а боевые суда остались в море до следующего утра. Восемь броненосцев и двенадцать крейсеров с несколькими миноносцами, по распоряжению командующего, должны были провести ночь на морском просторе. Удалившись от Камранга миль на пятнадцать, они разделились по-отряду и застопорили машины. Зыбило море, отражая расплескавшийся блеск молодой луны. Эскадра держала огни, соответствующие застопоренным машинам. Хоть и слабо дул ветер, но вместе с течением он постепенно развертывал корабли в разные стороны, нарушая всякое подобие строя. Некоторые суда время от времени давали небольшой ход, чтобы отыскать свое место, и лезли друг на друга, угрожая столкновением. Недозревшая луна, спускаясь, застряла на несколько минут в снастях «Суворова», а потом, освободившись от пут, скрылась за горизонтом. Тьма усилилась, море почернело. Под конец ночи

в отряде броненосцев, вместо восьми судов, оказалось девять. На мостике у нас старший штурман Саткевич первый обратил на это внимание. Лейтенант Гирс заворчал:

— Что за чепуха такая! Откуда взялось лишнее судно?

— Да, какое-то прибрлудило,—сказал инженер Васильев.

«Суворов» прожектором осветил неизвестное судно, сейчас же на него направили свои лучи и другие броненосцы. И только теперь увидели, что это был пароход без флага, неизвестной национальности. Он начал, было, удаляться, но за ним бросились наши гончие-миноносцы. Они признали в нем обыкновенный немецкий грузовик, но так как он был порожний, то с миром отпустили его.

Лейтенант Гирс возмущался:

— Мы ждем минной атаки, а у нас среди броненосцев спокойно шляется чужое судно. Более беспечной эскадры, мне кажется, не найти во всем мире. Ну и хаос царит у нас!

С ним согласился остальными офицерами.

Инженер Васильев подзадорил:

— Будь это самый захудалый японский крейсерок с минными аппаратами, он мог бы потопить любой наш броненосец.

— Конечно, он выбрал бы флагманский корабль.

Стоянка наша в бухте Камранг, вопреки ожиданиям многих, затянулась. Предполагали, что здесь мы только перегрузим уголь с четырех немецких транспортов, прибывших из Диего-Суарес, и пойдем дальше. Но морское министерство, с которым Рожевский сносился по телеграфу через Сайгон, имело какие-то свои соображения. Повидимому командующий получил распоряжение ждать эскадру контр-адмирала Небогатова.

Как и в Носси-Бэ, помимо судовых работ, занимались погрузкой угля. Ежедневно с кораблей производили стрельбы по щитам из орудий при помощи вспомогательных стволов. Раза два выходили в море для определения девиации и маневрирования.

На судовых радиостанциях получались непонятные знаки. Адмирал Ро-

жевский решил, что где-то близко находятся японцы, и предписал учредить на каждом корабле особый пост сигнальщиков для наблюдения за водой во все стороны от судна. На эти посты возлагалась обязанность предотвратить покушения на эскадру со стороны неприятельских подводных лодок.

Был великий пост. На броненосце «Орел» матросы исповедывались и причащались. Многие сейчас же рассказывали на баке, о чем их спрашивал на исповеди о. Паисий. Оказалось, что в числе других вопросов были и такие:

«Как относишься к начальству?» «Не читаешь ли запрещенных книжек?» «Не знаешь ли на судне политиков, которые идут против царя?»

Матросы возмущались священником, говоря:

— Ишь что ему, рыжему идолу, за хотелось узнать!

— Для этого-то и существует исповедь, чтобы выведать от нашего брата что-нибудь. Богу что ли все это нужно? Сами же попы говорят, что он всеведущий и всезнающий. На что же ему сдалась наша исповедь?

Кочегар Бакланов хвалился:

— Меня поп никогда не обманет, но ведь и я ему всю правду не скажу.

Транспорты «Киев», «Китай», «Юпитер» и «Князь Горчаков» совсем разгрузились. Вспомогательные крейсера проводили их до Сайгона и опять вернулись в бухту. Эскадра облегчилась от лишней обузы. Прибыл белый «Орел», привез свежую провизию, которую сейчас же разобрали по судам. Затем бросил якорь в бухте зафрахтованный в Сайгоне пароход «Еридан». Огромнейший корпус его был весь в заплатах, с облупленной краской, словно покрылся болячками и коростой. На нем были доставлены для эскадры быки, свиньи, куры, утки и разные продукты. Когда к нему пристали со всех судов барказы и начали разгружать его, то получилась исключительная картина. Каждый корабль хотел уватить себе провизию побольше. Тащили на барказы все, что попадалось под руки, не считаясь с учетом товара. Это было похоже на морское пиратство. Офицеры сначала поощряли свою команду, но потом им пришлось раскаиваться в этом. Работая

в трюмах, матросы добрались до спиртных напитков и начали разбивать ящики с шампанским. Тут же отбивали горлышки у бутылок и выпивали.

— Вот это вино! И кислит и сладит.

— Эх, хоть перед смертью отведать господского напитка!

— Неужто такое вино может ударить в голову? Я выпью его целое ведро.

Но не прошло и четверти часа, как послышались пьяные голоса. С каждой минутой число пьяных увеличивалось. Некоторые ползали на четвереньках или валялись неподвижно, другие начали буйствовать. В особенности отличились наши орловцы. Один, ополоумев, полез драться на доктора. Этого матроса схватили два офицера и в кровь избили ему лицо. Начальство теперь беспокоилось лишь об одном—скорее развести пьяных по своим судам.

Орловцы ухитрились украсть восемь ящиков с шампанским, погрузив их вместе с провизией на баркас. Но когда эти ящики были доставлены на броненосец, то лишь один из них удалось стащить и спрятать за двойным бортом, а остальные семь вместе с другим грузом попали в кают-компанию. Матросы явиться туда и обратились в одному мичману с требованием:

— Позвольте, ваше благородие, взять наше добро.

— Какое?—недоумевая, спросил мичман.

— Шампанское. Не ваше оно, а мы его сперли с парохода.

Мичман закричал на них:

— Вон отсюда, негодяи, пока я вам морды не побил!

— Вот как! Вам, значит, можно пить, а нам нет! Разве мы не вместе на войну идем? А кулаками вы нам не угрожайте. Наши кулаки посильнее ваших.

Матросы ушли. В кают-компанию поставили часового, но несколько человек из команды, явившись вторично, чуть не избили его. Пришлось ящики с шампанским скорее убрать в винный погреб.

Того матроса, который подрался с доктором, арестовали, и его, вероятно, казнят.

Что было делать? В кубриках и трюмах, в кочегарках и машинах, в башнях и казематах, в минных и

других отделениях закипала глубокая ненависть против кают-компании и верхних мостиков. Но она, эта ненависть, выливалась в нелепые и дикие выходки. И нам, более сознательным матросам, оставалось только огорчаться. Нас слишком было мало на судне, чтобы влиять на массу и сдерживать гнев ее для будущего времени, когда явится необходимость взорвать трехсотлетнюю плотину самодержавия.

В этот же вечер офицеры собрались в кают-компанию для секретного совещания. Ни один вестовой не мог проникнуть туда, так как все двери были закрыты. Но трюмный старшина Федоров, предупрежденный об этом совещании инженером Васильевым, заранее открыл в кают-компанию под столом горловину. Ни одному офицеру не пришло и в голову заглянуть под стол, под свисавшую с него белую скатерть. А между тем там, этажом ниже, в кормовом минном отделении сидело несколько человек и слушало тайный разговор. Речь шла о поднятии дисциплины в команде. Мнения офицеров разбились. Одни стояли за то, чтобы немедленно взять матросов в ежовые рукавицы и для примера несколько человек расстрелять. Другие возражали, доказывая, что время для этого упущено, и что падение дисциплины вызвано общими условиями, какие создались и в России и на эскадре. Старший офицер Сидоров стал на сторону матросов и поругался с лейтенантом Вредным, заявив:

— Вы не можете жить с людьми по-человечески. Вы только вооружаете и без того озлобленную команду против офицеров. Я вам официально заявляю: пока меня не освободили от обязанности старшего офицера, не вмешиваться в мою область и заниматься только своей специальностью!

Офицеры говорили долго, но так и не пришли к определенному выводу.

Только теперь, находясь в бухте Камранг, я наконец выяснил, что произошло на вспомогательном крейсере «Терек» 22 марта.

За день до означенного числа в каюте старшего офицера кто-то облил черной краской весь письменный стол. Несомненно, здесь была месть. Но кто посмел это сделать? Старший офицер заподозрил

одного матроса, который недавно был подвергнут им дисциплинарному наказанию. Он призвал предполагаемого виновника к себе в каюту, запер за ним дверь, выхватил из кармана револьвер и, багровея, крикнул:

— На колени, подлец!

Матрос, немного попятившись, исполнил приказание.

Старший офицер навел револьвер прямо в лоб ему и продолжал свирепо выкрикивать:

— Кайся, негодяй! Живым не выпущу отсюда.

— В чем, ваше высокоблагородие? — с дрожью в голосе спросил матрос.

— Ты облил краской мой письменный стол?

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

— А кто же?

— Не могу знать.

— Врешь! Я по твоим мерзким глазам вижу, что ты это сделал!

— Никак нет.

Старший офицер, тяжело дыша, задал еще несколько вопросов, а потом приказал:

— Клянись! Повторяй за мною: «Если я говорю неправду своему начальнику, то пусть первый японский снаряд разорвет меня на мелкие куски, и не видать мне больше ни отца, ни матери своей, ни жены и ни детей своих...»

Матрос повторял слова страшной клятвы, а когда дело дошло до жены и детей, то заявил:

— Я холостой, ваше высокоблагородие.

Старший офицер пинком в грудь свалил матроса навзничь.

— Прочь с моих глаз, скотина тупоумная!

Матрос вскочил и, когда перед ним открылась дверь, метнулся от каюты, как от будки с цепной собакой.

На второй день с утра он заявил претензию своему ротному командиру, прося его довести обо всем командиру судна. Ротный командир доложил об этом старшему офицеру. Опять матрос был призван к старшему офицеру, но уже на верхнюю палубу.

— Ты хочешь, чтобы я доложил о твоей претензии командиру судна?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— А ты подумал, что с тобой может быть?

Матрос теперь не боялся. О том, что над ним было проделано, знала вся команда. Он твердо ответил:

— Мне все равно, но прошу вас доложить командиру о моей претензии.

— Хорошо, — процедил старший офицер угрожающе.

В этот день «Терек» представлял собою потревоженный улей. Команда ждала распоряжения командира. Но глава судна молчал и никого не допрашивал. На мостике было спокойно.

Вечером, перед молитвой, когда командовали снять фуражки, из рядов команды послышались вопросы:

— Долго будет старший офицер нас мытарить?

— Почему он револьвером угрожал матросу?

— В каком законе это сказано?

Потом раздались более решительные голоса:

— Требуем смены старшего офицера!

— Ему не на судне быть, а на больших дорогах разбойничать!

— Долой дракона!

— А то все офицеры полетят за борт!

Шум продолжался. Перед фронтом появился сам командир. Но команда и по его распоряжению не расходилась, настаивая на немедленном удовлетворении своего требования. Попробовали вызвать караул, но ни один человек не явился на верхнюю палубу с винтовкой. Начальство растерялось. Старший офицер спрятался у себя в каюте. Тогда командир решил переменить тактику, обратившись к команде с краткой речью. Он упрашивал ее не скандалить и с своей стороны дал обещание, что произведет по данному случаю следствие. В заключение сказал:

— Даю вам честное слово, что если претензия матроса подтвердится, то старший офицер немедленно будет смнен.

В 11 часов ночи команда стала расходиться, не пропев на этот раз вечерних молитв.

В Камранге следствие действительно было произведено по делу «Терека», но не командиром, а флагманским обер-аудитором Добровольским. Это было сделано по распоряжению адмирала Рождественского. В результате старший офицер остался на месте, а несколько человек из команды, в том числе и тот матрос, который вздумал искать правду на корабле, были арестованы и отданы под суд.¹⁾

Эскадра продолжала стоять в бухте Камранг. Днем здесь было жарко, хотя почти всегда дул морской бриз. К вечеру наступала тишина, длившаяся до следующего позднего утра. По ночам, несмотря на звездное небо, сырая тьма ложилась на заштилевшее море, иногда возникали туманы.

Броненосец «Орел», как и другие суда, нагружался углем. Принято его было уже тысяча четыреста тонн. Ожидая нападения японцев, батарейную палубу оставили свободной, чтобы не стеснять действия ее орудий. Уголь ссыпали на ют и срезы, заполняли им буфет и кают-компанию. Офицеры перешли в запасной адмиральский салон, перетащив с собою и пианино.

Нашей стоянке в Камранге неожиданно пришел конец. Еще второго апреля в бухте появился французский крейсер «Descartes» под флагом контр-адмирала Жонкиера. Командующий эскадрой обменялся с ним визитами. Потом крейсер уходил куда-то и опять возвращался. Вероятно, он производил для нас разведки. А восьмого апреля контр-адмирал Жонкиер заявил Рождественскому, чтобы мы в течение двадцати четырех часов покинули территориальные воды французской колонии. После разгрома русской армии под Мукденом Франция еще меньше стала считаться с нами и, поддаваясь требованиям Японии, вышибала нас даже из самых глухих своих владений бесцеремонным образом.

На следующий день все боевые суда эскадры вышли в море. В бухте остались только транспорты и крейсер «Алмаз», чтобы покончить с погрузкой

угля. На «Алмазе» теперь поднял брейд-вымпел заведующий транспортами, капитан 1-го ранга Радлов, а контр-адмирал Энквист перенес свой флаг на крейсер «Олег».

Четыре дня эскадра болталась на просторе, то стопоря машины, то давая тихий ход кораблям, чтобы сохранить хоть приблизительный строй. Все время держались в виду бухты Камранг. Это было самое нелепое наше скитание. Тем временем Рождественский носился через Сайгон по телеграфу с Петербургом. Теперь более определенно выяснилось, что где-то здесь мы должны встретиться с эскадрой Небогатова. Кроме того, пришлось ждать разгрузки пароходов «Ева», «Дагмара» и «№ 3», доставивших из Сайгона провизию, уголь, припасы.

Наблюдая жизнь на корабле, я все больше удивлялся бессилию командного состава удержать власть над своими подчиненными. Бывало, стоило только услышать «все наверх»—и сотни людей бросались к трапам, сшибая друг друга. А теперь при срочных авральных работах многие матросы с такой же поспешностью летели с верхней палубы вниз и прятались по трюмам. Даже молодые матросы перестали бояться начальства.

Вспомнилось, как я, будучи наводчиком, смотрел на морских офицеров. Мое знакомство с ними началось в Кронштадте, где я был водворен в один из флотских экипажей. До этого я встретил в Петербурге каких-то кавалеристов, прогарцевавших по улице на сытых и стройных конях. Эти офицеры удивили меня оригинальностью своего наряда, и только. Ничего тут особенно не было. На конях и сам я в своем селе Матвеевском ездил верхом в ночное, правда, без седла и не так, может быть, красиво. Совсем иное впечатление произвели на меня морские офицеры. В воображении своем я связывал их с кораблями, на которых они плавают по синим морям, переживают бури, бьются в чужих странах, совершают кругосветные путешествия и видят всякие чудеса земного шара. Мне казалось, что нужно иметь колоссальные знания, что бы по компасу и звездам, как объяснили старые матросы, определить, в какой части обширнейшего океана находится

¹⁾ Примечание. На следствии старший офицер показал, что он не успел доложить командиру о претензии матроса. См.: «Действие флота», отдел IV, книга третья, стр. 146.

судно. Все это было для меня необычно, необычна была и сама форма, какую носили морские офицеры. В особенности я поражаюсь, когда видел их в черных парадных мундирах с эполетами, с орденами, в треугольных шляпах. Этот блеск ошарашивал меня, подчеркивая мое ничтожество. Я, вылезший из деревенской глуши и грязи, смотрел на офицеров, как на людей особой породы, с красивыми и благородными лицами, чрезвычайно талантливых. И разве я мог в то время заподозрить кого-нибудь из них в нечестных поступках?

Отец мой, бывший николаевский солдат, воспитывая меня, часто внушал:

— Если тебе, Алеша, придется попасть на военную службу, то служи настоящему. Будут бить—терпи. За одного битого—десять небитых дают. И помни одно—за богом молитва, а за царем служба никогда не пропадут.

Я поверил его словам и, явившись во флот, ревностно, со всей страстностью своего темперамента принялся за службу. Период новобранства длился около четырех месяцев и запечатлелся в моей памяти, как отвратительный сон. Капралы, инструктора, фельдфебель принимали самые решительные меры к тому, чтобы вышибить из нас деревенский дух. В шесть часов утра горнист на дворе играл побудку. Мы очумело вскакивали, заправляли свой койки, наскоро пили чай с черным хлебом и целым взводом в сорок человек становились в своей камере на гимнастику. Инструктор командовал, а мы выкидывали руки вперед, вверх, в стороны, вниз. Против гимнастики ничего нельзя было возразить, если бы ею не злоупотребляли. А нас, например, заставляли проделывать бег на месте с выкидыванием колен то вперед, то назад до тех пор, пока не только все белье становилось мокрым от пота, но и подошвы сапог промокали насквозь. Еще хуже было выполнять «лягушачье путешествие». Заключалось оно в том, что все сорок человек опускались на корточки в затылок друг другу, и, выставив руки вперед, прыгали вдоль стен камеры, по нескольку раз огибая ряды коек. Тут все зависело от настроения инструктора. Если он был не в духе, то это глупейшее прыганье затягивалось, и тогда гла-

за застигались зеленым туманом. Некоторые новобранцы не выдерживали такой пытки и падали.

— Отяжелели, окаянные, с мякинным брюхом!—ревел инструктор и подбадривал падающих пинком.

Потом нас выгоняли на двор. Там учились маршировке, всяким захождениям, поворотам, ружейным приемам, бегали по двору. Инструктор говорил нам:

— Если я скомандую смирно, это значит—не дыши, замри. Забудь, как отца и мать зовут, и только слушай, что дальше последует от меня.

Вообще он относился к нам так, как будто мы были для него заклятыми врагами.

После обеда наступал короткий отдых, но иногда заставляли нас пилить и колоть дрова. Потом опять выгоняли на двор для маршировок. Вечером, поужинав, мы, измученные и отупевшие, рассаживались по койкам в камере и занимались словесностью. Из нее мало мы черпали знаний. Главный упор делался на дисциплину, на чинопочитание, на верность царю. Заучивали имена царствующего дома и фамилии начальства, начиная от командующего флотом и кончая ротным командиром. Тут же инструктор рассказывал нам, как различать чины. Все делалось с матерной бранью и мордобойством.

Часов в семь все занятия кончались. Пока не скомандуют на справку, мы могли писать письма, читать книги и веселиться. Некоторые, пользуясь наибольшим промежутком свободного времени, бежали на двор, в прачечную, в кирпичное помещение, и стирали там свои рубашки и подштанники. Развешивать их на чердаке было рискованно—украдут. Поэтому укаждый новобранец расстилал сырое белье под простыню, чтобы за ночь просушить его температурой своего тела.

Тяжелый рабочий день заканчивался справкой и вечерними молитвами. Привертывались газовые рожки, исключая одного. В камере было полусумрачно. Кто-нибудь из нас назначался дежурным, а остальные тридцать девять человек укладывались спать—каждый на свою койку, на соломенный тюфяк.

под серое казенное одеяло. Воздух сгушался смрадом человеческих испарений.

Так продолжалось изо дня в день.

Я исполнял все служебные обязанности самым добросовестным образом. Меня нельзя было причислить к глупым ребятам. До службы я прочитал порядочно книг, а это очень помогло мне в изучении словесности. При своей недурной памяти я в один месяц выучил матросский устав наизусть. Новобранцев до принятия присяги не полагалось отпускать в город поодиночке, но инструктор, в виду моего необычайного успеха по словесности, сделал для меня исключение.

— Смотри в оба, — наказывал он мне. — Знай, кому нужно козырнуть, кому — стать во фронт.

— Есть, господин обучающий.

— Если подведешь меня, расшибу в лепешку.

Все это мне казалось нормальным.

Гуляя по городу, я отдавал честь встречающимся офицерам по всем правилам. Правда, проделывал я это не без волнения, но ко мне никто не придрался. Захотелось посмотреть офицерские флаги, и я, свернув на Екатерининскую улицу, пошагал вдоль портового канала. Как после узнал я, здесь никогда не гуляли матросы, боясь столкновения с начальством. Не прошло и пяти минут, как навстречу мне показался человек с седыми бакенбардами. Какой у него был чин? Я еще ни разу не видел живого адмирала, но уже знал, какие у него должны быть погоны: золотые, с зигзагами, с черными орлами. Эти погоны можно было видеть в экипаже за стеклами. В голове у меня крутилась мысль: если по одному орлу на каждом плече — значит контр-адмирал, по два — вице-адмирал, по три — полный адмирал. А этот человек с седыми бакенбардами совсем не имел погон, но зато воротник и полы его черной шинели были в золотых позументах и на них в один ряд разместились десятки черных орлов. Неужели я попался сверхадмиралу? Почему мне инструктор ничего не объяснил о такой форме одежды? Мне некуда было свернуть в сторону и спрятаться. Я сошел с тротуара и за три шага до встречи со страшным человеком стал во фронт. Старик с по-

зументами и орлами тоже вдруг остановился и, удивленно глядя на меня, задвигал седыми бакенбардами. «Ну, пропал я», мелькнуло у меня в голове.

— Долго ты, дурак, так будешь стоять?

От его голоса, проскрипевшего в морозном воздухе, как ржавые петли калитки, и от него выпуклых и тусклых глаз, напоминающих пузыри на мутной воде, мне стало не по себе. Моя рука, поднятая к фуражке, дрожала.

— Иди, дурак, дальше, не стой столбом.

Он захихикал мелким дробным смешком, а я пошагал дальше, употребляя все усилие на то, чтобы скорее от него удалиться. Через минуту я оглянулся — он стоял на том же месте и смеялся мне вслед. У меня пропала всякая охота гулять, и я торопился скорее попасть в экипаж. Почему этот человек с орлами назвал меня дураком? Разве я стал перед ним во фронт не так, как нужно? Я был так занят сверхадмиралом, что не успел козырнуть встретившемуся лейтенанту. Он подозвал меня к себе и спросил:

— Почему честь не отдаешь?

— Виноват, ваше благородие, задумался.

Лейтенант выругался матерно, постучал кулаком по моему лбу и сказал почти ласково:

— Не нужно задумываться на военной службе.

Я остался благодарен ему, что он не записал моей фамилии.

В экипаже от старых матросов я узнал, перед кем мне пришлось стать во фронт. Это был не сверхадмирал, а флотский швейцар из бывших матросов! Мне было стыдно за свой промах.

Через несколько месяцев я принял присягу и стал матросом 2-й статьи. С поступлением в плавание жизнь улучшилась. Моё первое представление о морских офицерах постепенно изменилось. Оказалось, что эти благородные люди так же ругаются матерно, как и мужики в нашем селе, и даже дерутся. Потом я узнал, что многие из них напиваются и устраивают скандалы, занимаются азартными играми и посещают публичные дома. Катилось время. Меня повы-

силы в матросы 1-й статьи, а потом, когда кончил школу баталеров, произвели в унтер-офицеры. Я еще больше освоился с условиями и бытом императорского флота. Деревенская наивность исчезла, наставления отца перестали для меня звучать правдиво.

С начала моей военной службы прошло пять с лишком лет. Время это не пропало для меня даром: много дней и бессонных ночей провел я в напряженной умственной работе. И теперь, плавая на броненосце «Орел», я не переставал насыщать свой мозг новыми знаниями и впечатлениями...

Утром 13 апреля все наши транспорты и крейсер «Алмаз» вышли из бухты Камранг и присоединились к эскадре. По сигналу с «Суворова» корабли заняли свои места в походном строю. Эскадра тронулась на север. Аннамские берега все время были у нас в виду. Через несколько часов эскадра остановилась против широкого входа нового убежища, окруженного еще более высокими горами, чем Камранг. Это была бухта Ван-Фронг. Первыми вошли в нее «Алмаз» и транспорты, за ними последовали миноносцы, потом крейсера и наконец броненосцы. К вечеру все корабли стояли на якоре. Эскадра расположилась в пять параллельных линий: ближе к выходу в море — броненосцы, за ними, в глубине бухты — крейсерский и разведочный отряды, транспорты и миноносцы.

Через день или два я с горечью расстался со своим другом, инженером Васильевым. Во время погрузки угля он настолько порезал себе сухожилие на левой ноге, что не мог ходить. Его отправили на госпитальный «Орел», где ему предстояла операция.

Мне случайно попала в руки старая газета «Новое Время», за декабрь месяц. В этом номере (10333) было напечатано длинное письмо вице-адмирала Бирилева. Я вышел на бак и здесь, у фитиля, усевшись на палубу, начал читать адмиральское письмо вслух окружившим меня матросам. Бирилев, упрекая некоторых газетных авторов за их разоблачения 2-й эскадры, острел:

«Под давлением ваших статей люди носы повесили, а чтобы повесить нос,

надо опустить голову, а с опущенной головой, кроме кончиков своих сапог, ничего не увидишь...»

Дальше он начал успокаивать общественное мнение:

«Зачем нужна 3-я эскадра? Затем нужна 3-я эскадра, чтобы помочь 2-й эскадре или занять ее место.

«Что такое 2-я эскадра? 2-я эскадра есть огромная, хорошо сформированная и укомплектованная сила, равная с силами японского флота и имеющая все шансы на полный успех в открытом бою. Умный, твердый, храбрый и настойчивый начальник этой эскадры не прикроется никакими инструкциями, а найдет и уничтожит врага. Он не будет подыскивать коэффициенты сил, а примет наш русский коэффициент, что сила не в силе — сила в решимости, сила в любви к родине...»

Матросы, слушая мое чтение, вставляли свои замечания:

— Адмиралом называется, а порет всякую чепуху.

— Врет так, что себя не помнит.

Потом сразу все замолчали. Я оглянулся и увидел лейтенанта Вредного. Он стоял у правого борта, против двадцатидюймовой башни, и смотрел в морскую даль, словно чем-то заинтересовался. Я продолжал громко читать:

«Не думайте, что японцы так сильны, это — самообман, гипноз слабых душ, и во всяком случае о силе врага надо думать до войны, а во время войны — сражаться. Конечно, японский флот пострадал много, и как лучшее доказательство к этому служит заказ Японией ста восьми дубликатов броневых плит в Англии. На одном «Миказе» пробито и потрескалось четыре четырнадцатидюймовых плиты. Что же вы думаете, зачем японцы заказывают дубликаты этих плит, не для того, чтобы иметь запас ненужного материала? А сколько убыло личного состава на эскадре адмирала Того, сколько попорченных и наскороченных механизмов! На 2-й эскадре все цело, цел и дух, из которого маленькое удельное княжество сделалось необъятной Россией...»

Лейтенант Вредный подошел ближе к нам и, улыбаясь, заговорил:

— Какой это дурак написал такую глупость?

Очевидно, ему хотелось полиберальничать. За последнее время, как и боцман Саем, он начал заигрывать с нами—ведь скоро предстоит сражение. Но он не понимал, что его настоящее отношение к нам давно было всем известно.

Я встал и, смекнув, что он не знает, кто является автором читаемого мною письма, изобразил на лице испуг.

Неужели, ваше благородие, вам кажется, что так мог написать только дурак?

Под рыжими усами лейтенанта еще больше заиграла улыбка, словно он был нам близким товарищем.

— А что же ты думаешь—в газетах мало сотрудничают дураков? Правда, мы сильны, но нельзя же так относиться и к флоту противнику. Что это за рассуждения такие? На «Миказе» потрескались четыре броневых плиты. В Англии японцами заказано сто восемь дубликатов броневых плит. И отсюда делается вывод, что японский флот сильно пострадал. Нам, значит, ничего не стоит разбить его. Подумаешь—сто восемь плит! Да такого ничтожного количества нехватит для брони одного только корабля. А затем, может быть, эти плиты понадобились японцам для вновь строящегося судна. Мы ничего не знаем. Видно, что этот газетный писака не смыслит в военно-морском деле ни уха ни рыла...

Лейтенант Вредный невзначай высказал правду о человеке, который занимал такой высокий пост. И кому высказал? Тем, кого он презирал и с кем раньше разговаривал как с пещерными жителями. В груди у меня все дрожало от kloкочащего смеха. Нужно было взнудать самого себя, чтобы не расхохотаться громко и весело. Сдержанно улыбались матросы. Невероятным усилием воли я старался быть серьезным и, глядя в глаза начальника, сказал:

— Спасибо вам, ваше благородие, что разъяснили нам. А мы тут без вас были в восторге от автора. Считали его прямо философом...

Один матрос перебил меня:

— Вы почаще так беседуйте с нами, ваше благородие.

— Хорошо, братцы, хорошо,—удовлетворенно закивал головою лейтенант.

Но сейчас же его ошарашил гальванер Голубев:

— Мы думали, что его превосходительство вице-адмирал Бирилев и вправду умный человек.

— А при чем тут Бирилев?—спросил лейтенант, сделавшись вдруг строгим.

— Да ведь это он написал такую глупость.

Лейтенант побледнел. Из-под козырька пробкового шлема он несколько секунд смотрел то на меня, то на других матросов, не зная, как ему выйти из скандального положения. В напряженной тишине кто-то кашлянул, кто-то громко высморкался. Лейтенант выхватил из моих рук газету, наскоро заглянул в нее и бросил на палубу. Уходя к корме, он произнес лишь одно слово:

— Хамье!

Мы несколько не обиделись на это—настолько нам было весело.

V

Утром 26 апреля эскадра вышла из бухты Ван-Фонг в море.

После обеда на горизонте показались дымки. Это приближалась в нам давно ожидаемая 3-я тихоокеанская эскадра под командой контр-адмирала Небогатова. Мы в это время находились в двадцати милях от бухты Ван-Фонг. На нашем броненосце «Орел» всколыхнулся весь экипаж, начиная с командира и офицеров и кончая кочегарами. Вместе с другими матросами и я бросился на задний верхний мостик. Все взоры были устремлены в ясную даль океана, туда, откуда уже начали вырисовываться мачты направляющихся к нам судов. Немного погодя показались трубы, выкрашенные в шаровую краску, и мостики. Во главе шел под флагом адмирала старший эскадренный броненосец «Император Николай I», за ним тянулись броненосцы береговой обороны: «Адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин» и «Адмирал Ушаков»; старый броненосный крейсер «Владимир Мономах»; транспорты: «Ливония», «Курония», «Герман Лерке», «Граф Строганов», походная мастерская «Ксения», буксир «Свирь». Должно было еще подойти второе госпитальное судно — «Кострома». Эскадры встретились, салютуя друг дру-

у пушечными выстрелами. Потом прибывшие боевые суда прошла вдоль нашей эскадры, чтобы занять свое место в строю. Странно было видеть эти торенастые и кургузые тихоходы с длинными трубами в такой дали от своих родных берегов. Но они пришли, порыв в три месяца огромное расстояние. И теперь ликование было всеобщее. Команды на судах были выстроены по фронту, со всех сторон неслось «ура», оркестры играли гимн. На флагманском броненосце «Князь Суворов» взвились флаги — это командующий Рождественский приветствует прибывшие суда. Вскоре с «Николая» был спущен катер, на котором Небогатов отправился к командующему с докладом. Свидание двух флагманов продолжалось не больше часа.

Торжество кончилось.

Четыре прибывших броненосца вошли в состав нашей эскадры в качестве третьего броненосного отряда, а «Владимир Мономах» присоединился к крейсерскому отряду.

Это были последние морские остатки, брошенные на театр военных действий. Мы хорошо знали, что собою представляют эти вновь прибывшие корабли. Реальная сила их была ничтожна. Однако весь экипаж броненосца «Орел» еще долго волновался, словно произошло событие, повернувшее нашу судьбу в сторону надежды. Так у тяжело больного на пороге смерти бывает порыв к жизни, когда вдруг будущее начинает манить обещаниями... Одно было хорошо — наше томительное скитание у берегов Антама кончалось. Оставалось только сделать перегрузку с прибывших транспортов, и через несколько дней мы двинемся дальше — на северозапад.

Какие события ожидают нас там?

А не все ли равно. Нам все надоело, море молчало, притихшее, просветленное синевой и золотистыми бликами.

Некоторые получили почту и радовались известиям с родины. Делились впечатлениями с товарищами. Но не у всех было благополучно дома. Вот кочегар привалился к правой носовой шестидюймовой башне. Держа в корявых руках перед собою распечатанное письмо, он

впился глазами в неровные строчки. Все шло хорошо, пока перечислялись бесчисленные поклоны от родственников. Но вдруг у кочегара по грязному лицу покатались крупные капли слез.

— Ты что? — спросил я у него.

Не сразу он мне ответил, запинаясь:

— Сынишка... Третий год шел. Петью звали... Помер...

И, сунув письмо в карман рабочих брюк, он усталой походкой побрел вниз корабля отбивать свою вахту.

Вечером часть эскадры бросила свои якоря в бухте Куа-бе, а часть — у ее входа. От командующего получили приказ (№ 229), в котором говорилось, что «с присоединением отряда (Небогатова) силы эскадры не только уравнились с неприятельскими, но и приобрели некоторый перевес в линейных боевых судах». И еще: «У японцев больше быстроходных судов, чем у нас, но мы не собираемся бегать от них».

Я не знаю, верил ли сам Рождественский в свои слова, но на матросов они не произвели должного впечатления. Слишком очевидна была вся нелепость такого заверения. Поэтому матросы только посмеялись над таким приказом:

— Хватил тоже! Какой это перевес в линейных судах? Ведь старички только прибыли.

— Вот если бы Черноморскую эскадру прислали к нам — другое было бы дело.

— Хуже всего насчет быстроходности сгородил чепуху. Как будто быстроходные суда только для того и существуют, чтобы бегать от врага.

— Боевой дух в нас поднимает.

Несколько дней прошли в тяжелых погрузках.

А утром первого мая наша объединенная эскадра снялась с якоря и, построившись в походный порядок, тронулась вперед девятиузловым ходом. Теперь наш флот состоял из пятидесяти вымпелов: тридцать семь боевых судов и тринадцать транспортов. Первый и второй броненосные отряды были разделены на две колонны. За ними, взяв миноносцы на буксир, следовали две колонны транспортов, возглавляемых «Алмазом». Крейсера держались с флангов, охраняя транспорты. Разведочный отряд

из четырех крейсеров выдвинулся вперед эскадры. Пловучие госпитали «Кострома», накануне присоединившаяся к нам, и «Орел» шли вне строя по сторонам крейсеров. Третий броненосный отряд, руководимый Небогатовым, прикрывал тыл эскадры в строю фронта.

На баке я встретился с боцманом Воеводиным.

— Пошли окончательно,—сказал он, оглядывая эскадру.

— Да, безповоротно,—ответил я.

Эскадра вытянулась на пять миль. Из многочисленных труб выбрасывались густые черные клубы дыма. И этот дым, отставая, висел над океаном, как грозозная туча.

— Посмотришь—силещу какую представляем мы,—продолжал боцман.

— Да, если не разбираться по существу.

— Через две-три недели некоторым из судов может быть удастся достигнуть Владивостока.

— А некоторым придется застрять на дне Японского моря.

Боцман испытующе посмотрел на меня.

— Да, это верно.

Все дальше отодвигались лиловые берега, дававшие нам временный приют. Погода стояла тихая. Лишь слегка волновалась водная ширь, поблескивая отражением утреннего солнца.

По мостику, оглядывая горизонт из-под козырька пробочного шлема, прохаживался капитан 1-го ранга Юнг. До сих пор я почти ничего не сказал о нем. А между тем за это плавание он определился и как личность и как командир судна.

Это был питомец старой школы парусного флота. Он много плавал на клиперах, корветах и фрегатах. Перед назначением на «Орел», состоявшемся в начале войны, после перевода броненосца в Кронштадт для вооружения, он командовал лучшим парусным крейсером «Генерал-адмирал». На этом судне плавали ученики, готовившиеся на строевых унтер-офицеров, и поэтому порядок там был образцовый. Юнг обладал большим морским опытом, привык к налаженной службе парусников, на которых вся жизнь сосредоточена на верхней палубе.

На новом броненосце он чувствовал себя как в незнакомых лесных дебрях. Механическая и трюмная части, электротехника, башенная установка крупной артиллерии были для него таинственной областью, в которой он совершенно не разбирался. Поэтому трудно ему было руководить работой всех специалистов, контролировать их и объединять. Постепенно он принужден был всецело положиться на старших судовых специалистов, а за собою сохранил только управление кораблем. Он совсем переселился в ходовую рубку, неотлучно находился на мостике и, следя за сигналами флагманского корабля, отдавал распоряжения сигнальщикам и в машину. Эти обязанности с успехом мог бы выполнить вахтенный начальник. Таким образом от жизни своего корабля, от всего происходившего под спардеком и верхней палубой командир все более отрывался, а жизнь судна шла самотеком вне поля его зрения. Старший офицер тоже не мог его заменить. Тогда объединенная группа специалистов забрала власть в свои руки и начала заправлять всем броненосцем.

Так происходило не только у нас на «Орле», но и на других судах. Неподготовленность командиров к переходу на новую техническую базу повела к упадку их авторитета перед глазами младших чинов. На каждом судне зарождался коллегальный орган, нечто вроде совета старших специалистов.

В жизни броненосца «Орел» эти новые взаимоотношения сказались с полной определенностью.

Командир Юнг был вполне порядочный, незлобивый и храбрый человек, с большим опытом морских плаваний. Но он потерялся перед трудностью свалившейся на него задачи—командовать необычайно сложным, еще неналаженным и имевшим много технических недочетов броненосцем. Ему пришлось ограничиться чисто внешней стороной командования, исполняя приказы адмирала и поддерживая общий порядок на судне. Всякое замысловатое положение в действиях судовых устройств и механизмов ставило его в тупик. Перед техническими трудностями он складывал руки или отмахивался от них как от чего-то незначительного, как от грязной рабо-

ты, которая происходила где-то там, в темных трюмах корабля. Даже молодые мичманы скоро заметили такую слабость командира. Над его беспомощностью посмеивались в кают-компании.

Командир знал со слов артиллеристов, что такой страшный зверь — «реостат», который обладает свойством гореть в самую нужную минуту, когда от башни требуется ответственная работа — боковой поворот с борта на борт. И вот однажды произошел курьез. Командир стоял на мостике и смотрел, как перед ним медленно поворачивается носовая двенадцатидюймовая башня. Его обеспокоило, что поворот происходил слишком медленно. Он обратился к лейтенанту Павлинову с вопросом:

— Почему это башня идет так медленно?

Тот ответил:

— Башня идет вручную.

Командир подумал и сказал:

— Ах, да, вероятно, реостаты горят. Павлинов удивленно поднял черные

брови.

Как-то произошел взрыв паровой грубы от одного из котлов к магистрали. Пар сел, и броненосец потерял ход. В это время борт-о-борт проходил «Бородино», командир которого, капитан 1-го ранга Серебренников, по мегафону спросил:

— Что у вас случилось?

Юнг, который нервно и беспомощно бегал по мостику, крикнул в ответ:

— Лопнула вторая кочегарка.

На «Бородине» вероятно долго смеялись над нелепостью такого ответа.

У Юнга выработалась стремительность, свойственная морякам парусного флота. Поэтому он все вопросы решал немедленно, без исследования, по интуиции. Постоянные придирки адмирала изнервничали его. Он сам начинал терять самообладание и в свою очередь иногда разносил офицеров, не разобрав сущности дела.

К достоинству командира надо отнести, что он не дрался, не ругался и не поощрял таких мер воспитания команды со стороны офицеров и боцманов. Но, с другой стороны, он настолько был далек от действительной жизни корабля, что не интересовался, какими средства-

ми проводится осуществление его приказаний. А следовало бы ему иногда незаметно пройти по верхней и нижним палубам. Он увидел бы очень непривлекательные картины.

Нервность и неподготовленность командира вызывали сомнения у офицеров и команды насчет его поведения в бою, когда необходимо иметь особое хладнокровие. Постоянные «авралы» на мостике из-за каждого сигнала командующего и при каждом маневре заставляли многих думать, что во время сражения командир потеряется. Однако под конец он стал на путь осуждения тактики адмирала, говоря про его штаб:

— Да что они там понимают. Боятся адмирала и ничего не видят. Не стоит обращать на них внимания.

Адмиральские выговоры сигналом он уже получал хладнокровно и говорил вахтенным начальникам:

— Ерунда! Пусть себе ругается. Ведь они там, в штабе, потеряли голову.

Постепенно он пошел за группой старших специалистов и проникся их взглядами. На «Орле», не дожидаясь распоряжения адмирала, начали проводить ряд подготовительных мер к бою.

VI

На каждом корабле найдутся сослуживцы, замляки или просто знакомые матросы. Были таковые у меня и в отряде адмирала Небогатова. Но повидаться с ними и порасспросить, как у них проходили служебные дела, нам удалось значительно позже.

Корабли этого отряда снаряжались в Либаве, в порту Александра III. Несмотря на бюрократическую волокиту, всюду чувствовалась торопливость. Ремонт судовых механизмов производился кой-как, небрежно. Спешно устанавливались вновь приобретенные приборы стрельбы — дальномеры и оптические прицелы, но со свойством их не были знакомы ни комендоры, ни артиллерийские офицеры. Снаряды, доставляемые в Либаву по железной дороге, разгружались из вагонов прямо на снег и прежде, чем попасть на судно, валялись так по целой неделе. Старой, испытанной команды оставалось на кораблях мало. Они укомплектовывались личным

составом, собранным из разных экипажей, портов и морей. В число пополнения вошло много неподходящих для войны матросов: или новобранцы, не прошедшие даже строевого рекрутского воспитания, или запасные, позабывшие правила военной службы, или штрафные, надоевшие береговому начальнику. А высшее военно-морское руководство продолжало нажимать на отряд и торопило его корабли скорее выйти в море, чтобы этим успокоить взволнованное общественное мнение. На жалобы командиров, что суда еще не оборудованы как следует для сражения с противником, начальник порта, контр-адмирал Ирецкий, говорил:

— Да разве вам придется сражаться? Вы идете только для демонстрации. Вас скоро вернут обратно.

Известия о страшных событиях, происшедших в Петербурге девятого января, когда вся Дворцовая площадь была залита кровью рабочих, докатились и до Либавы. Мастерские заводов и порта всколыхнулись. Начались стачки и забастовки. Это тоже не могло не отразиться на срочности изготовления снаряжаемых кораблей. Квалифицированных мастеровых, назначаемых для работы на суда, стали заменять матросами. Но и они заразились духом протеста. Так, на броненосце «Адмирал Сенявин» они то и дело предъявляли начальству претензии на плохое качество пищи. А однажды вечером, во время ужина, команда заволновалась. Вахтенный начальник, мичман Вильгельмс, начал кричать на нее, угрожая расправиться с бунтовщиками. Но он не учел раскаленности судовой атмосферы и за это жестоко поплатился: один из матросов набросился на него и ударом ножа в живот свалил его на смерть. Был ранен еще боцман.

При таких обстоятельствах отряд Небогатова третьего февраля рано утром оставил свой последний порт и, преодолевая холодный шторм и крупные волны, двинулся на соединение с нами.

Этот адмирал, в противоположность командующему эскадрой, был человеком иного склада. Я с ним служил в экипаже и плавал на одном крейсере, когда он был капитаном 1-го ранга. Хорошо

запомнился мне его внешний облик: полнотелый корпус, одутловатое лицо в экземе и коротко подстриженной седой бороде, глаза большие, немного на выкате. Во флоте он считался знающим адмиралом. Он умел привлечь к работе своих подчиненных, при чем достигал это без крика, без разноса, без драки. Он не мог считаться стариком, имея от роду всего лишь пятьдесят пять лет, но матросы прозвали его «дедушкой». Только благодаря тому, что он умел по-человечески обходиться с ними, на его отряде во время пути все уладилось, и не было не только бунтов, но и дисциплинарные проступки постепенно сокращались. Этим не могли похвастаться корабли Рождественского.

До Индийского океана Небогатов добрался тем же маршрутом, каким шел адмирал Фелькерзам,—через Суецкий канал и Красное море. А потом, не заходя в Носси-Бэ, направился к Зондским островам. В пути, насколько позволяло время, на его кораблях люди занимались артиллерийским учением, практиковались с дальномерами. Два раза производились боевые стрельбы по щитам, при чем первая стрельба дала самые неудовлетворительные результаты, вторая—прошла немного лучше. Ночью всегда шли без огней, чего у нас, к сожалению, не было.

Весь этот длинный путь был пределан в восемьдесят три дня. Нельзя было не восторгаться таким успехом, если принять во внимание, что отряд состоял из двух старых кораблей, в роде «Николая I» и «Владимира Мономаха», и трех броненосцев береговой обороны, совершенно не приспособленных к дальним плаваниям. К чести Небогатова нужно сказать, что он проявил себя неплохим флотоводцем.

Морское министерство не сумело организовать агентуры на пути следования 2-й эскадры. Мы ничего не знали о движении неприятельских кораблей. Правда, Главный Морской Штаб кое-что сообщал об этом, но все его сведения оказывались ложными и только нервировали личный состав. В таком же неведении находился и адмирал Небогатов. Он ничего не знал ни о стратегической обстановке на морском теат-

ре военных действий, ни о месте нахождения 2-й эскадры. А между тем на нем лежала задача соединиться с Рожественским. Но где в это время находился строптивый командующий? На все телеграфные запросы в Петербург Небогатов так и не мог добиться точных сведений. Он рисковал совсем потерять 2-ю эскадру. Перед ним естественно возникал вопрос: как быть в дальнейшем? Он уже хотел самостоятельно пробиваться во Владивосток. Если соединение его отряда и произошло с эскадрой, то это вышло случайно: помог матрос Бабушкин.

Кто он, этот герой, сыгравший такую видную роль?

В период русско-японской войны им было совершено не мало выдающихся подвигов. Защитники Порт-Артура, вероятно, помнят его фамилию до сих пор. Еще больше он был известен среди команды крейсера 1-го ранга «Баян», на котором он прослужил несколько лет, добившись звания машинного квартирмейстера 1-й статьи.

Василий Федорович Бабушкин явился во флот из крестьянской гущи, из глухой провинции Вятской губернии. Высокий ростом, широкоплечий, грудастый, он обладал атлетическим телосложением. Своей необычайной физической силой он однажды удивил французов. Это было в Тулоне, когда там еще строился крейсер «Баян». В местном городском театре шло представление. Среди разных других номеров какой-то атлет демонстрировал перед публикой свою силу: сажал на стол двенадцать человек, подлезал под него и поднимал на своей спине вместе с людьми. Бабушкин, находясь в это время среди зрителей, не выдержал—вышел на сцену и попросил прибавить еще двух человек. Громом аплодисментов наполнился весь театр, когда он поднял такую тяжесть. Победный соперник сейчас же скрылся за кулисами, а русский силач, когда вылез из-под стола, совершенно растерялся. Его смущали бурные восторги публики и цветы, летевшие к ногам. Он не знал, что делать, и несколько минут неподвижно стоял на сцене, глядя в зрительный зал карими глазами, молодой и наивный, с нагуженно-покрасневшим лицом.

Потом он признавался своим товарищам:

— Ну, до чего неловко было! Не помню даже, как вышел из театра. Навертываю прямо на крейсер, а в голове будто шмели гудят.

После этого вечера он ежедневно получал десятки писем от француженок. Они всячески добивались с ним свидания. Но из этого ему удалось извлечь лишь ту пользу, что он скорее других научился разговаривать по-французски.

С самого начала войны Бабушкин находился на крейсере «Баян» и все время отличался исключительной храбростью. Он участвовал во многих самых рискованных предприятиях. Нужно ли было ночью выслеживать и ловить японских агентов, сигнализовавших своим войскам огнями, он всегда шел впереди всех. Не обходились без него и в тех случаях, когда сторожевые паровые катеры отправлялись брать на бордаж неприятельские брандеры.

Для 1-ой эскадры, блокированной в Порт-Артуре, наступила жестокая пора. Японцы, заняв Высокую гору, начали бомбардировать гавань и корабли. В порту и на судах то-и-дело возникали пожары. Команда и офицеры «Баяна» скрывались под броневой защитой или в береговых блиндажах. Только несколько человек оставалось на верхней палубе. Среди них всегда находился Бабушкин и первым бросался к месту пожара на судне. Когда вся наша эскадра была потоплена, он и на суше, защищая крепость, проявлял чудеса храбрости. Все боевые задания им выполнялись умело, ибо природа наградила его не только чрезвычайной физической силой, но и редкостной сообразительностью. Обладая избытком энергии, он принадлежал к тому типу людей, которые сами все делают, не дожидаясь распоряжения начальства. Кроме того, он по натуре своей был авантюристом. Поэтому, чем опаснее предстояли приключения, тем сильнее рвался к ним Бабушкин. Так продолжалось до тех пор, пока и над ним не стряслась беда. Однажды, починяя станок на укреплении № 3, он получил сразу восемнадцать ран от разорвавшегося вблизи неприятельского снаряда. И богатырь, награжденный к этому времени всеми четырьмя степеня-

ми георгиевского креста, свалился почти замертво. Он долго пролежал в госпитале, прежде чем стал на ноги.

После падения Порт-Артура японские доктора признали Бабушкина инвалидом и отпустили его в Россию. Он отправился на иностранном пароходе и попал в Сингапур. Здесь он встретился с консулом Рудановским и от него случайно узнал, что в ближайшие три дня должна недалеко пройти 3-я эскадра. Консул добавил:

— Нужно обязательно доставить адмиралу Небогатову секретные бумаги и предупредить его, что где-то в Зондских островах скрывается японская эскадра. Но мне мешают это выполнить англичане.

Бабушкин еще не оправился от ран, но в нем снова загорелась прежняя удыль. Захотелось еще раз подрачься с японцами. Он напросился выполнить поручение консула и кстатн остаться на каком-нибудь корабле приближающейся эскадры. Сейчас же был разработан план действия.

В гостинице, где жил Бабушкин, были приставлены полицейские для наблюдения за ним. Чтобы обмануть их бдительность, он рано утром нарядился в белый китель, на голову надвинул тропический пробковый шлем и, выбравшись на улицу другим выходом, направился к морю, к условленному месту. Там уже стоял наготове паровой катер. На нем были два человека — француз, толстенький и низенький, лет тридцати пяти, с бородкой на румяном лице, и индус в желтой коленкоровой чалме, молодой и сухопарый парень. Первый был агентом от русского консульства, а второй исполнял обязанности машиниста. Бабушкин считался командиром судна. Ему строго было наказано, в случае какой-нибудь опасности, врученный ему пакет сжечь в топке или утопить в море.

Катер, не замеченный англичанами, тронулся с места и, развевая французским флагом, понесся в море. Через несколько часов, когда Сингапур скрылся из виду, он уже находился за указанными островами. Где-то здесь, близи этих островов, должна будет пройти если не сегодня, так завтра эскадра Небогато-

ва, но определенного курса ее никто не знал. Она может проскользнуть южнее или севернее.

Никогда Бабушкин не переживал такого мучительного беспокойства, как на этот раз. Чуть только на горизонте показывались дымки, он направлял свой катер на них. Но скоро выяснялось, что это проходили чужие корабли, главным образом коммерческие. Разочарованный, он возвращался на прежнее место, чтобы потом снова бросаться в разные стороны. Иногда он уходил так далеко, что острова едва были видны. Такое метание с одного места на другое происходило почти у самого экватора, там, где солнце, достигнув зенита, совершенно не дает тени. Обжигало нестерпимым зноем.

Бабушкин, управляя рулем, сидел на корме катера и редко отрывался от бинокля, оглядывая пылающий горизонт. Наблюдения продолжались и ночью, поэтому ему не пришлось задремать ни на одну минуту. Эскадры все не было. Не дали никаких результатов вторые сутки. От напряжения и ярко освещенной морской поверхности, от бессонницы у него разболелись глаза, а от жары вскрылись незажившие раны. Не имея с собою ни лекарства, ни перевязочного материала, он лечил их, смачивая забортной водой.

Француз уговаривал его:

— Напрасно мы болтаемся здесь. Ничего хорошего не дождемся. Надо вернуться в Сингапур, пока не напоролись на японские корабли.

Но Бабушкин был не из тех людей, которые отступают перед трудностью или опасностью. Настойчивость его граничила с безумством. Он холодно отвечал французу:

— Ваши речи, мусье, я не желаю слушать. Лучше будет, если вы прикусите язык.

Наступило двадцать второе апреля, пошли третьи сутки с тех пор, как оставили Сингапур. Дрова оказались на исходе. Их начали беречь на тот случай, когда, быть может, потребуется приблизиться к эскадре или перехватить ее курс, если она действительно появится в этих водах. Теперь катер не носился по морю, как бешеный, а стоял на одном месте,

едва поддерживая пар в котле. Консульский агент и машинист-индус, когда отправлялись в путь, не ожидали, что дело примет такой скверный оборот. Для обоих стало ясно, что если даже они взломают палубу и люки, то все равно топлива нехватит вернуться в свою гавань—так далеко до нее было. Без посторонней помощи им не обойтись, но она может не явиться во-время, и тогда они окажутся перед угрозой гибели. В довершение бедствия вышла вся пресная вода. И Бабушкин видел, как тот и другой слишком часто начали облизывать языком потрескавшиеся губы. Но и сам он, ослабленный раскрывшимися ранами, еще в большей степени переживал мучительную жажду. Лицо его, растающее черной бородой, осунулось, глаза воспаленные и мутные в набухших веках, ввалились.

Консульский агент время от времени о чем-то шептался с индусом. Повидимому, между ними шел какой-то сговор. Наконец француз, обращаясь к командиру, раздраженно, с шипящим оттенком в голосе спросил:

— Долго мы будем стоять на одном месте?

Бабушкин даже не взглянул на него.

— Ровно столько, сколько мне требуется.

— А если мы не желаем помирать голько потому, что один из нас—сумасшедший человек?

— Это меня не касается.

Француз, жестикулируя руками, раскричался:

— К чорту вашу эскадру! Мы не идиоты, чтобы вас слушать! Требуем—сейчас же поворачивайте к берегу!..

К нему присоединился индус и, держась весь, завизжал:

— Назад! В Сингапур!..

Это был бунт экипажа, состоявшего из двух человек.

Без кителя, в одной нательной сетке, Бабушкин поднялся на корме, огромный и мрачный, как стопудовый якорь, падающий на дно. Железные бицепсы его напряглись. Несмотря на болезнь, в нем достаточно еще сохранилось сил, чтобы раскидать своих подчиненных, как щенят. Из-под козырька пробкового шлема он посмотрел на того и другого

кроваво-воспаленными глазами и, подняв увесистые кулаки, прохрипел:

— Замолчите! Или хотите, чтобы у каждого из вас голова треснула, как орех под молотом? Я сам машинист и один справлюсь на катере.

Сразу с'ежился француз, огступая в носовую часть катера, а индус юркнул под кожух, к машине.

Иногда где-нибудь показывался одинокий дымок, но катер, тихо и плавно покачиваясь на заштилевшей груди моря, не трогался с места. Солнце добралось до самой высокой точки своего пути и скоро начнет скатываться вниз. В полуденном свете горел весь простор. От катера, а в особенности от его железного машинного кожуха, отдавало невыносимым жаром. Все было горячее—рубашка, брюки, ботинки. Раскаленное небо испаряло не только воды, но и кровь людей. На юго-востоке возникали дождевые облака. Молчало разомлевшее море, молчали и трое людей на крохотном своем суденышке, словно примирились со своим безнадежным положением.

Бабушкин, сидя на корме, с прежней настойчивостью приставлял бинокль к глазам. Вдруг он поднялся с такой быстрой, словно получил болезненный укол в бедро, и устремил взор на запад. Там, в дали, затуманенной зноем, всплывали дымки—один, другой, третий. Через каждые полторы минуты число их увеличивалось. Потом обрисовывались мачты. Руки его, державшие бинокль, вздрагивали, колени подгибались. Рваным голосом он оповестил свой экипаж:

— Наши идут!

И распорядился бросить в топку последний остаток дров, чтобы передвигаться на курс эскадры.

Но тут опять запротестовал француз:

— Надо уходить. Это, вероятно, идут японские или английские корабли. Они нас повесят, как шпионов...

Бабушкин положил свою тяжелую руку на ручку кингстона, угрожая открыть днище катера для доступа воды. Два человека, глядя на страшного командира, в ужасе застыли. А он, ошалелый и бесшабашный, рывкнул во всю силу легких:

— Скажите еще хоть одно слово — я вас пушу на дно!

Потом скомаандовал:

— Ход вперед!

Катер рванулся и помчался на сближение с эскадрой.

Прошло еще некоторое время, и уже не было никаких сомнений, что идет русская эскадра. Обозначались адрееские флаги. Теперь беспокоило лишь одно — как остановить корабли? Главным шел броненосец «Николай I» под флагом адмирала. На катере начали кричать, махать руками, приближаясь к головному судну. И вдруг ко всеобщей радости увидели, как на нем поднимаются черные шары к фока-реи, давая знать этим, что машины переведены на стоп. Остановилась вся эскадра.

Катер пристал к броненосцу «Николай I». Бабушкин, поднявшись на палубу, вручил секретный пакет контр-адмиралу Небогатову и тут же в нескольких словах рассказал о себе. В заключение он обратился с просьбой:

— Разрешите, ваше превосходительство, остаться у вас на броненосце. Желаю еще раз подраться с японцами.

Согласие было дано. Бабушкин обрадовался. Но он, истощив свои силы, не мог уже сам ходить, и его повели в лазарет, под руки.

Катер, снабженный топливом и водою, через полчаса отправился в Сингапур.

Адмирал, прочитав бумаги, теперь уже точно знал, где находится 2-я эскадра, и, изменив курс, пошел со своим отрядом дальше по Южно-Китайскому морю.

Ударил тропический ливень. Если бы Небогатов проходил это место часом позже, то Бабушкин из-за дождя не увидел бы его кораблей, и эскадры никогда бы не соединились.

VII

Адмирал Рожественский, к великому моему удовольствию, не знал, конечно, меня и не интересовался мною. Для него я, как личность, не существовал. Нас, одетых в матросскую форму, было на эскадре около пятнадцати тысяч. Мы были только исполнителями его воли и той живой силой, которая необходима для того, чтобы корабли двигались вперед и маневрировали, чтобы пушки и торпеды, когда это понадобится, на-

чали стрелять в противника. Поэтому адмирал, как и подсбает каждому командующему, расценивал всю эту массу людей неотрывно от общей и единой боевой организации. Но зато я часто думал о нем.

Как он управлял эскадрой? Что он сделал для нее? Каково влияние его было на корабли? Как он воспитывал своих подчиненных? Какова у него была связь с личным составом? И что это был вообще за человек?

Я задавал себе эти вопросы и по действиям и поступкам адмирала пытался найти ответы на них. Мне хотелось проникнуть во внутреннюю сущность его, как начальника эскадры и как человека. Я уделял ему много внимания еще и потому, что в Российском императорском флоте он представлял собою размноженный тип. Разница между Рожественским и другими адмиралами заключалась лишь в том, что у него ярче, чем у многих подобных сатрапов, проявлялись черты самодурства, — черты, порожденные деспотическим строем государства.

Мало кто знает о прошлом Рожественского, который когда-то нашумел в печати.

В 1873 году, будучи уже лейтенантом, он кончил курсы Михайловской артиллерийской академии. Его сейчас же назначили членом комиссии морских артиллерийских опытов. В этой должности он пробыл до начала русско-турецкой войны, когда его командировали в город Николаев. Там он некоторое время находился при главном командире Черноморского флота. А когда начали снаряжать пароход «Веста», превращая его в боевой крейсер, он поступил на него под начальство капитан-лейтенанта Баранова (после был генерал-губернатором в Нижнем). Вместе с этим командиром он плавал, вместе с ним участвовал на «Весте» в морском сражении, которое произошло при Кюстенджи 11 июля 1877 года. Наши моряки, по описанию газет, проявили тогда небывалую лихость: ничтожная и слабосильная «Веста» подбила турецкий броненосец «Фетхи-Буленд» и заставила его обратиться в бегство. За этот подвиг Рожественский, как и его сослуживцы, был награжден орденами

Георгия 4-й степени и Владимира 4-й степени с бантом и произведен в следующий чин капитан-лейтенанта.

С донесением командира судна он был командирован в Петербург, где лично давал объяснения особам императорской фамилии о сражении 11 июля.

А через год он неожиданно выступил в газете «Биржевые Ведомости» от 17 июля 1878 года со статьей «Броненосцы и крейсера-купцы» и разоблачил подвиги «Весты». По его описанию выходило, что не турецкий броненосец удирал от нее, а она убегала от него, убегала в течение пяти с половиной часов. И только благодаря тому, что «Фехти-Буленд», перегруженный военными запасами, не мог догнать ее, она спаслась от бедствия. Рассказ автора был чрезвычайно убедительным.

В прессе того времени статья Рожественского вызвала целую бурю. Газеты «Новое Время», «Биржевые Ведомости», «Петербургские Ведомости», журнал «Яхта» и другие периодические органы начали между собою перепалку. Одни нападали на автора, называя его лжецом, другие защищали его и рассматривали его выступление, как подвиг гражданского мужества.

Поступок Рожественского действительно был исключительным по своей смелости. Но что толкнуло его на это? Хотел ли он, чтобы восторжествовала правда о «Весте», или какие-либо иные мотивы руководили им? Разоблачая это раздутье сражение, он ведь не щадил и самого себя. Он рисковал всей своей будущей карьерой, на что может решиться только человек незаурядный, с сильным характером. А с другой стороны, почему он не сделал подобного разоблачения раньше? Почему он не отказался от царских наград? Он никогда не расставался с орденами и с гордостью носил их на груди вплоть до Цусимы, как боевые заслуги.

С тех пор прошло двадцать лет. Разразилась война на Дальнем Востоке. И вот, после того, как на броненосце «Петропавловск» погиб в Порт-Артуре вместе с художником Верещагиным единственный талантливый адмирал Макаров, и после целого ряда других неудач на су-

ше и на море, царское правительство начало искать нового спасителя отечества. Он оказался тут же, рядом, в свите его величества, — высокий, мужественный, суровый, с красивой, немного склоненной головой, словно обремененной гениальными идеями. Вся его незаурядная внешность так imponировала другим, что не могло быть сомнения в успехе. И тогда имя этого человека прогремело на всю Россию — имя адмирала Рожественского. Почти вся пресса затрубила о нем, заранее возвеличивая его в герои.

Я продолжал иногда встречаться с моим другом, штабным писарем Устиновым. Так было в Носси-Бэ, в Камранге, в бухте Ван-Фонг и во время остановок эскадры для угольной погрузки. То я бывал на «Суворове», то писарь приезжал ко мне на «Орел». Устинов, сидя в штабе за секретной перепиской, знал всякие новости больше, чем командиры судов. Для меня у него не было тайн. Поэтому, не плавая на флагманском корабле, я все-таки знал о Рожественском все.

Как я уже раньше сообщал, командующий не бывал на своих кораблях, за исключением тех случаев, когда ему нужно было разнести личный состав. Он и к себе не приглашал ни младших флагманов, ни командиров судов, чтобы посоветываться с ними или обсудить какой-нибудь вопрос, — это было для него лишним. Энергичный и заботливый, он много времени проводил на суворовском мостике, день и ночь сидя в специально поставленном для него кресле. С высоты этого мостика он обзирал свои корабли, следил за их равнением в кильватерной колонне и за репетованием сигналов. Но его мало интересовало, что в данный момент творилось в трюмах, в погребах, в башнях, в машинах, в минных отделениях эскадры. Как бывший марсофлотец, все это он считал мелочью, о которой не следует знать адмиралу. А между тем в число таких мелочей постепенно перешли тактические качества кораблей — их боевая подготовка, техническое состояние, непотопляемость, организованность. Таким образом влияние командующего и его штаба на эскадру не простиралось дальше наружного по-

рядка. Если все суда сохраняли свое место в строю, если они шли друг от друга в двух кабельтовых, значит все было хорошо. Но стоило какому-нибудь судну нарушить строй, как сразу же нарушалось и душевное равновесие адмирала. Он моментально вскакивал с кресла и, беснуясь, начинал кричать. Иногда фуражка его летела под ноги, тогда кто-нибудь из штабных чинов подхватывал ее и, вытянувшись, держал ее в руках, как святыню. На мостике водворялся ужас, словно наступал момент светопреставления. Судовые и штабные офицеры, сигнальщики, посыльные, вахтенные, дрожа, бессмысленно таращили глаза на грозного адмирала, как будто он представлял собою двенадцатидюймовый снаряд, готовый взорваться. Сначала по адресу провинившегося корабля слышалась только ругань, самая отборная и фантастическая, а потом уже следовал приказ:

— Поднять *Идиоту* выговор!

Флаг-офицеры и сигнальщики по одной лишь кличке знали, к какому кораблю это относится, и, сорвавшись с места, бросались к ящику с флагами с такой поспешностью, что расшибали друг другу лбы. И на мачте взвизывал сигнал с выговором крейсеру «Адмирал Нахимов».

Командующий, угомонившись, брал из рук подчиненного свою фуражку, накрывал ею разгоряченную голову и потом долго прохаживался по мостику.

Во время маневров случалось, что он, угрожая кулаками, начинал орать во весь голос:

— Куда ты, *Проститутка подзаборная*, прешь? Куда прешь?..

Все понимали, что на этот раз провинилась «Аврора». И хотя она находилась за пять миль, но адмирал продолжал кричать на нее, как будто она могла слышать его ругань.

Изредка без шума, а только сквозь зубы приказывал:

— Передайте семафорам, чтобы *Инцидентное убежище* не оттягивало.

Сигнальщики, размахивая флажками, вызывали броненосец «Сисой Великий» и передавали ему распоряжение адмирала.

Потом снова раздражался гневом:

— Опять эта *Горничная* завилыла, точно ей оса под подол попала.

В результате «Светлана» получала адмиральское неудовольствие.

Когда адмирал, охваченный приступами злобы, выкрикивал брань, то матросы, находившиеся на палубе, вдали от непосредственной угрозы, смеялись между собой:

— Тише ребята! На мостике спектакль начался.

И все слушали, как Рожественский заочно разносил какого-нибудь командира, заменяя его фамилию придуманной кличкой, и все понимали, кого под такой кличкой он подразумевает. Не только командиры судов, но и младшие флагманы не избежали прозвищ, иногда очень остроумных, иногда похабных. Что представлял собою в его глазах толстый контр-адмирал Фелькерзам? *Мешок с навозом*. А недалекий контр-адмирал Энквист? *Пустое место*. Наш всегда щеголеватый и суетливый командир, капитан 1-го ранга Юнг? *Лакированная егоза*. Командир «Александра III», гвардеец, капитан 1-го ранга Бухвостов? *Вешалка для гвардейского мундира*. Командир «Бородина», капитан 1-го ранга Серебренников, замешанный когда-то в народническом движении? *Безвозглыбый нигилист*. Командир «Ушакова» Миклуха-Маклай, родственник знаменитого путешественника? *Двойной дурак*. Командир «Ослаби», капитан 1-го ранга Бэр, любитель поухаживать за женщинами? *Похотливая стерва*. Некоторым командирам Рожественский давал прозвища, заимствованные из терминологии венерических болезней.¹⁾

Матросы, насмотревшись и наслушавшись, как адмирал расправляется со своими подчиненными, говорили о нем:

— Была у него мать или нет?

¹⁾ В своем показании в следственной комиссии контр-адмирал Небогатов написал о Рожественском: «Многие командиры на языке адмирала имели прозвища, граничащие с площадной бранью, и адмирал несколько не стеснялся употреблять эти прозвища громко на верхней палубе, в присутствии судовых офицеров и команды». См. «Действие флота», документы, отдел IV, книга третья, стр. 51.

— Не кобель же выбросил его из-под хвоста.

— Мать то у него была, но голько когда она его рожала, то вероятно три года дрожала.

Он никого не хотел видеть из своих подчиненных, но и они всячески избегали с ним встречаться, зная необузданный темперамент своего адмирала. Если какой-нибудь глава судна и отправлялся к нему на свидание, то лишь в исключительных случаях. Заранее можно было сказать, что он нарвется на оскорбление.

Когда мы стояли в Носси-Бэ, крейсер «Светлана» настолько был перегружен углем и другими припасами, что его корпус прогнулся. Командир судна, капитан 1-го ранга Шенн, явившись на флагманский корабль, доложил о несчастии адмиралу и стал просить у него разрешения убавить груз. Рождественский рассвирепел и с матерной руганью выгнал командира из своей каюты.

Во время стоянки в бухте Ван-Фонг «Наварину» было приказано принять пресной воды триста тонн. Командир судна, капитан 1-го ранга барон Фитингоф, поехал на «Суворов» объясняться. Он начал доказывать адмиралу, что такое количество воды слишком велико для корабля. Кстати упомянул и о том, что броненосец и без того перегружен углем. Адмирал, слушая командира, повернулся к нему спиной, а потом задержался весь и заорал:

— Это что же такое? Вы учить меня вздумали? Не хотите исполнять моих приказаний? Принять четыреста тонн воды! Без разговоров!

Он наговорил еще много слов, не передаваемых в печати, и барону Фитингофу ничего не оставалось другого, как только ответить:

— Есть ваше превосходительство.

Некоторых командиров адмирал громко и позорно в присутствии офицеров и матросов:

— Вам не кораблем командовать, а только бы служить в портовых складах и отпускать на суда швабры.

Невольно приходилось задумываться над тем, как могли эти почтенные и заслуженные господа терпеть над собою все издевательства командующего эскадрой? Для чего же нужно было иметь

чины, носить мундиры и ордена, если все это не спасало людей от самых унижительных оскорблений? ¹⁾ Неужели и в иностранных флотах происходит то же самое?

Первое время те, кто мало знал Рождественского, смотрели на него, как на человека непреклонной воли и знатока в военно-морском деле. Только с таким командующим можно достигнуть намеченной цели. И поэтому к его самодурству относились снисходительно. Но постепенно, по мере того, как эскадра подвигалась вперед, наступало разочарование. Все резкости командующего в приказах, в сигналах, в личных объяснениях с командирами и офицерами понемногу разрушали его авторитет. Люди убеждались в том, что за этой грубой формой обращения вовсе не скрывается глубокий и проницательный ум или организаторские способности. Только разившимся у адмирала величайшим самоумнением можно было объяснить презрительное его отношение к подчиненным. ²⁾

Рождественский не щадил и чинов своего штаба и постоянно третирил их. Только двое из них более или менее свободно общались с ним: старший флаг-офицер, лейтенант Свенторжецкий, и принятый на флагманский корабль в качестве бытописателя капитан 2-го

¹⁾ В книге «Путь к Цусиме» профессора П. К. Худякова приведены письма нестроевых офицеров. Беру из них выдержки. Вот мнение инженер-механика А. Н. Михайлова, плававшего на броненосце «Наварин»: «Озлобление Рождественского было неопишимо. Когда это с ним бывает, он выскакивает на палубу, и сперва из груди его, как у зверя, вырываются дикие звуки: «У-у-у-у...» или «О-о-о-о». Присутствующим кажется, этот рев должен быть слышен на всей эскадре. А затем начинается отборная ругань». Стр. 211.

Мнение инженер-механика П. С. Федюшина, плававшего на «Суворове»: «Это очень суровый и свирепый господин. Что ни день, то новый арест для кого-нибудь из офицеров и за самые ничтожные поступки. Его зовут здесь... (нехорошо)». Стр. 198.

²⁾ «Привыкли к адмиральскому рыку...»

«В своем адмирале мы окончательно разочаровались. Этот человек совершенно случайно заслужил хорошую репутацию: на самом деле он самодур, лишенный каких бы то ни было талантов. Он уже сделал и продолжает делать ряд грубых ошибок». Письма младшего минного офицера с «Суворова», лейтенанта Вырубова, опубликованные в приложении к «Новому Времени» от 2 декабря 1906 г.

ранга В. Семенов. Но и они были для него не больше, чем добавочные органы — две пары глаз и две пары ушей. На основании сведений получаемых от этих двух офицеров, адмирал часто составлял свое суждение о кораблях и командирах. Остальные же чины штаба совершенно не пользовались его благосклонностью и доверием. Будучи сам исключительно властной натурой, он на всякие советы со стороны своих помощников смотрел как на посягательство на его прерогативы. И они не решались предостеречь командующего от неизбежных ошибок, свойственных самодовольным и ограниченным натурам. Вообще в штаб подобрались люди безвольные и безличные, но зато преисполненные к адмиралу самой собачьей преданностью. Они создали из поклонения к нему особый культ. Штаб превратился в средоточие между флотом и командующим, стал его походной канцелярией.

В особенности пришлось унижаться перед ним флаг-капитану, или, выражаясь по-сухопутному, начальнику штаба, капитану 1-го ранга Клапье-де-Колонгу. По смыслу военно-морского устава, после командующего, он являлся первым лицом на эскадре. На обязанности флаг-капитана лежало проводить в жизнь все идеи своего начальника, а для этого он должен быть знаком с его оперативными планами. Но что сделал с ним Рождественский? Он не признавал в нем своего заместителя, он низвел его до степени раболепствующего лакея. Прежде чем пойти с докладом к своему барину, Клапье-де-Колонг производил через его вестового рекогносцировку о настроении адмирала.

— Ну, как, братец, сегодня расположен его превосходительство?

— В роде как ничего, ваше высокоблагородие.

Только получив такие сведения, Клапье-де-Колонг осмеливался приблизиться к адмиральской каюте, но и то предварительно останавливался перед нею, снимал с головы фуражку и, перекрестившись, шептал слова молитвы:

«Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его».

Потом уже стучал одним лишь ноготком в страшную дверь.

Однажды потребовалось ему спешно о чем-то доложить командующему, который находился у себя в каюте. Клапье-де-Колонг по обыкновению разыскал вестового, но когда взглянул на него, то сразу упал духом. Все лицо вестового распухло от адмиральских кулаков.

— Значит, его превосходительство в плохом настроении?

— Беда, ваше высокоблагородие, расшиб меня совсем.

Клапье-де-Колонг растерянно забормотал:

— Но как же теперь мне быть? Ведь у меня спешное дело к нему.

— Не могу знать, ваше высокоблагородие, а только лучше не показывайтесь на глаза. Весь кипит.

Срочное дело было отложено до более благоприятного времени.

Писарь Устинов не раз заставлял флаг-капитана в каюте плачущим.

Адмирал, очевидно, думал про себя — раз он командующий, то он все, а остальные офицеры и командиры — ничто. Его дело приказывать, разносить, наказывать, иногда похвалить кого-нибудь, а подчиненные должны работать, повиноваться, выкручиваться из разных затруднений и безропотно переносить все его обидны. Этот человек верил только в силу принуждения. Он, как командующий 2-ой эскадрой, видел залог успеха единственно в беспрекословном подчинении всего флота его воле. И в этом ослеплении он подавлял всякую инициативу своего штаба, своих младших флагманов, командиров судов и всего личного состава эскадры. Ему хотелось, чтобы все смотрели на него, как на единственного человека, который знает, что надо делать и как надо делать. Он сам себя произвел в гении. В этом была его беда. Постепенно на почве неограниченной власти он фатально шел к тому, что превращал всех в жалкие пешки своей прихоти и самодурства. Он загнипнотизировал себя в уверенности, что только в его руках держатся все нити, и что эскадра немедленно развалится, если он ослабит вожжи.

Правда, Рождественский обладал железной силой воли, но это хорошее ка-

чество при отсутствии военного таланта только вредило делу и причиняло всем лишь одно горе.

— Почему он не казнил ни одного матроса? — как-то спросил я писаря Устинова.

— Подожди, после сражения их десятки будут висеть на реях. Слышал я об этом разговор в штабе. А ты думаешь, что адмирал подобрел к нашему брату?

— Ничего не было бы удивительного в этом. Вместе умирать идем. А это обстоятельство очень серьезное. Любой начальник может задуматься о своем отношении к матросам.

— Только не Рождественский! — рассердившись воскликнул Устинов. — У него ненависть в крови. Но я думаю — не придется ему никого казнить. Если он уцелеет от японских снарядов, то его убьют свои же матросы. Одно скажу о нем: раньше разбойников вешали на кресты, а теперь наоборот — разбойникам вешают на грудь кресты.

Писарь, рассказывая о лютости адмирала, привел много примеров, из которых два особенно запомнились мне.

Во время стоянки в Носси-Бэ адмирал, проходя как-то по срезу, увидел матроса, неправильно лопатившего палубу, — не вдоль, а поперек настила. Адмирал сейчас же подозвал вахтенного начальника и спросил, показывая на матроса:

— Что он делает?

— Палубу лопатит, ваше превосходительство, — не задумываясь, ответил вахтенный начальник.

Адмирал задрожал, а его черные, как антрацит, глаза загорелись злобой. Раздались выкрики:

— Вы, лейтенант Данчич, даете мне идиотский ответ! Кто вы такой? Вахтенный начальник или балерина, прогуливающаяся по судну? Разве не видите, что этот болван лопатит палубу поперек настила?

Адмирал с искаженным лицом бросился к матросу, выхватил у него деревянную лопату и всю ее обломал о его голову.

Приблизительно такой же случай произошел перед нашим приходом в бухту Ван-Фонг. Адмирал, поднимаясь на мостик, услышал, как один комендор, разговаривая со своим товарищем насчет обеда, произнес фразу:

— Пусть начальство подавится этой гнилой солониной, а я даже не притронусь к ней.

Когда он заметил адмирала, было уже поздно. Комендору пришлось предстать перед грозными очами начальника. Загромыхали слова отдельные, отчетливые, тяжелые, как чугунные гири:

— Ты, стервец, что болтаешь? Тебе ветчины с горошком захотелось или рябчиков в сметане?

Адмирал стоял на трапе, а комендор — на палубе. Ноги первого находились на уровне плеч второго. Виновник, отдавая честь, откинул голову назад и застыл в жутком ожидании. Адмирал сказал ему еще несколько слов, а потом своей тяжелой ступней, обутой в блестящий ботинок, ударил его по лицу и, не глядя на свою жертву, поднялся на мостик.

Комендор глухо крикнул и повалился на палубу. Все лицо его моментально превратилось в кровавое мясо. Он встал на колени и замотал головою, разбрызгивая по палубе красные пятна. По распоряжению вахтенного начальника его отвели в операционный пункт. Там уже выяснилось, что у защитника родины были разбиты передние ряды зубов, рассечены губы и раздроблена переносица.

На верхней палубе мокрой шваброй стерли кровавые пятна. Броненосец «Суворов» продолжал свой путь. На мостике, под раскинутым тентом, адмирал сидел в кресле, растегнув китель и подставляя легкому бризу волосатую грудь, мрачный и усталый, как будто совершил тяжелый подвиг.

Устный счет

Рассказ

(Из записных книжек 28-го года)

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

I

В окошко кухни бывшей дачи инженера Алафузова кто-то крепко постучался кулаком или палкой, и тут же слышно стало старику Семенычу — лаяла и кидалась, звеня цепью, собака Верка.

Двое других стариков—Нефед и Гаврила—спали еще крепче, чем стучал кто-то, и только бормотнули и перевернулись на своих топчанах, стукнув костями, а Семеныч спросил строго в окно:

— Какого чорта, а-а?

Но ему ответили еще строже:

— Отворяй зараз, а то окно вышибем!

Семеныч почесался, подумал, наконец, сказал:

— Обожди, светло зажгу. Шляются, чорт их знает!..

У окна были ставни, и, когда он зажигал лампочку, он знал твердо, что тем, с надворья, ничего не видно здесь,—ставни плотные и на прогоничах,—поэтому он, зажигая лампочку одной рукою, другою толкал Гаврилу и шептал:

— Эй! Эй! Гаврила, слышь: прячь одеяла!

Дача Алафузова была в пяти верстах от города и над самым шоссе, поэтому часто зимою заходили в нее босяки, идущие мимо, и, как правило, забирали у стариков одеяла. На место забранных, старики покупали одеяла все хуже и хуже, однако и их забирали.

От лампочки по низенькой кухне с земляным полом и огромной плитой за-

метались тени. Бородатый, плешивый Гаврила, худой, длинный, сутулый, начал проворно складывать одеяла — свое и Семеныча — и свирепо шептать Нефеду, старичку маленькому, с кротким безволосым личиком:

— Отдирай доску!

Это уж было заранее обдуманно стариками: балки потолка, проходившие внутрь, забрать старыми досками и, в случае ночного страха, прятать одеяла туда, за доски.

И пока свертывали, отдирали, прятали и потихоньку вдавливали гвозди, раза два еще стучал кто-то палкой с надворья, и тот же строгий голос спрашивал:

— Вы что там? Подошли с испугу?

Семеныч молчал, только кряхтел, но когда одеяла были спрятаны, ответил, откашлявшись:

— Испугу мы, напротив, не имеем. Пугаться нам не к чему.

И отодвинул засов.

Верка залаяла громче, стало слышно, что рвет ветер и хлещет дождь, и в дверь просунулась, было, мокролицая голова, потом чмыкнула и сказала густо:

— Ну и химия!.. Нехай постоит открывши: прямо катух свиной! Вот так беременные, черти!..

И потом спросила Семеныча:

— Это ты тут за хозяина, горбатый?

— Я не горбатый, друг, это ты словом ошибся!—обиделся Семеныч.—А что росту книзу,—это от годов: семьдесят восемь мне.

— Порядочно.

— А что это они комнату нам высту- жают?—крикнул Гаврила, дернув бо- родюю.

— Они сейчас закроют,—успокои- тельно шепнул Нефед.

Высуналась в дверь снова та же мок- рая голова в кепке, посмотрела на Гав- рилу, на Нефеду и спросила:

— Кроме вас трех, никого тут нет?

— Кроме нас, пусто,—сказал Семе- ныч. — Кроме нас, тут саша да горы... да еще море, конечно... А вас сколько же явилось?

— Нас хватит... Собака же, видать, не очень злая...

— Собака наша из умных... Глупую бы не держали... Дала знать—и спокой- на.

Семеныч застегнул линияющую розовую рубашку, обтянувшую горб на спине, переступил босыми ногами и добавил:

— Если входить, то входить, а если раздумали,—воздух вам наш не нра- вится,—то притворите...

— При-тво-рим!

— Безобразия какая!—ворчал Гаври- ла зло.

— Они притворят, — шепнул Нефед кротко.

Прошло еще с полминуты, и мокрый человек вошел, но не притворил за со- бой дверь.

Он обернулся туда,—где были темно- та, дождь, ветер и звяканье собачьей це- пи, и спросил:

— Ну, как? Нос воротить?.. Не нра- вится тебе берлога ихняя? Чорт с тобой, когда такое дело!... Ночуй в развалюш- ке!

Обернулся к Семенычу и добавил:

— Товарищу-то моему не нравится у вас... Рядом думает ночевать, в доме.

— Там же, друг, ни дверей, ни окош- ек не стало уж,—как же там?—и об- лизнул Семеныч запавшие губы.

— Его дело! Раз воздух свежий лю- бит, нехай там ночует!

Тут всем старикам сразу показалось, что он должен попросить для товари- ща одеяло, и они переглянулись встре- воженно, но он резко и плотно притво- рил дверь и, когда Семеныч вздумал за- двинуть засов, остановил его руку:

— Что-о? Боишься, что украдут те-

бя?.. Ничего, горбатый, со мной не укра- дут,—не бойся!

— Ты—мужчина, конечно, здоровый: вид имеешь,—согласился Семеныч и по- чесал пальцем горб.

Бородатый Гаврила лежал на своем топчане и глядел на вошедшего люто, безволосый Нефед сидел на своем и гля- дел кротко, хотя и пытливо, а Семеныч подавал ночному гостю, усевшемуся за стол, черствую горбушку хлеба и гово- рил:

— Так-то вот... Хлеба больше ни ку- сочка нет... Завтра срок нам выходит за хлебом в город итить, а это, было, на утро себе оставили... Ну, уж ешь, когда голод имеешь... Мы в двадцать первом сами голодовали,—знаем.

Гость покачал головой в мокрой тя- желой кепке, взял в очень широкие ла- пы горбушку, посмотрел на нее презри- тельно, переломил пополам и сказал гу- сто:

— Вина становь!

— Вина не имеем,—ответил горба- тый.

— Ка-ак это не имеем? Чтоб сейчас было!.. На винограднику сидят, да чтоб вина не имели!..

— Вино же наше в городе...

— В подвале наше вино!—буркнул, кипя, Гаврила.

— В общественном подвале,—добавил Нефед ласково.

— Ну-к что же, что в подвале? Не- бось, таскаете для обиходу?

— А вот завтра за хлебом итить, — не миновать ведро вина продавать... А так чтоб бутылочками, там не дозволя- ют.

И светло-голубыми глазами прощупы- вал Семеныч карие глаза гостя, не ска- зал ли он лишнего, и верит ли тот или нет.

— Табаку у нас захочешь просить, тоже не проси: не курящие!—срыву под- держал его Гаврила.

— По старой вере, значит?

— Это уж как знаешь... Не куря- щие—и все... В шапке в горнице тоже не сидим!

— Шапку, и правда, надо посушить... На-ка, дед, на плиту положи!

И гость снял кепку и подал Семены- чу.

Без кепки он оказался молодой мальи́й, не старше двадцати пяти, совершенно круглоголовый, безусый, брови лохматые, а принимая его кепку, Семеныч заметил, что чумарка его на плечах у обоих рукавов лопнула, и не удержался, чтобы не сказать:

— Чумарку, видать, ты по дешевой цене купил,—вот она и лопнула: нитки гнилые.

Гость жевал хлеб и только чуть повел на него глазами, а прожевавши, ответил:

— Вот в городе завтра на работу стану,—оденусь... Я бы у вас на перекопке остался, да ведь вы же злыдни...

— Мы уж кончили ту перекопку...

— Хва-тил-ся!—сказал Гаврила.

— Гм... Скоропоспешные!

— А ты как же думал? Мы-ы!.. Нам многие завидуют, а того не знают, по какому мы письменному расчету живем!—гордо сказал Семеныч.

— По письменному?

— А как же?

— А кто же у вас такой письменный?

— Да я все, а то кто же?

И Семеныч вдруг приставил к столу табуретку, уселся, придвинул к себе лампочку и вытащил из стола тетрадь, щедро закапанную постным маслом, и карадашик-огрызок.

— Вот, например,—начал он торжественно,—должен я для точности записать твоё имя и твоё фамилие... Имя?

— Иван,—ответил гость, усмехнувшись глазами.

— Иван?.. Может быть, и Иван... Вот я пишу: Иван... А фамилие?

— Петров.

— Вот я пишу: Петров... И никаких очков я не знаю,—понял?.. А губернии какой?

— Курской.

— Курской?.. А я—Тверской... Стало быть, пишу: Курской... Стало быть, кому справку понадобится, кто это к нам ночью заходил, я могу дать справку: заходил Иван Петров, губернии Курской... И так что я кому хочешь могу дать отчет... В этой самой тетрадке все есть!.. Примерно будучи сказать, вот наш виноградник... Это нам власть советская вот с Гаврилой вдвоем надел такой дала: по шестьсот пятьдесят сажений

на душу, выходит тысяча триста сажений... Сколько кучуков виноградных полагается? Полагается, стало быть, тринадцать тысяч кучуков... Какой же урожай может быть? С куста фунт, стало быть, тринадцать тысяч фунтов всего!

— Мало считаешь: фу-унт!—сказал гость.

— Ка-ак это мало?—вскинулся старик.—Не мало, а в самую в норму. Это ведь не поливной нам достался,—это горовой... А сорта какие? Сорта наши сортерён да алиятик... Мы уж здесь семь лет сидим, им владеем,—больше не дает: фунт с куста... Мы не без ума живем, а с записью... Раз мы налоги платим, должны запись весть... Вот, примерно будучи, подвал... Раньше мы в частном одном подвале вино держали, и считалось так, что за что же он нашего труда двадцать один процент брал?.. Называется, грабитель!.. Теперь мы в общественном,—там восемнадцать процентов... Однако возить туда от нас куда дальше... А хлеб, какой ты ешь, он на копейку поднялся спротив осени: был шесть, теперь семь... Вот она, запись моя, с какого числа он поднялся...

— Что ты мне суеть это? Я сроду неграмотный,—лениво сказал Иван Петров.

— Окромья меня, и тут у нас все неграмотны,—что Гаврила, что Нефед... а я и газеты читаю,—опять же очков еще не вздевал... Ты думаешь я кто? Серый?.. Я, брат, у Скобелева-генерала унтер-офицер бывший, и сам он мне, Михайла Димитрич, Георгия нацеплял!.. Примерно будучи сказать, думаешь—город Ташкент кто завоевал?.. Может, слышал так: генерал Черняев?.. Это пишут так только, будто генерал Черняев, а вовсе не он, а капитан Обух! Обух, вот кто!.. Кто это дело теперь лучше меня знает? Никто не знает!.. А тут мальчишки разные являються, чтобы меня усчитывать и процент налогу составлять!.. —Эх, вы-вы,—говорю им,—мальчишки! —А один Теремтеич мне: —Я, говорит, на агронома учился! —А я ему: —А сказку такую знаешь: Философ да огородник?.. А фи-ло-соф без о-гур-цов!.. Понял теперь?.. —У вас, говорит, будет не меньше как триста пятьдесят пудов, а то все четыреста... —А я ему: — Будет, как бу-

дет!.. Знаешь? Музыканты один раз на свадьбу шли, и вот скрипка, она своим манером заливается: Уго-ще-ние нам бу-у-дет!.. А флейта своим манером выводит: Награждение нам бу-у-дет!.. А бубен знай одно: Будет, как будет... Будет, как будет!..—Так на проверку по его и вышло: в три шея их со свадьбы погнали!..

Очень оживлен был Семеныч. Он уж забыл, что ночной гость потревожил его, поднял его со сна; он был бодр и бойко поводил коротко стриженной, но отнюдь не лысой, головою. И волосы его были еще не совсем седые, а местами заметно рыжели, в усах же и в бороде седины даже не было и заметно, а голубые глаза были очень остры; только губы предательски-явно проваливались внутрь, и Семеныч ретиво выталкивал их речистым языком и облизывал, точно смазывал их изнутри.

И бубнил, как бубен.

Когда назвавшийся Петровым доел краюшку, он как будто тут только вспомнил, что чумарка его, как и кепка, насквозь мокра. Он стал стаскивать ее бережно с плеч, но так как она не лезла и трещала, то прикрикнул на Семеныча:

— Си-дит зря!.. Стаскивай потихоньку!

И Семеныч, хоть и метнул недовольно голубым глазом, все-таки помог ему высвободить руки из липких рукавов, а он взвесил чумарку правой рукой, сказал:—Не меньше—ведро воды в ней!—и разостлал ее на плите очень аккуратно.

— Теперь чаю давай горячего: рубашку на себе сушить буду.

Рубашка у Ивана Петрова была красная, от мокроты почерневшая. Он ее отлепил кое-где от тела и добавил строго:

— Чего, горбатый, задумался? Говори: чаю станешь!

— Чаю не пьем: водичку!—встрепенулся Семеныч.—Водица у нас из колодца. Он хоть не настоящий колодец,—считается только... Разве может быть настоящий в таком месте?.. Ну, впрочем, вода ничего.

— А я тебе сказал: чаю!

— Его, чаю-то, в лавках нету!—буркнул Гаврила.

— И в лавках нету,—точно... У меня записано, с какого числа его не стало по случаю китайских войн.

Семеныч поспешно перелистал свою книжечку около огонька лампы и ткнул в одну страницу большим пальцем:

— Вот! Есть, а как же!.. «Чаю не продают... Декабря восьмого»...

Иван Петров оглядел поочередно всех трех стариков круглыми карими глазами, покачал точеной головой и сказал насмешливо:

— Вот злыдни-черти!.. Придется тогда рубашку снять...

Тело у него оказалось сбитое, литое, а грудь и руки щедро разукрашены тауировкой.

Семеныч поглядел на эти фигуры и сказал понимающе:

— Ага!.. По морям плавал?.. Поэтому на сухом берегу тебе неудобно.

— Теперь спать,—отозвался Иван Петров.—Ты, горбатый, можешь и край стола прокунуть, а я ляжу.

Это обидело Семеныча.

— Почему это такое «прокунуть»?

— Да так, ни почему,—ответил Иван Петров, разбираясь в подостланных лохмотьях на его топчане.

Он стащил свои грязные сапоги, поставил их под топчан в голова и лег.

Тут старики все трое подумали однообразно, что он потребует одеяло и значительно переглянулись, но он сказал:

— Дай воды кружку!

Это было сходнее. Семеныч проворно набрал кружку воды из ведерка. Иван Петров напился и вымыл руки, не подымаясь, и сказал ему:

— Так-то, дед!.. У тебя счет письменный, а у меня умственный.

— Изустный, — почему-то поправил его старик.

— Пусть будет устный,—мне все равно... А теперь, чтобы все спали... Туши свет!

Семеныч шевельнул горбом, но прикрутил лампу и уж в темноте пробрался на топчан Гаврилы и прилег с ним рядом.

— Руки ему, как уснет, свяжем!—шепнул ему в ухо Гаврила.

— Э-э... такому свяжешь!.. Спи знай!—шепнул в его ухо Семеныч.

Иван Петров уснул тут же, как лег; за ним уснули и старики.

Зимой солнце вставало и здесь на юге над плещущим холодным морем поздно, как везде.

Уходил Иван Петров от стариков, чуть брезжило...

— Холодное помещение ваше,—говорил он, хмуро зевая.—Хоть бы одеяло, злыдни, догадались дать.

— Не имеем,—поспешно отозвался Семеныч.

— Эх, паршивая жизнь ваша, когда так!.. Собачья!.. Пенсию получаете?

— Считается, ведь мы по крестьянству,—надел имеем... Какая же может быть пенсия еще нам?

Верка выглянула из своей конуры, но не залаяла на чужого, только чуть звякнула цепью и спряталась.

— Собака у вас умная.

— Собака наша—клад!.. Ежели кто прилично одетый заходит, только глазом его проверит и опять глаза закрывает,—сказал Семеныч.—Вот же и зверь, примерно будучи сказать, а все решительно понимает: раз ежели хорошо одетый, он не вор, не грабитель,—он спокойно себе кого надо найдет, поговорит об чем нужном и опять своей дорогой пошел... А как одежи приличной на ком не видит, на тех она брешет: выходи, смотри, кабы чего не спер: это таковский!

— Верка! Верка!—позвал ее Иван Петров, заглянув в контору.

Собака не отозвалась.

Старики умывались около колодца. Все еще серое было кругом, невидное. Ряд молодых кипарисов, как солдаты в шеренге, купа миндальных деревьев, как стог сена. Поздно взошедшая щербатая луна еще светила чуть-чуть, и облака около нее мчались сломя голову к востоку, который еще не краснел, а чуть-чуть начинал белеть.

Иван Петров зевнул и хрипавато сказал Семенычу:

— Что же, я чувствительность имею, я сознаю: какие люди хотя и очень старые, ну, если они себя соблюдают и на бумажку все выводят,—они тоже жить еще могут... В тепле-в сухе, и кусок хлеба непереваемой... А нашему брату, хотя бы и молодому.—куда податься? Везде скрутно стало. Тут, говорят, не за мою память, людей тыщи хормились на перекопке, а теперь что?

У кого какой кусочек земли есть, сам и ковыряет.

— Ты—малый, силу имеющий... Тебе бы в артель куда на пристань груз тяжелый таскать,—вот куда, а не то что в земле возиться.

— Ну, да,—вот об том же и я думаю... Ну, прощай, дед... Может, еще когда зайду на ночевку.

Иван Петров протянул Семенычу руку, и только тут старик вспомнил, как не хотел входить к ним кто-то другой, и спросил:

— А товарищ твой спит в доме все или же ушел уж?

— Товарищ?.. Спит если, пушай продолжает, а ушел,—с богом... Угу... места здесь дикие... Этим трактом через горы какая местность будет?

— А там степя пойдут... На Карасубазар дорога... на Феодосию... Степя ровные... А насчет товарища, стало быть, ты сбрежал?

— Может, и сбрежал... Так вот и вся жизнь наша идет: стеснительно и безрасчетно!.. А горы же тут как?.. Не шибко высокие?

Присмотрелся Иван Петров к темневшей гряде гор и сам себе отвегил:

—Ну, одним словом, не Кавказ!.. С тем и до свиданья...

И когда пошел он, Семеныч, зорко за ним глядевший, не захватил бы, мимоходом, лопату или кирку, увидел, что он прихрамывает немного на левую ногу и сказал фыркающему у колодца Гавриле:

— Обманул он нас—один он был!..

— А я тебе что говорил?—вскинулся Гаврила.—Не говорил я тебе: связать его надо?

— Связать!?!.. На это ж надо силу иметь такого связать,—кротко вставил Нефед, вытиравший голое личико грязной тряпичкой.

А Семеныч только махнул рукой и, в одежде менее заметно горбатый, в ушатой шапке, семеня двинулся к безоконному дому посмотреть на всякий случай, нет ли там товарища Ивана Петрова.

Он обошел только нижний этаж, на верхний же по сомнительной лестнице не поднимался, да и незачем было подниматься: нигде не было грязных следов.

II

В этот день дождь начался часов с десяти утра и сначала шел мелкий, ливневый, так что Семеныч говорил о нем: «По-ден-шину отбывает!» Но к вечеру начал барабанить частый, крупный, спорый, и Семеныч, выйдя с обедками к Верке, сообщительно сказал ей:

— Ну, Верочка, этот уж начал сдельно работать... Поэтому, раз твой дом не дает течи, лежи себе, спи!..

Но Верка залаяла яростно, когда совершенно стемнело, и зажгли уже лампочку старики. От лампочки через дверь ворвалась на двор золотая, пропыленная дождем полоса, а в полосе этой показалась женщина и, подойдя, сказала Нефеду, который стоял в это время на пороге:

— Мир вам,—и мы к вам!

— Та-ак... это... по какой же причине?—испугался Нефед.

— Так говорится... Пропускай, не стой в воротах,—видишь: шпарит!

Нефед попятился внутрь, и женщина появилась перед Семенычем и Гаврилой и сказала им певуче, но с хрипотой:

— Не ждали—не гадали?.. Здравствуете вам!

Она была в плаще поверх теплой одежды. Мокрое лицо ее блестело, плащ тоже, и с него струилась вода.

Нефед закрыл дверь, Семеныч поднялся из-за стола, Гаврила сдвинулся с табуретки, на которой сидел, и опустил вниз длинные руки, соображая, стоит ли ему вытягиваться во весь длинный рост или не стоит, и три старика разглядывали женщину, каждый про себя решая, учительница она, или агроном, или фельдшерница, или служит она в финотделе, которому оказалось так поздно и в такой дождь неотложное дело до них, живущих уединенно.

Но женщина отстегнула верхний крючок плаща, расстегнула пуговицы пальто и начала стягивать с себя то и другое вместе, а когда промокшее и прилипшее к платью пальто не снялось так быстро, как ей хотелось, она крикнула вдруг низко и совсем хрипло:

— Тяните что ли, черти!.. Обращения с женщиной не знаете!

К этому добавила она более крепкое, такое, что Нефед кашлянул, Гаврила

крякнул, а Семеныч протянул облегченно за всех:

— Ну, во-от!.. Стало быть, пролетарка будешь... А мы то думали служащая власть какая!

И услужливо, но не торопясь, помог ей раздеться, предусмотрительно спросив:

— Ты одна, или с тобой еще товарищ какой?

— Татарин там, чорт!.. На дороге остался... Такая справа паршивая, что переднее колесо сломал...

И женщина тут же хозяйственно стала шупать, тепла ли плита.

— Конечно, без колеса не поедешь,—согласился Семеныч.

Кроткий Нефед заступился за татарина:

— Дорога у нас тут,—ямы одни!

А Гаврила спросил мрачно:

— Татарин этот тоже к нам заявится?

— Татарин верхом в город хочет, а линейку бросает... Чорт с ним, пускай едет верхом...

И вдруг, как старший, добавила женщина:

— А ну-ка, кто из вас бойчей?—Клади дров в печку, отогреться-сушиться буду!..

— Ну-ка-ет!—подхватил Гаврила.— Ты это нам что —дров привезла?

— Ах, злыдень!—покачала головой женщина.—Видишь,—нитки на мне сухой нет? Что тебе, чортушка, двух полен жалко?

— У нас полен не бывает... У нас хворост,—объяснил ей Нефед.

— Ну, что ж... Еще лучше!.. Пылко гореть будет... Тащи!

И слегка ударила его по узкому сухому плечу женщина.

Нефед взглянул на Семеныча,—тот кивнул головой:

— Раз человек промок,—первое дело ему сухость нужна...

И Нефед достал в сенях охапку хвороста.

Женщина осталась в одном только ситцевом платье, кое-где голубом, на плечах же, где оно прилипло, темном. Лицо ее, вытертое о кофточку, сплошь зарозовело. На правой щеке оказалась крупная родинка; мокрые короткие русые волосы, прямой нос, серые глаза; не из

высоких, не из полных; лет двадцати двух-трех, не больше.

Она сунула руку в карман платья, достала коробку папирос, но коробка размякла, папиросы склеились, и она бросила коробку в угол, сказав Семенычу:

— Верти крученку, дед!

— Из чего это «верти»?—удивился Семеныч.

— Что-о?.. Та-ба-ку нет?.. Врешь, небось?.. Ну, хоть из махорки валяй!

— А махорки где взять прикажешь?

— Тоже нету?

— Не водится у нас...

Женщина выругалась еще сложнее, и в то время, как Нефед покорно ломал на колене хворост, Гаврила ворчал:

— Какого чорта!.. Лезет всякий со своими командами!.. Что у нас,—гостиница или двор постоялый?

Сухой хворост, брошенный на глевшие угли, запылал ярко, и женщина начала быстро и ловко расстегивать и стаскивать платье.

В рубашке, обшитой узким кружевом, она стала еще деловитее. Она устроила на табурете перед дверцой плиты свою юбку и блузку и, оглянувшись кругом, где бы сесть, чтобы снять высокие заляпаные грязью ботинки, шлепнулась на топчан Семеныча.

Высоко забросив одну ногу на другую и распутивая шнуровку, она говорила Нефеду:

— Ты, старичок, возьми вон папирос коробку—я бросила,—положи на плиту,—они высохнут, ничего...

И Нефед подобрал бережно и положил на плиту раскисшую коробку.

— Все-таки ты откуда же ехала, товарищ?—захотел узнать Семеныч,—из города или, стало быть, в город?

— Я же тебе говорила, что татарин в город верхом поехал...

— Тут именно может быть разное... конечно, от нас до города ближе все-таки, чем, скажем, до деревни...

— Ду-урной!—перебила женщина.— Стала бы я из города выезжать по такой погоде! Да еще на ночь глядя!.. Вот умница-то!..

— Стало быть, из деревни ты... Так-ак!.. Вчерашний Иван Петров оттуда, и ты оттуда же... Из одного места-жительства...

— Ка-кой Иван Петров?—живо вскинулась женщина, бросив ботинок.

— Должна ты его знать лучше, раз ты оттуда едешь... Там наших русских самая малость,—одни татары!.. Прописался у меня—Иван Петров, а там кто его знает... По морям плавал... И нога у него, я заметил, с прихромом.

— Молодой или старый?—еще живее спросила женщина.

— Зачем старый... Старые только мы трое остались, а то все молодые пошли... На руках знаки носит...

— Гм... Тоже сюда к вам заходил?

— Как же?.. Ночевал у нас...

Женщина нагнувшись продолжала расшнуровывать ботинки, но очень нетерпеливо, а когда стащила их, поставила на плиту, села к огню, отодвинув на табурете платье, и заболтала задумчиво ногами в тонких грязных чулках.

— Видать мне отсюда, что ты с ним знакомая,—буркнул Гаврила.

Женщина взглянула на него, перевела взгляд серых неробких глаз (они были выпуклые!) на Семеныча, потом на Нефеду, который стоял к ней ближе других, и сказала:

— Знаком болван с дураком,—пили вместе чай с молоком...

Поболтала ногой и спросила Нефеду, найдя его наиболее простоватым:

— Он же ведь не один приходил,— вдвоем?

— Истинно!—поспешно отозвался Нефед.—Звал кого-сь еще, только мы не видали...

Женщина ударила себя ладонью по колену, но слишком сильно, так, что осушила ладонь и сморщила лицо от боли.

— Соврал, соврал он, дружок: никого с ним не было,—вид только делал!—поправил Нефеду Семеныч.— Один в город утром пошел,—я ведь смотрел ему вслед...

— Один?—насторожилась женщина и повеселела.

— Смотрел я, интересовался,—однако один пошел... А хромой он на левую ногу... На пристань в артель хочет,—мешки таскать...

— Меш-ки тас-кать?..

Женщина повеселела еще больше, пощупала подсыхавшее платье, подбросила в печку еще сушняку, посвистела за-

думчиво и вдруг бойко сняла с себя рубашку, объяснивши:

— Чорт ее, холодит как спину!.. Пускай провянет!

И распылила ее перед ярким огнем на руках.

Короткие волосы ее подсохли уже и зазолотели, закурчавясь около лба; небольшие круглые некормившие груди бойко смотрели вперед и нежно розовели отсветами печного огня, но ниже их, и на спине, и на руках, и на поясище, зачернела, точно зарябило в глазах у стариков, обильная татуировка.

Старики кряхтя переглянулись, и Семеныч сказал удивленно:

— Грязь это на тебе что ли? — и поднес ближе к ней лампочку.

— А что?.. Грязь?—спросила женщина вызывающе.

Вытянув шею, рассматривали разрисованное тело женщины три старика и увидели, что не грязь: привычной твердой рукой были сделаны рисунки, о которых сказал Гаврила с некоторой веселостью в голосе:

— Ишь ты... в роде бы обои на ней!.. Ци-ирк!..

— Видать... видать, что и ты по морям то же...—забормотал Семеныч, а женщина спокойно спросила всех трех:

— Как это вам понравилось?

Потом встала, поправила коробочку, сушившуюся на плите, вытащила одну папиросу и сказала Семенычу:

— Держи лампочку ближе,—я прикурю!

И не отрывая глаз от нее, освещенной лампочкой спереди и огнем плиты сбоку, пробубнил Гаврила, покачав головой:

— Во-от!.. То же, небось, чья-то дочка считается!

— Ишь ты, козел потрясучий!..—повернулась к нему женщина, прикурив и выпустив два лихих кольца голубого дыма и придвинувшись к нему вплотную, так что ее колена коснулись его колен, пропела хрипучим речитативом в альтовом тоне:

«Все березки поднависли,

Одна закудрявилась,—

Я сама того не знаю,

Чем ему пондравилась!..»

— Пошла, не вязь!—толкнул ее в бедро Гаврила, но толкнул слабо, а Се-

меныч, все еще державший лампу, и Нефед крякнул согласно, и женщина по-своему перевела их кряканье, подмигнув:

— Да уж, девка разделистая, только к допотопным попала!

— И как же тебя зовут, девка?—любопытствовал Семеныч, ставя, наконец, лампочку на стол.

— Зо-вут-кой!.. Ишь ты ему: как во-у-ут!.. Что ты, мильтон что ли?—даже как будто обиделась женщина.

— Была у нас в селе, в Тверской губернии,—задумчиво сказал Семеныч,—одна такая бой-девка, ту я, как сейчас, помню, Нюркой звали... Очень на тебя лицом схожая...

— Вот-вот... ну, значит, и я Нюрка!—подбросила голову женщина.

— Гм... Ежель Нюрка, значит Аннушка... В таком случае, записать надо... А по фамилии ты как?—деловито уже справился Семеныч, доставая свою тетрадку.

И уже взял он непокорными пальцами, как граблями, огрызок карандаша и уставился вопросительно на женщину чересчур светлыми, почти восьмидесятилетними глазами. Но женщина, спокойно выпустив одно за другим несколько дымовых колец, подошла к нему, выхватила тетрадку, глянула на ее замасленные исписанные листы, брезгливо протянула:

— Чорт-те чем занимается на старости лет! — и бросила тетрадку в печку.

Гаврила поднялся во весь длинный рост, Нефед ревностно кинулся, было, выхватывать тетрадь, но голая женщина очень легко отбросила его, только груди ее чуть колыхнулись, да губы плотнее зажали папироску. Семеныч же был так ошеломлен, что даже не двинулся с места, — только рот раскрыл: и, глядя на этот изумленный рот, женщина громко захохотала, добавив:

— Вот шуты-то гороховые!.. И чорт их связал вместе веревочкой!

Вспыхнувшая бумага очень ярко озарила ее гибкое тело, и рисунки на нем так отчеканились, что даже кроткий Нефед сказал в ужасе:

— Бесстыд-ни-ца!..

Гаврила прохрипел:

— Ты!.. Мерзавка!.. Тварюга!..

И оба кулака над нею поднял.

А Семеныч весь задрожал, крича и задыхаясь:

— За хвост ее!.. За дверь!.. За хвост, за дверь!.. За хвост!..

Но женщина только перегнулась в поясе хохоча и, когда отхохоталась, оглядела всех троих снисходительно и миролюбиво.

— Чего регочешь?—тряс над ней кулаками Гаврила, но она будто оттолкнула его выпуклым ясным взглядом и отозвалась не ему, а Семенычу:

— Хвост мой сушится!.. У меня теперь хвоста нет,—видишь?

Она повернулась к нему задом и звонко хлопнула себя по ляжке.

— Ну, не бесстыдница?—еще больше изумился Нефед.

— Блудница!..—поправил его Семеныч.—Блудница это к нам!.. Эх, стерва безрогая!.. Мне же эти записки вот как были надобны... Там же у нас все счета сведены!..

Но женщина, докурив и бросив окурок, задев Гаврилу локтем, а Нефеда коленом, скользнула к Семенычу, погладила его по горбу и, заглядывая ему в лицо снизу, как шаловливая девочка, зашептала:

— Дедушка родненький, не сердчай, голубчик!.. Ты себе другую тетрадку напишешь, а то эта грязная была прегрязная!..

— Это не сатана нам явился во образе?—спросил Нефед Гаврилу тихо и немного испуганно, и, подхватив это, потянулся к Семенычу Гаврила:

— Перекрестить его, что ль?..

Он занес над головою женщины кулак, и глаза у него стали красные, как у лохматых цепных собак.

Вдруг женщина, обернувшись, прыгнула к нему и обхватила его за шею руками:

— Ми-илый!.. Ну, бей, бей!.. Бей, если хочешь!

И большая надсада была теперь в ее хриповатом голосе и та покорная сила, которая встречается не часто и действует наверняка.

Гаврила, как пойманный, повертел туда-сюда головою, выпрастывая шею, но не ударил, только откачнулся, а она, будто укротительница зверей, обуздавшая самог лютого из них, оторвалась

от него сама и села на табуретку, скрестив ноги.

— Разве я бесстыдница?—заговорила она устало, как будто и с укором.—Я просто смотрю на вас—люди вы старые, жизнь у вас скучная... эх, и скучная же, должно быть!.. На меня поглядите, все веселей вам будет... Хата ваша мала, старички, а то бы я вам удовольствие сделала, про-тан-цо-вала!.. Я ведь танцорка какая!.. Ку-да той дуре грешной!.. Она—жаба, а я — как пух!.. И-и-их-ты!..

Женщина взвизгнула вдруг так дико и неожиданно, что вздрогнули старики, и в чулках, еще мокрых и грязных, всего на двух шагах свободного пространства пола закружилась с такой быстротой, с такими подскоками, с прищелками пальцев, с такими извивами плеч и рук и тонкого торса, что и хотели бы, да не могли отвести от нее глаз три старика. И молчали, только вцепились твердыми косными пальцами кто в доски топчана, кто в свою рубаху.

Они готовы были так смотреть на нее долго, очень долго, и когда оборвала она вдруг и села сразмаху, почти упала боком на свой табурет, высоко подымая грудь, Семеныч сказал, чтобы скрыть какую-то неловкость от себя самого:

— Легкая!.. А в сам-деле ведь легкая!..

Но скрыть неловкости не удалось, и он добавил:

— Небось, скажешь: устала,—чаю хочешь!

— А разве у вас, чертей, водится?—отозвалась женщина, доставая новую папироску.

— Да ведь как сказать-то?.. Пословица говорится: посади свинью за стол, она и...

— Чаю напьется?—досказала женщина, постучала мундштуком папиросы о железную обвязку плиты и добавила:

— Наша сестра больше вино уважает, а чай что? Пойло!

— Да уж лучше же вина ей стакан дать, чем она нам тут дымить-то будет!—вдруг буркнул Гаврила, уставя лохматые глаза в Семеныча.—Ведь всю нам помещению задымит, два дня не проветришь!..

— А есть? Ну-у!.. Давай!—живо поднялась женщина и, не выпуская папиросы из рук, вскочила к Семенычу на

колени, что вышло у нее чрезвычайно привычно, просто и естественно.

Иные мрачнеют от вина, стареют, но огромное большинство людей вино делает праздничней, болтливей, моложе...

За окном кухни продолжал лить дождь, размеренно затопляя землю.

В плите трещал дубовый хворост, и обильная куча его лежала около.

За столом, над которым сбоку висела на стене лампочка, сидели три старика и женщина с распушившимися русыми волосами, с родинкой на правой щеке.

Она была уже в рубашке, спрятавшей татуировку; выпуклые серые глаза ее крупно блестели, лицо покраснело сплешь.

На столе стояла четвертная бутылка вина, скрытая от Ивана Петрова, и вино в ней оставалось уже на доньшке.

Лицо Нефед, маленькое, безволосое, кроткое, скопческое личико, вздулось и набухло в подглазьях, стало непотухающе улыбочатым. Глаза Гаврилы взметывались из-под серых бровей проворнее, и хоть еще краснее стали, но смотрели распылчатей. Семеныч чаще облизывал западающие губы и выпячивал их ставшим неутомимо-деятельным языком. Селезневые глазки его запали в узенькие-узенькие и лукавые-лукавые щелки; тяжелая голова часто свешивалась набок и припадала почти к самому столу, а из-за нее выкатывался горб, тоже как будто проявляющий любопытство и внимательность, прекраснодушие и веселость.

Женщина сделалась очень оживлена. Вино она пила жадно и так же жадно — не мог ее остановить Гаврила — сжигала в подпухших губах папиросу за папиросой, пока не опустела коробка. Пеплом около нее был густо засыпан стол, а окурки она ловко бросала через голову к плите, чуть шевеля при этом кистью неслабой руки.

— И какой же ты все-таки губернии? — допытывался у нее Семеныч.

Женщина отвечала бойко:

— Тульская... Ноги курские, ручки харьковские...

Но тут же спрашивала сама:

— А он какой губернии назвался?

— Этот, ночевал который?.. Он мой

земляк оказался: тверской, — хитрил Семеныч.

Но женщина залилась смехом:

— Твер-ской!.. Шел такой тверской по Большой Морской, исходил тоской... Если хочешь, дед, про нас в книжку записать, — запиши: Неразлучные... Вот!.. Такая наша фамилия... А что эта стерва затеяла, какая сюда к вам зайтить постеснялась, то это ей не удастся, не-ет!.. Врет она!

И женщина сильно ударила по столу небольшим, но плотным кулаком с двумя тоненькими золотыми колечками на указательном и безымянном.

— Хочет в городе на пристань поступить, парохода грузить, — продолжал Семеныч, склоняя все ниже голову и вывернув короткую шею. — Что ж... Я ему, конечно, сказал: «Ты малый здоровый, ты не сломишься!..»

— Ну, вот и хорошо! Он на пристань, а я в кофейню за подавальщицу! — весело подмигнула женщина. — Летом сто рублей на книжку положим, — осенью хозяйство свое заведем...

— Нет, брат, теперь уж свое хозяйство не заводят, — хрипел Гаврила.

— А даже последнее продают, — поддержал Нефед.

— Ну, тогда мы столовку откроем, — продолжала шутить женщина. — Он за повара, а я по столикам разносить.

— Гм... Как будто на повара не похож, — сомневался Семеныч.

— Ну, да, он больше на кухарку, — подмигивала женщина. — А разве теперь кухарки за повара не работают?

— А вот я повар был, так бы-ыл! — вдруг с чувством сказал Гаврила, проволочив бороду по столу вперед и назад. — Не веришь?.. Был! Сурьезно!

— Он был, был, — это верно он говорит, — поддержал Нефед.

Но женщина прихлебнула из чашки вина и спросила безлюбопытно:

— Отчего же бросил?

— Да ведь как сказать-то... Истинно, я сюда в Крым в повара тогда приехал... (Гаврила даже подумал немного, точно ему самому было странно, почему он теперь не повар). Тогда еще здесь по соше машин никаких не ездило, а только мальпосты называемые ходили, — экипажи такие, для всех желающих... И везде по соше станции, а на

каждой станции буфет... Вот и я на одной поваром работал,—а как же!.. Я все мог в лучшем виде,—и борщ и жарковье... Пилав из барашки,—в лучшем виде...

Густые брови Гаврилы поднялись и не опускались, как будто сам он удивлялся тому, что так много можно наговорить неизвестно зачем, глядя на женщину с родинкой на правой щеке и в рубашке, обшитой кружевом.

А женщина спросила беззаботно, как и раньше:

— Чего же бросил?

— Зять сбил! Вот кто сбил!—зло ответил Гаврила.—Зять кровельщик!.. Сестру мою взял... «Иди,—говорит,—со мной по кровельной части, лучше гораздо твое дело будет!..» «Лучше»!.. Оно, конечно, много посвободней, и на одном месте не сидишь... Десять лет я с ним в кровельщиках ходил... конечно, и покраска наша... Десять лет без малого...

— Бросил?—уже лукаво спросила женщина.

— Да ведь как сказать... Из-за вашей сестры дело вышло: обоюдная драка...

— Это с кем? С зятем?

— Нет, это с другим... Так что посла этой драки пришлось от этого дела отойти... Сторожом на будку поступил...

— В сторожах на будке и я служил,—как же!—радостно заулыбался Нефед и нежно дотронулся пальцем до свежей кучки пепла, только что свалившейся на стол с ее папиросы.—Ничего,—служба легкая в сторожах, ничего... И землей занимался там,—огород был у нас с бабой..

— А баба та где же?—спросила женщина.

— В тифу она, в тифу померла, как же... В тифу!..

И пожал Нефед раза два удивленно левым плечом, а тот самый палец его, который только что нежно касался теплого пепла, теперь робко коснулся лужицы вина около ее чашки.

— А твоя баба?—спросила женщина Семеныча, но тот замахал в ее сторону плоской рукой и морщины около глаз сбрал так, как будто ему даже неловко стало.

— Моя баба!.. Моя баба последняя,—

если ты знать это хочешь,—потому у меня их всех ровно три было... Последняя, уж она девятнадцать лет, как косточки ее гниют на погосте... Девятнадцать... даже поболее немного... И скажу я тебе,—на двадцать пять годов она моложе меня была, а... говорится: смерть причину знает...

— Уколошматил ты ее, дед, а? Говори правду!—строго сказала женщина и брови сжала.

— Пальцем никогда не тронул!.. Что ты!..—встревожился Семеныч и даже голову поднял.—Пальцем никогда!.. Я? Что ты меня за изверга считаешь, чтобы я жену свою бил?.. А-я-яй!.. Вот как на человека другой человек зря подумать может!..

И будто потемнел с лица от обиды Семеныч, только глаза стали еще белее, так что женщина срыву поднялась и чмокнула его в желтую бороду.

И почему-то тут же ухватился за свою бороду—не совсем еще седую—Гаврила и раза два старательно провел по ней ладонью, как будто стала она ему значительнее и дороже; Нефед же вздохнул и пошел подбросить хворосту в печку, чтобы женщине, сидевшей в одной рубашке, было теплей, и чтобы как следует высохли ее чулки и ботинки, залепанные грязью.

Иные от вина только глубже замыкаются в себя, дичают, однако огромное большинство людей становится общительнее, легкомысленнее, довольнее собою, ярче.

Но, может быть, и женщина в одной рубашке, с родинкой на правой щеке и выпуклыми серыми глазами, заставляла трех стариков прихорашивать себя хотя бы в прошлом.

Говорил Семеныч, приподняв, насколько мог, голову и напыжась:

— А когда Скобелев-генерал, — а ведь он же, эх, и герой был,—из героев герой!—когда поднял он в руке крест золотой,—второй степени Георгий,—да как крикнет: «А это, братцы-молодцы, тому я только дам, кто у вас из молодцов молодец!..» Фельдфебель, было, наш, так уж он полагал: ему!.. Эх, чуть в него, в Скобелева, глазами не вскочит... А ротный наш, капитан Можаров, на меня головой кивает: «Вот кто один у меня из молодцов молодец, из удаль-

цов удалец!.. Два креста он уж заработал, не иначе на него и третий целится!..»

— Даа?—спросила женщина.

— Скобелев-то?.. А как же!.. Сам приколот булавкой... По-це-ло-ва-ал при всех даже!..

Тут Семеныч как-то скрипуче вскрикнул, и мокрые глаза у него стали. Но это были слезы радостные, это были гордые слезы; однако, чтобы скрыть их, Семеныч заулыбался и добавил, покрутив головою:

— А новобранец тогда у нас был один,—до чего чуден!.. «С петухом,—говорит,—или же с конем крест этот тебе дали?..» С пе-ту-хо-ом! И выдумает, серость!.. Это он орла, какие на медалях, за петуха счел!

Гаврила буркнул недовольно:

— Нет уж теперь тех орлов-медалей!.. И кресты тоже в отставку все вышли!..

— А прежде я пенсию за них получал!

— Мало бы что прежде...

Гаврила смотрел на женщину быком и вдруг быком же, как будто боднуть ее хотел, нагнул и сунул к ней срыву лысую голову затылком вперед.

— Гляди!.. Клади сюда палец!

И сам захватил руку женщины и поднес к своему затылку.

— Видала, бугор какой?.. Это ж кость у меня топором рассеченная была до самого мозга и опять срослась!..

— Это из-за бабы той?—спросила женщина.

— В девицах она тогда еще была... Думали все, что мне с такой раной не жить... А я топор у него вырвал, да его насмерть!.. А после того только лег я без памяти... Так мне потом говорили в больнице: «Это ж небывалое во веки веков!.. За деньги показывать можно, чтоб с такой раной человека ты убил хладнокровным манером, да еще и жив остался!..»

— А суд был?—спросила женщина.

— Так, проформа одна, — качнул Гаврила бородою. — Это ж обоюдное считается, и топор был его, а вовсе ж не мой...

— А у тебя, старичок, сроду бороды не было?—спросила женщина Нефед.

— Как не быть? Бы-ла!—ретиво встал на свою защиту Нефед.—Как же чело-

веку без этого?.. И усы тоже носил... Только я у немцев жил, в колонии, одним словом, у них эту привычку я взял — бриться... Эти немцы... известно... у них я жил — беды-горя не видел... Цельный год колбасы наворачивал... А что касается пива если, так у них же у каждого бочка на погребнице... Бывалыча сколько хочешь наделишь себе и пьешь... Это в роде у них за чистую воду считалось...

— Прижали теперь и немцев,—сказала женщина.

— Говорят, что не без этого... А я же у них первый работник был!.. И даже так я у них привык,—по-ихнему понимал!.. Почти я все у них понимал, что они говорили, ей-богу!..

Когда четверть допили, оказалось, что просохли уже ботинки и платье женщины.

Она сказала довольно:

— Ну, вот, хорошо-то как!.. А то мне что-то уж холодно стало...

И начала одеваться.

Высокие ботинки свои она зашнуровала не спеша, потом открыла дверь.

— Никак и дождя уж нет,—смотри ты!.. И месяц даже...—сказала она совсем трезво.—Надо бы мне пойти прогуляться...

— Прогуляйся, а то как же, — понятно сказал Семеныч.

Она оделась, даже застегнула свой плащ, и вышла.

Гаврила начал прибирать со стола посуду: Нефед ломал на колене хворост и подкидывал в печку, чтобы женщине было теплее спать. Семеныч заботливо устраивал свою постель, которую нужно было уступить ей, как самую чистую и удобную. Однако прошло уже минут десять, — женщина не возвращалась.

— Не тошноты ли ей от вина нашего?—встревожился Нефед.

Прождали еще минут десять.

— Не в колодец ли упала?—еще больше, чем Нефед, встревожился Семеныч.

А Гаврила отозвался:

— Что ж мы сидим, как овцы?.. Искать ее надо!

И пошел, как был, в ночь, и со двора донесся его крик:

— Эй!.. Дорогая!.. Ты игде там?..

Ааяла Верка, гремя цепью. Потом вынесли лампочку, столпились все трое около колодца, смотрели в сырую черноту.

Даже ведро пробовали опускать, не зацепит ли, и у всех трех замирали сердца,—нет, не зацепило.

— Бывает, что вешаются,—шопотом сказал Нефед.

Подходили к миндалю и кипарисам, смотрели и щупали... Даже на шоссе вышли,—однако шоссе было пусто: Линейки с поломанным колесом ни в ту ни в другую сторону по шоссе тоже не было видно.

III

Дней через пять,—установилась уже сухая ветреная погода, — Семеныч проснулся среди ночи от глуховатых, но тревожащих пушечных выстрелов. Когда он насчитал их четыре один за другим,—встал и зажег лампочку.

Гаврила бурчал от стенки:

— Вско-чи-ил, чорт его знает чего!.. Это же камень бурками рвут!

— По ночам брат, не рвут, — не сдался Семеныч.—Это—орудие,—ты меня не учи... Это не иначе неприятель какой наступает в тайности... На это обстоятельство выйти посмотреть надо, куда он огонь направляет.

Закутался в одеяло, как в плащ, и вышел.

Северный ветер наскакивал порывами. Ночь оказалась темная, но от города на море лег плашмя луч прожектора. Хотя он не двигался, не рыскал, а лежал недвижно, спокойно, смешать его с лунным столбом нельзя было даже с первого взгляда: он расширялся от берега к морю.

Опять бабахнул орудийный выстрел, отраженный водою и потому гулкой, а следом за ним ясно расслышал Семеныч трескотню пулемета.

Он подошел к двери и крикнул Гавриле:

— Так и есть—сражение!.. А ты: «бурки рвут!»

И вот уже все три старика, однообразно закутанные в одеяла, стояли и смотрели на таинственный перст прожектора, твердо указующий куда-то далеко в море.

— Что же это, — наши ли из орудия,

а он из пулеметов, или как? — робко спросил Нефед.

— «Он»—это кто «он»?.. Неприятель?.. Ты бы подумал умом, как же ему к чужому берегу подходить без орудиев?—отозвался Семеныч, а Гаврила буркнул:

— Однако что-то покончили, как мы вышли!.. Прохладное очень сражение!.. Должно, комарь тебе в ухо залез, а ты уж—сражение!..

Но тут же расслышали все частое тьякanye пулемета и потом новый орудийный гул, на воде державшийся долго.

— Вот они, комари, как поют!—торжественно Семеныч.— Там, небось, уж десятки людей на тот свет пошли, а какие — руки-ноги отбиты, тех уж опосля считать будут!..

Города отсюда не было видно и днем,—он лежал за перевалом,—и наиболее робкому из стариков, Нефеду, жуткой показалась, наконец, эта ночь с темным небом, черным морем, треугольным лучом прожектора и непонятной пальбой.

Он поежился и спросил тихо Семеныча:

— К нам какие пули не залетят?.. Нам в помещение, может, зайти?

Гаврила отозвался:

— Известно, — пуля, она глупая... — И повернулся к двери, но только-что сделал два шага, как Нефед по-крабьи, бочком, обогнал его и втиснулся в сени.

Семеныч дождался еще одного орудийного выстрела и тоже вошел, когда Нефед с Гаврилой устраивались уже на своих топчанах.

— Похоже так, — начал он знающе,— бьют они по городу с дальней дистанции... А что касается, чтобы нам их бояться, то мы в стороне, мы значенья им не имеем... Хотя бы даже и днем, а не то что ночью, — какая мы для них цель? Так себе,—мурашка мы для орудия...

— Однако слышал я, — немцы, как война была, и по одному человеку из орудий крыли,—сказал Гаврила.

Семеныч подумал и объяснил:

— Немцы, те, конечно, могли!.. Так а это ж разве немцы бьют?.. Немцы с нами в согласии, — они не должны... Мо-

жет, румын какой заблудший... А немцы уж теперь сами как подначальные... Это румын... или же это...

— Прикрути фитиль, когда такое дело,—перебил Гаврила.

В темноте с полчаса еще слушали, не усилятся ли пальба, но ни одного выстрела больше не слышали.

А утром едва стало белеть, встали и долго осматривались кругом. И хотя никаких изменений не внесла ни во что кругом ночь, все-таки Семеныч, наиболее общительный из трех, колесом выгибая спину и делая шаги короткие, но спорые, двинулся в город.

На полях газеты он записал, что ему надо было купить на обиход, кроме хлеба.

— Тетрадку купить запиши!—подсказал ему из дверей Гаврила.—А то сука все наши счета сожгла!..

Семеныч даже обиделся:

— Эх, сказал тоже!.. Про тетрадку как я могу забыть?.. Тетрадка эта,—вся наша жизнь в ней была, в тетрадке, а я чтобы забыл?.. Ска-за-ал!..

Пошел он не по шоссе, а в обход его, тропинкой, по которой спускаться вниз было легко и в свежести, пропитанной кислотоватым запахом дубового кустарника, даже приятно. Он то-и-дело вглядывался в затянутый синими дымами из труб город,—все ли в нем на месте. Как будто все было на своих знакомых местах, но так могло только представляться издали.

Показался в стороне Абла, молодой татарин, чабан, с отарой овец. Отмахнул в море герлыгой и крикнул:

— Бабай!.. Стрелял там ночью, а?.. Ты слышал?

— Слышал,—стрелял малым калибром... А кто это? — крикнул остановившись Семеныч.

— Нни знаем... Почему знаем?..

— Пойду назад, тебе скажу, кто...

— Скоро здесь не будем,—там будем! — указал герлыгой Абла повыше шоссе.

— Ну, стало быть, там сиди жди... Авось кто другой тебе там скажет, а уж не я...

Чабаны часто приходили летом к старикам за водою, а зимой, когда вода везде было довольно, таскать на разжижку костров сухие виноградные колья.

В то же время ссориться с ними было нельзя: это все были ухаи, отпетые парни, к тому же быстро дичавшие на свободе и, чуть что, хватавшиеся за ножи. С чабанами у стариков были сложные и запутанные счеты...

Еще с вечера накануне видал Семеныч, как пошли рыбацьи лодки куда-то к востоку, вдоль берега, конечно, за камсою. Теперь он думал между прочим и о том, не удастся ли захватить прямо на пристани у знакомых рыбаков дватри кило камсы.

На подходе к городу, на шоссе, у шоссейной казармы, трое пришлых, по виду российских, рабочих разбивали бойкими молотками голубой камень.

Их спросил Семеныч (кстати и отдохнуть постоять было нужно).

— Хлопцы! А вы не знаете, кто это стрельбу поднял ночью?

— Стрельбу?

Один взвел на него запыленное серое лицо и посмотрел на другого.

— Какую стрельбу?—спросил другой.

А третий, мешковатый парень, сказал с ухмылкой:

— Я, деда, правду сказать, слышал будто-то как гром какой-то загремел, да подумал, что это у меня в животе так тс...

— Мм... В животе!.. Вот что значит молодые — беспечные, — покивал головой Семеныч.—Они в себе сон имеют крепкий и до всего безо внимания!

Однако зависти к ним не было в его глазах цвета снятого молока,—только недоуменье.

И дальше по городу шел он, ни к кому не обращаясь с вопросами о ночной стрельбе, так как все попадались очень молодые люди.

Сначала он поглядывал на дома,—не развалили ли крышу где-нибудь снарядом?—потом перестал глядеть: нигде не было заметно подобного. А когда вышел он к набережной, то увидел—на пристани было довольно густо черно от народа; но воздержался он от вопроса кому-нибудь: на камсу ли это очередь, или касается это тех самых выстрелов ночью.

Море было тихое, и рыбацьи лодки одна за другой шли с востока, а справа, с юго-запада, подходило еще что-то, побольше обыкновенной лодки, однако не

похожее и на те пароходы, которые заходили иногда сюда зимой: те были и больше и цветом чернее.

Лавки кооператива еще не открывались. Мимо пекарни, где всегда брал хлеб Семеныч, он прошел теперь, чуть оглядев очередь: поспеть на пристань к камсе он считал важнее, а хлеб не уйдет.

Колесом согнутый, он катился, как колобок, как будто и не особенно спеша, но все-таки ходко. И вот, приподнимая шапку и вытирая тряпочкой с лысины пот, он стоит уже на пристани и смотрит то на две рыбацьи лодки влево, которые подходят и в которых серебряно блестит камса, то сюда, направо, где одна лодка, большая, тащит на буксире,—это он теперь уже хорошо видит,—другую лодку, поменьше.

— А это что же такое, товарищ,—или белугу везут?—кивает Семеныч на них красноармейцу-пограничнику, который стоит рядом и почему-то с винтовкой.

— Вот именно, белугу!—улыбнулся пограничник и поправляет фуражку с зеленым кантом.

— А стреляли ночью это кто же такие и по ком?—понижает голос Семеныч.

— По белуге же,—кинул пограничник и пошел вперед, раздвигая толпу рукою, а впереди, от других отдельно, разглядел Семеныч еще двух с винтовками.

Потом все они трое стали шеренгой у самого борта пристани и закричали:

— Граждане! Очищай пристань!

Все сначала попятнулись, потом повернулись и пошли, оглядываясь, к берегу.

— Это зачем же?—спросил на ходу Семеныч кого-то незнакомого.

— Как же иначе?.. Везут же их,—ответил тот.

— Кого же это?

— А по ком ночью стрельба была.

— А-а-а!.. Это на буксире их?

— Разумеется...

— Значит, молодцы наши!—только и успел сказать Семеныч.

Не удалось спросить, какой нации были нападавшие: очень напирала сзади толпа, очищающая пристань.

Лодки рыбаков, которые хотели, было, пристать у пристани, пограничники направили криками дальше, к грузовым

мосткам, и толпа сразу разделалась: камсятники повалили к мосткам, а в Семеныче одолело любопытство увидеть, кого выгружат на пристани.

Он спросил огнелицого извозчика Шахмурата:

— Это что же такое подходит с буксиром?

— Истребитель называется,—ответил Шахмурат.

— А на нем труба погнутая?

— Нет, пушка это... Который стрелял ночью...

Лошадь Шахмурата, редкостной пестрой масти, похожая на зебру, жевала в торбе овес, встряхивая ее так, что овес сыпался наземь, и Шахмурат кинулся к ней с кулаками и криком:

— Ты-ы, худой рот, хартан! чорт, — знаешь, почему теперь овес стоит?

Семеныч искал глазами около, кого бы спросить, кто же стрелял из пулемета, если пушка была наша, советская, но к трапу подходил уже, описав пенистый полукруг, низенький истребитель, и в нем зажелтели шинели пограничников.

С зелеными звездами на буденновках, пограничники один за другим подымались по трапу, и уже несколько человек их полукругом построились на пристани, когда на истребитель с моторной лодки взятой на буксир, стали перепрыгивать и потом также подыматься по трапу люди в штатском. Их было семеро, и, показалось Семенычу, между ними две женщины.

Как раз в это время рядом с Семенычем пришелся высокий худой человек в зеленой кепке — Стопневич, бывший при здешнем суде член коллегии защитников, который недавно стал заговариваться, почему и был отставлен. У него пыливо спросил согбенный Семеныч:

— Это какой же именно нации люди?

— Контрабандисты! — отчетливо сказал Стопневич. — При чем тут нация?.. а впрочем, нация, нация... Их будут вести мимо, — мы их рассмотрим, какой они нации...

— А нас тогда не погонят отседа? — осведомился Семеныч вполголоса.

— Куда же нас еще гнать? В море топить, что ли?

Высокий Стопневич имел вид гордый. Лицо бритое, с жилками на скулах, шея

очень длинная и тощая, с большим кадыком; виски седые.

Он добавил:

— Сейчас должны пулемет их втащить на пристань.

— Так это они, значит, кон-тра-бандисты, из пулемета смолили? — очень удивился Семеныч.

— Они смолили.... А по ним из орудия...

— Ну, однакоже, все будто живы остались?

Стопневич об'яснил важно:

— Так именно и нужно было в них бить, чтобы не попасть!

— А они чтоб в наших из пулемета не попали? — подхватил Семеныч.

— Да-да-да-а!.. Так нужно было маневри-ровать, чтобы и они тоже не попали, а потом, конечно, сдались бы в плен... В этом и прошла вся ночь... Эта операция была проведена вот! (Он сделал вид, что целует пальцы на своей правой, все время энергично двигавшейся туда и сюда, руке). Я следил за этим целую ночь!

Действительно, глаза у Стопневича были воспаленные, красные; видно было, что он не спал ночью. Вдруг он нырнул тощей шеей:

— Ага!.. Пулемет тащат!

Семеныч различил, как двое пограничников втаскивали по трапу части станкового пулемета, и покрутил головой:

— Вот какие отчаянные!.. Это, значит, — они от нас уехать собрались, — та-а-а-а!.. И в какое же они думали в государство?

— В Турцию, разумеется... И, говорят, много груза везли... Сейчас выгружать их лодку будут...

Но начальник погранпоста распорядился иначе. Он что-то скомандовал там около трапа и, махнув рукою, пошел впереди, а за ним пограничники, по четыре человека с каждой стороны кучки контрабандистов. Блестели их винтовки, а лица были посинелые, и Семенычу показалось, что с большим удовольствием топали они по прочному толстому настилу пристани, стоявшей на бесчисленных двутавровых балках.

Похоже было, что и контрабандисты тоже довольны были твердой опоре под ногами. Они шли не понуро, — нет, напротив, они глядели вызывающе, они

как будто хотели героями пройти мимо глазающей на них толпы, даже чуть усмехались, — так показалось Семенычу.

Пятеро мужчин были все народ плотный сбитый. Семеныч каждого встречал и втягивал в себя зоркими еще, хотя и снятомолочными, глазами. И вдруг он замигал изумленно и руку поднял, а другою толкнул Стопневича:

— Смотри ты!.. Ведь Иван Петров!

Он не то что вскрикнул это, он скорее выдохнул это вполголоса, но один из шагавших контрабандистов поглядел в его сторону и как-то шмыгнув носом: действительно, это был тот самый, назвавшийся Петровым.

— Вы одного знаете? — живо схватил за плечо старика Стопневич, но Семеныч глянул на него как будто даже несколько испуганно и проговорил:

— И Нюрка здесь!

Нюрка была теперь укутана теплой шалью, но все-таки лицо ее казалось очень худощавым рядом с лицом приземистой краснощекой женщины с воловьими карими глазами... Семеныч догадался, что эта вторая и была именно та самая когорую Нюрка называла жабой и ревновала к Ивану Петрову. Семеныч успел еще заметить, что назвавшийся Петровым теперь не хромал, а шел молодцевато, и, кивнув на него, забывчиво сказал Стопневичу:

— Должно тогда ногу натер сапогом: как у нас ночевал, — хромал.

— Вы и еще одну знаете? — нагнулся к нему Стопневич, увидав, что женщина в теплом платке, поглядев на Семеныча, улыбнулась глазами.

Но Семеныч спросил, не ответив:

— Откуда же у них теплая одежда взялась?.. Недавно не было...

— Воры, знаете, найдут, — на то же они и воры! — подмигнул Стопневич, уже не снимая своей руки с плеча Семеныча, и даже гладил это плечо, ускользающее книзу и внутрь.

Кругом была суета толпы, и стоял гул ее замечаний по поводу уводимых контрабандистов, но Стопневич, нагнув длинную шею к Семенычу, говорил ему вполголоса:

— Они — люди богатые!.. Если их будут судить гла-асно, — пусть они возьмут меня в защитники!.. Я наде-юсь, — говорю вам честно, — на-деюсь, что от

высшей меры я бы их спас!.. Может быть, я сведу даже только к восьми годам изоляции... Меньше будет нельзя, — поймите!.. Контра-бан-дисты, — уж одно это возьмем, — рраз!.. Вооруженное сопротивление, — два!.. Чего ж вы еще хотите?.. Но раз они вверят мне-е защиту своих интересов, то будьте твердо уверены, что-о...

Толпа шла следом за арестованными, и шли вместе с нею старик и Стопневич, и Семеныч едва улавливал ухом, что быстро и вполголоса, наклоняясь к нему, говорил Стопневич:

— Им дадут казенного защитника... может быть... Но что же такое казенный защитник? Он даже не ознакомится с их делом! На что ему?.. Зачем ему терять на это время-я?.. Между тем, как и вам известно, — их, конечно, большая шайка... У них организация... и средства!.. Они могут хорошо заплатить, и зато они получают талантливого защитника, как я!.. Я вел большие дела!.. Я вел громкие дела в свое время!.. Я выступал в Пе-тер-бурге в таких процессах, что-о... речи мои печатались в газетах полностью-ю!.. Эта была сенсация, я вам говорю!..

И он, возможно, говорил бы еще очень долго, если бы Семеныч не заметил прямо против себя только-что открывшуюся дверь гизовского магазина. Как-то бездумно он вывернулся из-под руки большого бывшего адвоката и шмыгнул в эту дверь, а Стопневич остался на набережной, и толпа повлекла его к воротам казарм пограничников, куда уже вводили контрабандистов.

Разглядывая тетради в зеленых и синих обложках, Семеныч был чрезвычайно оживлен. Если бы он умел говорить так красно и без передышки, как Стопневич, он и здесь рассказал бы подробно, как заходили к ним, трем старикам, на дачу, бывшую Алафузова, в одну ночь мужчина, в другую женщина, и как на поверку оказались они кто же? Контра-бан-дисты, которых вот теперь повели под конвоем.

Но, платя деньги за выбранную тетрадь в зеленой обложке, он только подмигнул безгрудому и бесплечему продавцу, с могучим носом и маленькими

черными глазками, и сказал, как о чем-то общеизвестном:

— Итак, значит, прищучили их, голубчиков!

Продавец посмотрел на него удивленно и спросил, строго:

— Что значит прищучили?

— Насчет этих пойманных я говорю, — пояснил Семеныч.

Продавец оглядел его молча и тут же отвернулся показывать ручки какой-то девочке-школьнице.

А по набережной, уже пропустившей всю толпу любопытных, бодро топя, проходили, должно быть, к пристани, где остались пулемет и вся контрабанда, трое пограничников без ружей, и один жевал на ходу кусок хлеба. Семеныч хотел, было, спросить их, — для того поспешно вышел из магазина, — здесь ли будут держать арестованных или отправят дальше, но счел неудобным задерживать их, исполнявших приказание по службе.

Можно было бы еще дойти до пристани снова, до тех мостков, где пристали рыбацьи лодки, и попытаться достать камсы, — но Семеныч выпустил это из виду, — вернее, он совершенно забыл об этом.

IV

Первое, что сделал Семеныч, когда, подымаясь домой в обед, он присел на горе на камне, был неспешащий, тщательный подсчет страниц в тетради. Оказалось сорок страниц. Сорок страниц чистой белой бумаги — это привело его в восхищение. Так как здесь, на горе, он был один, никто не мог помешать планировать ему эти замечательные сорок страниц не про себя, а вслух:

— Первым долгом — подытожить счета наши, какие были... это одна страница... от силы две... Остается тридцать восемь... Итого тридцать восемь... Об Иване Петрове и об Нюрке записать — две страницы... Итого чистого места останется тридцать шесть страниц.

Эти тридцать шесть страниц он перелистывал и думал над ними долго.

Та тетрадь, которую бросила в огонь Нюрка, заполнялась им два с половиной года. Эта должна была по его расчетам хватить года на три: на каждый год по

двенадцати страниц — страница на месяц.

Он подсчитал, что к тому времени, как он испишет эту тетрадку, ему будет идти уже восемьдесят второй год. Может быть, и очки пропишет ему тогда глазной доктор Бервольф. Если недорогое, придется все-таки купить, а то он и сам замечает, что всё крупнее выходят у него буквы и цифры, особенно по вечерам, при лампе...

Гаврилу и Нефед, придя домой, он застал на винограднике. Он сказал им, подмигнув лукаво:

— Ежель с камсой меня ждете, — то не надейтесь: не достукался я камсы... хлеба, и то еле успел из-за народа... И откуда его к нам столько набирается, — пришлые... Стоят везде и стоят. Прежде люди ходили себе туда-сюда, а теперь стоят... В этом настоящая разница в жизни...

Поговорили о камсе, много ли все-таки ее привезли рыбаки, и почему нельзя было достать, — потом спросил кротким голосом Нефед:

— А насчет стрельбы что тебе сказали?

Тут Семеныч, — спина колесом, борода зеленая, глаза снятомолочные, — хитро выждал время и ответил таинственно:

— А стрельба эта оказалась в изустный счет!

Усталый от под'ема в гору, Семеныч хотя и чувствовал сильное желание прилечь на своей топчан, — как он всегда делал с приходу, — теперь стоял скрестив руки на набалдашнике палки, им же самим вырезанной из крепкого корявого граба.

— Учебная значит? — захотел догадаться о стрельбе Гаврила.

— В роде маневров? — спросил Нефед.

— Одним словом, — иностранного какого неприятеля не было, — наслаждался их догадками и подмаргивал Семеныч, — а был только называемый внутренний враг!

Вечер этого дня был вечером большого совместного напряжения памяти трех стариков: нужно было восстановить все счета, учеты и расчеты, которые были в сожженной тетради, знаменовали про-

шедшее и должны были послужить будущему.

Семеныч помнил все-таки больше других, и он отбирал, он просеивал, он не хотел смешивать неважного с важным, главное, он всячески экономил место в новой тетради, страницы которой были так девственно чисты.

Известно, что старики бывают болтливы, как дети, но они часто бывают и лукавы, как дети. Семеныч все-таки рассказал о том, что стреляли из орудия по моторной лодке контрабандистов, на которой исправно действовал пулемет, он описал подробно, как выгружались на пристани пограничники и семеро контрабандистов, и как повели вторых «под свечами» (так встарину, когда служил он сам, назывались штыки конвойных), но он умолчал о том, что двое из захваченных были Нюрка и Иван Петров.

Он почему-то решил пошутиться на новости, как расчетливая мать на конфеты для ребят: не все сразу. Он хотел рассказать им об этом последнем завтра, когда на две страницы тетради будет занесено им все, что он знал об этих двух людях, отмеченных синими знаками на коже.

Смолоду, с головой ушедший в казарменную дисциплину, исполнительный, старательный, отличенный начальством, он вышел в свою долгую жизнь для всякого места по мерке: начальство его часто менялось, исполнительность его оставалась неизменной. И в поздний десятый час (Нефед и Гаврила уже спали) Семеныч у лампочки, очень близко подсунув к ней чернильницу и тетрадь, как бы в пререкание вступил с этими двумя сторонниками устного счета, из которых один назвался Иваном Петровым, другая — Нюркой. Он даже забывал временами, что они еще молоды, что каждый из них втрое моложе его. Он знал только, что жизнь их уже кончена, — очень скоро придет к последнему концу. Он не думал даже, что будут их судить публично, что какой-нибудь Стопневич скажет речь в их защиту. Он решил, что оправдания для них нет, и милосердия они не стоили, — и то, что писал он теперь, стараясь писать как можно чище и красивее, было немногословно. Он записал, как пришел один ночью, другая пришла вечером; один ночевал и ушел

утром, другая ночевать не осталась и ушла ночью; на теле у обоих знаки. О том, что первый ел у них хлеб, а вторая пила вино, и что оба сушили у плиты платье, он умолчал, как о неимеющем значения. Но, как одержавший над заблудившейся молодежью победу, он вступил в поучительный тон. Он начал торжественно, как будто оба они стояли теперь перед ним и слушали:

«И вот ты, Иван, и ты, Нюрка, — теперь вы узнали оба: человек должен иметь план своей жизни. Людей очень стало большое количество, размножились до чрезвычайности, и которые без плана своей жизни, те должны будут без всякого семени пропасть. Тетрадки делаются одна в одну, — сожгла ты, Нюрка, мою тетрадку, — вот я другую купил, а ты себе жизньную другую не купишь, знай это теперь: жизнь дается на один нам раз...»

От волнения лицо Семеныча горело. Ему представлялось даже, что не заговаривающийся Стопневич, а он сам произносит речь на суде, и все семеро, не только Иван и Нюрка, и судьи за столом, и множество народа на скамейках, — все его слушают.

И когда залаяла вдруг неожиданно Верка, — сразу неистово почему-то, — он вздрогнул, и сердце его как будто опустилось чуть ниже и забилось слышнее и чаще.

Он подождал, не остановится ли Верка (могла набежать и убежать чья-нибудь шалая или чабанская собака), — но нет, Верка рвалась на цепи и кидалась: было ясно, что подходил кто-то к домику не с доброй целью.

Просушив поспешно свою тетрадь над лампой, сложив ее и аккуратно заткнув пузырек с чернилами, Семеныч послушал у дверей.

Сквозь лай он услышал громкое:

«Здесь ли?» — и ответ знакомым голосом: «Да здесь же, — это мне известно!..» Потом постучали чем-то твердым в окно.

— Прячь одеяла! — прошипел Семеныч Гавриле и Нефеду, поднявшим ошалелые головы; в окно же он сказал, как мог спокойно: «Сейчас!»

Потом началось быстрое и привычное: одеяла комкались и засовывались под доски на потолок, а гвозди прибывались толчками снизу.

Эй!.. Открывай! — крикнули снаружи нетерпеливо.

— Сею минутой!..

Когда Семеныч увидел, что спрятаны одеяла, он отодвинул дверной засов, и первым вошел приметившийся ему сегодня на пристани начальник погранпоста, молодой, сероглазый, с двумя квадратиками на зеленых петличках шинели; за ним пограничник в буденновке, потом инспектор уголовного розыска, маленький казанский татарин, Шафигулин, и, наконец, высокий и, видимо, прозябший, в своей зеленой кепке, — из трех наиболее неожиданный и непонятный, — Стопневич.

— Этот самый? — кивнул ему начальник погранпоста на Семеныча.

— Ну разумеется... Ведь я же знаю... — отвечал Стопневич, пожал плечами и кисло выпятив губы.

Начальник погранпоста сморщил нос так, что стал он совсем узенький и снизу белый, и сказал Семенычу:

— Мы, гражданин, должны тут у вас произвести обыск... По полученным нами сведениям у вас тут был притон контрабандистов... Надеюсь, вы ничего против обыска не имеете, а?

И он закурил папиросу и опять зажал ноздри до белизны, а перепуганный насмерть Нефед исподлобья косился на потолок, откуда свисал кроличьим ушком уголок его одеяла.

О второй пятилетке

(Статья первая).

В. КОЛОКОЛКИН

I. Об основных установках

Фридрих Энгельс, один из первых среди бессмертных, людей мировой истории, сказал однажды, что действительная история человеческого общества начинается с тех пор, когда на место общественного строя, покоящегося на частной собственности, на угнетении одного класса другим, на ожесточенной борьбе «всех против всех», на законах анархии и конкуренции, будет создан новый порядок, в котором не будет частной собственности на средства производства, не будет классов, не будет самой основы для непрерывной и изнурительной борьбы между людьми.

На нашу страну выпал удел начать эту действительную историю человечества. Продвигаясь по социалистическому пути из года в год на все более широкой основе, мы показываем образец того, как могут и как должны люди творить свою собственную, свою настоящую историю.

Вторая пятилетка является наиболее ярким выражением этого великого творчества рабочим классом и колхозным крестьянством новых форм хозяйства, новой техники и новой культуры.

Основной политической установкой этого второго пятилетия, как сказано в решении XVII конференции нашей партии, должна явиться «окончательная ликвидация капиталистических элементов и классов вообще, полное уничтожение причин, порождающих классовые различия и эксплуатацию, и преодоление пережитков капитализма в эконо-

мике и сознании людей, превращение всего трудящегося населения страны в сознательных и активных строителей бесклассового социалистического общества».

С точки зрения экономической это означает полное завершение процессов обобществления средств производства и, следовательно, окончательное уничтожение частной собственности на средства производства.

Все народное хозяйство страны прочно становится на рельсы последовательно социалистического производства.

Весь процесс общественного производства на этой основе во втором пятилетии должен, таким образом, идти под знаком постоянного воспроизводства исключительно социалистических производственных отношений, и только их.

Навсегда уничтожается, разбивается вдребезги самая возможность для какого бы то ни было роста капиталистических элементов.

Социализм превращается в закон движения всей общественной жизни, в то существенное, «спокойное», прочное, в каждом явлении, в чем и состоит, по учению диалектического материализма, сама суть закона.

Характер всего производства приходит в полное соответствие с характером присвоения, с характером общественного распределения, социалистическим становится все общественное производство, социалистическим становится и все присвоение, все накопление, все распределение. На место общества, в котором постоянное воспроизводство противоречия

между общественным характером производства и частным характером присвоения составляет сердцевину всего развития, сложился строй, в котором характер общественного производства находится в полном единстве с характером накопления. Именно это дает возможность сложиться, вырасти, окрепнуть такому порядку, когда общество подчиняет рост общественного богатства одной коренной задаче — подьему жизненного уровня масс, интересам их всестороннего развития.

Это не только не исключает, а, наоборот, предполагает гигантское усиление производства средств производства, ибо только высокие темпы развития производств средств производства могут обеспечить использование всего общественного богатства в интересах систематического повседневного подьема жизненного уровня всех трудящихся.

Если верно, что подьем жизненного уровня работников социалистического общества является одним из решающих условий развития производства средств производства, то так же бесспорно и очевидно для марксистов-ленинцев, что производство машин и орудий труда, стало быть, производство средств производства, является первым, главным и основным условием, базой, для того, чтобы добиться неслыханного улучшения жизни всех трудящихся и их всестороннего развития.

Исследуя закономерности хозяйственного развития капиталистического общества и сопоставляя их, эти закономерности, с ходом развития других общественно-экономических формаций, Маркс в «Капитале» пришел к заключению, что вся докапиталистическая экономическая история резюмируется постоянным возрастанием противоположности между городом и деревней. Маркс подчеркивал, что капитализм не только не уничтожил эту противоположность, а, наоборот, ускорил сам процесс обострения противоположности между городом и деревней. Капитализм покоится на неправильном географическом размещении производительных сил. Одним из самых резких выражений этого является отделение очагов производства средств производства и очагов переработки сельскохозяйственного сырья от

самых источников сырья. Этот абсолютный закон капиталистического размещения производительных сил приводил к тому, что деревня (если брать не отдельные сельскохозяйственные очаги различных стран Европы и Америки, а подавляющее количество этих очагов, включая страны колониальные и полуколониальные) оставалась на сравнительно низком уровне технического развития, сохраняясь, как объект безжалостной эксплуатации со стороны капитализма, как один из могучих источников капиталистического накопления.

Социализм создает новое общественное разделение труда. Базой для этого нового общественного разделения труда является собобществление средств производства, полная ликвидация капиталистических элементов и правильная географическое размещение производительных сил, следовательно, правильное географическое размещение передовой техники, составляющей один из самых важнейших элементов этих производительных сил. Именно эту задачу полной ликвидации старого общественного разделения труда и должна решить вторая пятилетка, приближая переработку сырья к источникам сырья и создавая предприятия - комбинаты, сочетающие и самый процесс добычи сырья и процесс его переработки. Социализм подводит под эти предприятия передовую техническую основу — электричество, механизмирует процессы сельскохозяйственного производства во всех его отраслевых подразделениях и, в результате всего этого, превращает сельскохозяйственный труд в разновидность индустриального труда. Тем самым, социалистический способ производства ликвидирует одно из самых крупных наследий капитализма — противоположность между городом и деревней.

Осуществление программы второй пятилетки означает дальнейшее внедрение плана, как основного метода непосредственного руководства не только хозяйством, но и всей общественной жизнью.

Прежде всего, планирование становится всеобщим и в том смысле, что оно охватывает каждую отрасль хозяйства целиком, снизу доверху. Но всеобщность планирования должна будет выразить-

ся не только в этом. Одной из самых крупнейших задач второй пятилетки должна явиться организация действительно образцового планирования, не только общественных элементов производства, не только его личных элементов (рабочей силы и инженерно-технических кадров), но всех вообще процессов общественной жизни, в том числе и его «духовной стороны», его культурной сферы. Это отнюдь не означает стремление сковать регулирующим воздействием государства инициативу, творческую смелость, организаторский почин людей. Так могут думать только люди, не представляющие себе, что такое социализм, так изображают социализм наши враги от мала до «велика», от люксембургской охранки, от филеров до маститых, дипломированных профессоров буржуазной казенной науки. Среди этих последних, как любил подчеркивать Ленин, тупиц всегда было больше, чем среди рядовых защитников капитализма. Когда унтер-офицеры и лейтенанты, фельдмаршалы и попы капитализма рисуют социализм, как однообразную, серую, казарменную, лишенную смелости и могучего личного порыва жизнь, они приписывают социализму как раз те черты, которые характерны для капиталистического способа производства, для капиталистической фабрики, для капиталистических приемов работы. Непревзойденное и гениальное очертание всего этого Маркс сделал в своем «Капитале», в главах о машинах и рабочем дне. Именно на капиталистической фабрике, именно при капитализме, где алчная погоня за прибавочной стоимостью является главной и единственной предпосылкой и конечным результатом производства, может существовать и обязательно существует этот режим серой, казарменной, однообразной, удручающей и уродующей рабочего жизни.

Такой режим мыслим только при анархии общественного производства.

Социализм, по самому своему существу исключаящий анархию и предполагающий план, делает во много раз разносторонней и живой, богатой и насыщенной, настоящей жизнь всех своих работников, весь процесс их творческой работы.

Планирование исходит как-раз из уче-

та этого обстоятельства, а не наоборот. Углубление дела планирования во второй пятилетке пойдет именно под углом развития и использования в интересах под'ема социалистического производства и технической реконструкции всех зажатых капитализмом и не иссякаемых у трудящихся масс источников героического творческого под'ема.

Тов. Сталин в речи на совещании хозяйственников заявил, что реальность плана — это мы, наша воля к труду, наша готовность, наше умение работать.

Планирование во второй пятилетке, как и весь пятилетний план, составляет основу для того, чтобы как никогда развить эту волю, эту готовность, это умение работать по-новому, по-социалистически.

Здесь уместно сделать одно замечание, относящееся непосредственно к этой проблеме.

Ликвидация классов и превращение трудящегося населения в сознательных работников единого социалистического хозяйства предполагает всеобщность труда. Это значит, что все трудящиеся включаются, как постоянные участники, в производственный процесс, и что, таким образом, ни о какой безработице не может быть и речи.

При постоянном повышении умения работать, знания дела, над которым работает тот или иной человек, при широчайшем осуществлении лозунга «овладения техникой» и новейшими достижениями науки, все это, естественно, должно привести к огромному под'ему производительности труда. Положение марксизма (ленинизма) о том, что из всех производительных сил самой крупной производительной силой является революционный класс, соответственно видоизменяясь для социалистического общества, получает высочайшее (из всех возможных до сих пор) практически-действенное выражение.

Сознательные работники социалистического производства становятся самой крупной производительной силой, самым мощным рычагом развития производительных сил социалистического общества.

Однако, для того, чтобы они стали этой силой, они должны опереться на осуществление полной технической ре-

конструкции всего народного хозяйства, они должны быть вооружены самой передовой техникой.

II. Социальная роль технической реконструкции

В решении XVII партийной конференции говорится, что «основной и решающей хозяйственной задачей второй пятилетки является завершение реконструкции всего народного хозяйства — создание новейшей технической базы для всех отраслей народного хозяйства».

Остановимся прежде всего на теоретической стороне этой проблемы.

У Маркса в «Критике Готской программы» имеется положение о том, что социализм, выходящий из недр капиталистического общества, первоначально движется на основе, созданной капитализмом. В этот период задача социализма состоит в том, что, переделывая старый строй производственных отношений, ликвидируя классы, словом, формируя социалистический способ производства, социализм создает себе собственную основу и, создавая эту собственную основу, получает такой простор развития, который, наконец, дает возможность обществу написать на его знамени: «от всех по способностям и всем по потребностям». Это относится и к области техники. Рождаясь из капитализма на основе разрушения капиталистических производственных отношений и насильственным свержении буржуазии, социализм первоначально движется на той технической основе, которую создал капитализм. При анализе задач технической реконструкции мы, понятно, должны исходить из учета этого обстоятельства.

Развитие капитализма, в особенности на его монополистической стадии, происходит неравномерно. Этот закон неравномерности относится не только к экономическому и политическому развитию капитализма, но также и к его техническому развитию.

В техническом отношении капитализм развивается неравномерно. Бывают такие страны и такие отрасли, в которых в течение десятилетий держатся одни и те же методы и орудия труда, одна и

та же техника, тогда как целый ряд стран делает гигантский прыжок в области технического перевооружения своего хозяйства. Это объясняется, понятно, теми конкретными условиями, в которых происходит развитие капитализма. В частности, техническая отсталость нашей страны имеет свое объяснение в специфических условиях нашей страны (возможность широчайшей, беспощадной, не требующей большой техники эксплуатации трудящихся масс и обогащение буржуазии не только за счет колоссальной эксплуатации рабочих, но и за счет повседневной и широчайшей эксплуатации и разорения деревни).

Таким образом, с точки зрения общего технического уровня различных стран, капитализм различен. Различны по своему техническому строению отдельные отрасли промышленности. И у нас в России были отрасли, которые имели сравнительно высокую технику, но на ряду с этим такая отрасль, как уральская металлургия, была построена на базе полуфеодальной, примитивной, не связанной с новейшими достижениями науки, техники. Таким образом, имеет место техническая неравномерность в развитии различных отраслей. Если одна отрасль перешла уже на базу электричества, то другая еще применяет примитивные орудия труда, третья едва дошла до употребления не особенно совершенных механизмов. Наша техническая реконструкция поκειται на учете этих особенностей неравномерного технического развития капитализма, вытекающего еще и из того, что капиталист стремится гораздо полнее использовать машину, которую он имел в производстве, и не выбрасывать ее из производства до тех пор, пока она не перестала служить у него орудием производства прибавочной стоимости. С тех пор, как создаются социалистические производственные отношения, с тех пор, как развитие производительных сил порывает старую оболочку, если говорить в терминах исторического материализма, с тех пор, как они, эти производительные силы, облекаются новой оболочкой производственных отношений социалистического типа, — самое техническое развитие идет в направлении создания пред-

приятный единого высокого технического строения и подведения под все народное хозяйство единой энергетической основы.

Ликвидация технической неравномерности в развитии различных отраслей хозяйства и вооружение высокоразвитой техникой всех видов производства есть, и это доказано опытом нашего технического развития, закон развития социализма. Это и означает процесс создания собственной технической основы социализма.

Широчайшая электрификация всей страны, всеобщий характер использования электричества — такая задача, конечно, по-плечу только социализму. В этом смысле электрификация при капитализме не осуществима. Само собой разумеется, что электрификация должна быть прежде всего направлена на электрификацию производства средств производства, потому что без решения этой задачи она сама не осуществима в действительно широких размерах. В этом случае рабочий класс выступает как руководитель, как вождь всей борьбы за техническое перевооружение хозяйства на новой основе.

Стало быть, надо различать два периода в техническом движении социализма. Во-первых, когда он движется на той технической основе, которую создал капитализм, частично изменяя технику отдельных отраслей, строение отдельных орудий производства, и, во-вторых, период, когда он накопил достаточно сил для полного технического перевооружения народного хозяйства на новой технической основе. Решение этой второй задачи означает создание условий для перехода к высшей фазе коммунистического общества. В этом свете и понятно значение технической реконструкции во втором пятилетии.

В чем еще состоит социальная роль технической реконструкции и значение технической реконструкции с точки зрения завершения всего процесса перехода от одного общественного строя к другому? Тут можно только конкретизировать целый ряд уже высказанных положений.

Техническая реконструкция превращает социализм в строй действитель-

но с более высокой производительностью труда, чем предшествующий исторический порядок по всем отраслям народного хозяйства. Завершается и прекращается переделка класса мелких производителей. Создается новый тип работников сельскохозяйственного производства, всецело являющийся продуктом новых отношений и новой техники. Нынешний работник обобществленного сельскохозяйственного производства еще в значительной степени есть продукт старых производственных отношений и старой техники. Нужно пережить целый период, чтобы стать работником новых форм хозяйства и освоить новую технику.

Новые социалистические производственные отношения, делающие возможным более быстрые темпы технического перевооружения сельскохозяйственного производства, создают, вместе с тем, работников, всецело являющихся продуктом новой техники, новых производственных отношений, следовательно, работников нового типа.

Создаются не только новые орудия труда, используемые на основе новой социалистической организации труда, — подводится единая новая энергетическая основа, под все народное хозяйство, и сельскохозяйственное производство является элементом в этой новой энергетической системе. Окончательно, следовательно, ликвидируется противоположность между городом и деревней. В этом случае техническая реконструкция выступает, как орудие ликвидации этой противоположности между городом и деревней. Всемирно-историческое значение этого процесса не подлежит никакому сомнению. Это есть процесс дальнейшей ликвидации классовых различий, включающий в процесс ликвидации класса вообще. Конечно, *наличие пролетарской диктатуры и ее укрепление является важнейшим условием самой технической реконструкции.*

Процесс технической реконструкции является процессом изменения самого отношения к труду. Иначе это невозможно. Вне неслыханного облегчения самих условий труда, на базе его коренного технического перевооружения, невозможно превращение труда в потребность жизни. Именно в этой связи техниче-

ская реконструкция выступает, как орудие превращения труда в труд действительно коммунистический. Мы должны, впрочем, точно оговориться, что мы понимаем под коммунистическим трудом.

«Коммунистический труд в более узком и строгом смысле слова есть бесплатный труд на пользу общества, труд, производимый не для отбывания определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, труд вне норм, труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, труд, как потребность здорового организма». (Ленин, т. XXV, стр. 151).

Было бы явным заскоком «левого» толка заявить, что мы достигли такого уровня, при котором труд у нас стал коммунистическим трудом, каким представлял себе этот труд Ленин. И вторая пятилетка не создаст еще этого коммунистического труда в строгом смысле слова, а лишь заложит прочную основу для продвижения непосредственно к нему. Но уже теперь, как говорил Маркс в одном из адресов I Интернационала, рабочий класс и работники социалистического хозяйства в умственном и культурно-техническом отношении поднимаются на уровень неизмеримо более высокий, чем тот, на котором были высшие классы предшествующего общества. Облегчение самых условий физического труда является одной из сторон в ходе создания основы, на которой происходит уничтожение противоположностей между физическим трудом и умственным.

Техническая реконструкция выступает и как орудие переделки быта и условий обслуживания трудящихся. Без перовоклассной техники невозможно, конечно, ни создание крупной пищевой промышленности, способной заменить индивидуальное хозяйство, ни всяких других форм обслуживания бытовых нужд рабочих и колхозников.

Наконец, техническая реконструкция создает условия для неслыханного, ни

с чем не сравнимого в прошлом, повышения роли субъективного фактора в истории.

Социализм вообще обозначает ясность общественных отношений. Он означает ликвидацию тех сил, которые управляют историческим движением стихийно, слепо. Энгельс, в знаменитом письме к Иосифу Блоху, говорит, что общественный результат деятельности людей складывается из перекрещивающегося движения воле эгоистически хозяйствующих субъектов, движения, где каждый борется друг против друга, группа против группы, класс против класса.

Ликвидация частной собственности на средства производства, создание социалистических производственных отношений, уничтожение классов, проведение технической реконструкции, вооружающей человека лучшими достижениями техники и науки, противоположности между городом и деревней превращают людей в единый коллектив работников, могущий действительно сознательно руководить развитием производительных сил. Это и означает то, о чем мы говорили — невиданное повышение роли субъективного фактора в историческом развитии. Тов. Сталин великолепно выразил эту мысль, заявив, что план и его реальность — это наша воля, наше умение и наша готовность хорошо работать. Это означает признание того, что организованный и руководимый сознательным авангардом единый коллектив работников социалистического хозяйства, уничтожая навсегда борьбу интересов эгоистически хозяйствующих людей и самую индивидуальную собственность на средства производства, способен неслыханно ускорить темпы исторического развития, благодаря тому, что этот коллектив обладает точным знанием, расчетом, планом, наукой, пользуется физикой, химией, механикой и др. дисциплинами в качестве могучего орудия управления и контроля над развитием производительных сил. Таким образом, техническая реконструкция народного хозяйства страны знаменует решительное, не встречавшееся до этого ни при одной общественно-экономической формации, повышение власти людей над историческим развитием, их непосред-

ственного, а не посредственного чем-либо влияния на исторический процесс. Это, естественно, предполагает более производительное использование рабочей силы, правильную ее расстановку на основе всестороннего учета качественных способностей работника. Общий вывод, следовательно, такой: когда мы говорим о процессе ликвидации классов, то одним из могучих орудий осуществления этого процесса в руках партии и рабочего класса выступает техническая реконструкция. Это отнюдь не означает уклон в сторону техницизма, ибо мы специально подчеркивали, что все значение и все величие технических сдвигов в нашей стране может и должно быть понято только в связи с социалистическими производственными отношениями, в связи с учетом роли пролетарской диктатуры, как орудия перехода к социализму.

В этом наиболее полном использовании передовой техники в интересах социализма, в превращении техники в орудие полной ликвидации классов и противоположности между городом и деревней, в борьбе за преобразование сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального и выражается классовая линия пролетариата в области технической политики.

Классовая линия наших врагов, прежде всего классовая линия вредительских элементов, как она практически выражена в их работе, и как они пытаются ее теперь формулировать под тем или иным предлогом, в основном в этой области сводится, во-первых, к забвению задач форсированного развития машиностроения вообще и крупнейшего и сложного машиностроения в особенности. Они пытаются доказать, что мы берем на себя непосильные задачи в области машиностроения. Это есть в сущности ориентация не на сокращение, а на развитие импорта по важнейшим видам оборудования, это есть борьба против нашей ставки на полнейшую экономическую и техническую независимость от капитализма, это есть ориентация на зависимость от капитализма, на подчинение нас капитализму.

Другим важнейшим элементом платформы нашего врага является политика нерационального размещения произво-

дительных сил и в связи с этим неправильное размещение очагов самой технической реконструкции. Вместо того, чтобы обеспечить рациональное географическое размещение нового строительства (например, облегчающего соединение производства продуктов с добычей сырья или производством энергии или и того и другого) и в области металлургии, и в области машиностроения, и в области железнодорожного транспорта (новые линии, в частности электрифицированного железнодорожного транспорта) и в целом ряде других областей,—вместо всего этого нас ориентируют на развитие старых и случайных очагов промышленности без учета потерь, вытекающих отсюда и без учета выгод, которые приносит новое правильное территориальное размещение промышленности и крупного специализированного сельскохозяйственного производства. Бесспорным проявлением классово враждебной нам практики является сокрытие или принижение значения наших природных богатств, отказ от того, чтобы на основе точного учета природных богатств того или иного района страны построить план промышленного развития и план технической реконструкции соответствующих отраслей. Это выражалось, например, в недооценке значения Урало-Кузнецкой проблемы, это выражается в недооценке значения Казакстана, как мирового центра цветной металлургии во втором пятилетии, недооценка Восточной Сибири, как одной из будущих крупнейших энерго-металлургических баз нашей страны. Таких примеров, характеризующих линию классового врага в области технической реконструкции, сознательную недооценку значения различных краев и республик и их богатств в хозяйственном развитии страны, можно назвать целую серию.

Одним из самых сложных и больших вопросов является вопрос о характере наших технических связей с капиталистическим миром. Мы, бесспорно, должны освоить передовую капиталистическую технику. Но как ее освоить? От ответа на этот вопрос зависит цена самого этого освоения. Мы, естественно, должны ориентироваться на то, чтобы из того огромного богатства техниче-

ских завоеваний, которые имеет капитализм, выбрать наилучшие образцы техники, а не просто воспроизвести весь процесс, всю историю технического развития капитализма, хотя бы даже за последние годы. В корне враждебной пролетарской политике является линия наших врагов и их вольных и невольных сторонников, ориентирующая нас на огульное заимствование у капитализма или на заимствование «дешевых образцов», вместо заимствования лучших образцов техники. С другой стороны, имеет место умышленная растрата народных средств при осуществлении реконструктивных мероприятий. Плохие проекты и переделка их после начала работы, дороговизна производства оборудования, дороговизна строительства и т. п. явления не всегда можно и нужно объяснять головоутием. Они имеют нередко и свои социальные корни.

Чтобы покончить с этой группой вопросов, укажем еще на одну особенно опасную черту в платформе наших классовых врагов. Эта черта суть сознательное пренебрежение задачей подъема производительности труда, ориентация на низкую производительность труда, на экстенсивное развитие производства. Нет необходимости доказывать, что все отрасли хозяйства социалистической страны должны развиваться таким образом, чтобы производство покоилось на постоянном подъеме производительности труда, на постоянном улучшении техники самого производственного процесса и на снабжении себестоимости продукции при повышении ее качества. Люди предающие забвению эти задачи, либо наши прямые классовые враги, либо пленники их воззрений.

Для того, чтобы обеспечить проведение своих планов, наши классовые враги воспитывают техническую косность в нашем аппарате, бюрократические элементы этого аппарата. Они вселяют чувство робости перед всякой новой реконструктивной мерой, перед задачей организации производства новых сложных и крупнейших машин, дух пренебрежения творческой технической инициативой масс. Борьба против классового врага и бюрократа, преодоление всех этих черт, всех этих явлений, всей этой линии яв-

ляется одним из условий быстрых темпов осуществления технической реконструкции.

Тов. Сталин, очерчивая формы классовой борьбы, говорил на XVI съезде, что наши враги внутри страны — это кулак, вредитель и бюрократ. Мы разгромили, но еще не добились кулака. Его надо добить без всякой пощады и милосердия. Мы сокрушили вредительство, но его надо выкорчевывать до конца. Оно еще есть и будет. Его надо пресекать неотступно. Но, понятно, надо помнить, что вопрос о вредительстве сейчас стоит иначе, чем года два-три тому назад. Сейчас мы имеем дело с расколом старой производственно-технической интеллигенции, с поворотом ее значительной части в нашу сторону, и этот поворот должен быть максимально использован. Сейчас иные масштабы вредительской работы, они уже мельче, чем прежде.

О бюрократизме и борьбе с ним. Союзник классового врага, пуповина, связывающая враждебные нам силы с аппаратом нашего государства, бюрократ особенно опасен в борьбе за полную техническую реконструкцию народного хозяйства. Он враг наших темпов, враг творческой смелости, могильщик инициативы. Борьба против бюрократизма — одно из неперемных условий успешности технической реконструкции.

Об оппортунистическом сопротивлении осуществлению задач технической реконструкции мы скажем в другой связи, пока же ограничимся указанием, что оппортунистические элементы до известной степени, конечно, воспринимают влияния классово враждебной нам линии, отражая стремления классовых врагов в своей практике.

Совершенно ясно поэтому, что борьба против классовых врагов включает в себя борьбу против их оппортунистической агентуры в наших рядах.

III. Основные линии технической реконструкции важнейших отраслей народного хозяйства во втором пятилетии.

Прежде всего о характере нашего технического развития. Развертывая борьбу за широкое внедрение электричества

во все отрасли хозяйства, мы, конечно, обязаны максимально использовать все другие виды энергии, другие виды двигателей, машин, агрегатов и аппаратуры. Это означает полное использование существующего оборудования.

Электрификация, механизация, химизация народного хозяйства — таковы составные части технической реконструкции во втором пятилетии. Сама эта техническая реконструкция должна будет складываться из освоения передовой капиталистической техники — это раз, из создания своей собственной советской техники — это два. В этой связи исключительное значение приобретает развитие научно-исследовательской работы в области технической реконструкции, создание новых типов машин, станков и т. д. Отсюда ясно, что техническая реконструкция предполагает освоение огромного количества изобретений самих работников социалистического производства.

Одной из самых коренных предпосылок успешного осуществления технической реконструкции должно явиться, о чем мы, впрочем, уже говорили, правильное географическое размещение производительных сил. План размещения производительных сил на второе пятилетие является основой плана технической реконструкции. В свою очередь этот план должен включать в себя завершение цикла работ, начатых в первом пятилетии. Сюда относится достройка целой серии металлургических и машиностроительных заводов, ж.-д. линий, крупнейших электростанций и др. предприятий. Если говорить о новом капитальном строительстве, то здесь основным, руководящим принципом должна быть равномерность нарастания капитальных вложений. Мы не можем допустить такого положения, чтобы самое это строительство концентрировалось на каком-нибудь отдельном отрезке времени. Мы должны разработать план технической реконструкции таким образом, чтобы обеспечить равномерное нарастание капитальных вложений и процесса технического перевооружения на основе систематического повышения темпов.

Строительство комплексов, комбинирование также остается руководящим

принципом нового строительства во втором пятилетии. Это комбинирование будет протекать для различных районов различно. Тут может идти речь и о комбинировании добычи металла с его обработкой (литье и даже машиностроение) и о комбинировании производства сырья с первоначальной обработкой этого сельскохозяйственного сырья или с его (в том числе и сложной химической) переработкой. В одном случае производство средств производства выступает как ведущее начало этого комбинирования, в другом случае, для развития производства каких-либо сельскохозяйственных или иных продуктов, создаются специальные заводы машиностроения и предприятия, производящие всякого рода другое оборудование.

Общей закономерностью, которая явно выступает уже и теперь, является сочетание концентрации производства с ростом его техники, с повышением его технического строения. Комбинируя, концентрируя, увеличивая объем, размах самого производства, мы неизбежно превращаем в составную, неотъемлемую часть этой концентрации, могучий технический под'ем техническую реконструкцию собираемого воедино хозяйства. Следовательно, техническая реконструкция органически включается здесь в самый процесс превращения распыленных районов в некое единое народнохозяйственное целое.

Вот некоторые из наиболее общих оснований, на которых строится план технической реконструкции во втором пятилетии.

Перейдем к характеристике реконструкции отдельных отраслей.

О машиностроении. В решениях XVII всесоюзной конференции нашей партии говорится, что: «Ведущая роль в завершении технической реконструкции принадлежит советскому машиностроению. Конференция считает необходимым увеличить продукцию машиностроения к концу пятилетки не больше чем в 3—3,5 раза против 1932 года с тем, чтобы все потребности реконструкции промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства, торговли и т. д. были обслужены внутренним производством наиболее совершенных и современных машин».

Осуществление этих задач во вторую пятилетку потребует коренной реконструкции самого машиностроения, без этого нельзя обеспечить спроса на продукцию машиностроения со стороны самых различных отраслей народного хозяйства. Сама структура этого вопроса, как она вырисовывается к настоящему времени, требует, прежде всего, решительной дифференциации машиностроения. Речь идет не просто о том, чтобы обеспечить спрос на машины, станки и орудия решающих отраслей хозяйства, встает вопрос об обеспечении машинами буквально всех отраслей производства. Например, резко возрастает спрос сельского хозяйства, ибо превращение сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального потребует полной механизации всех процессов этого производства. Машиностроение поэтому должно удовлетворить не только отрасли, производящие средства производства, что очевидно, но и обеспечить средствами производства сельское хозяйство, легкую и пищевую промышленность, лесозаготовки, деревообрабатывающую промышленность, дорожное строительство и т. д.

Этот обем и сложность задач, вставших перед машиностроительной промышленностью, выдвигают на первый план необходимость проведения решительной специализации машиностроительных заводов. Определенные заводы должны взять на себя задачу производства определенного типа машин для той или иной из отраслей. Специализация машиностроения, естественно, включает в себя сокращение ассортимента продукции, производимой теперь на одном и том же машиностроительном заводе. Машиностроительные заводы закрепляются на производстве либо какого-нибудь одного типа машин, либо, по крайней мере, нескольких немногих типов. Специализация предполагает также, что целые заводы переключаются на производство определенного минимума деталей к машине. Отдельные цехи машиностроительных заводов также будут специализироваться на производстве определенного минимума типизированных деталей, сокращая тем самым ассортимент своей продукции и передавая производство огромного количества дру-

гих деталей специализированным машиностроительным заводам. Дифференциация производства деталей машин является условием внедрения массовости в производство, коренным образом повышающей производительность заводов. Потребуется специализация подсобных видов производства и превращение некоторых цехов машиностроительных заводов в целые особые отрасли. Не подлежит ни малейшему сомнению, что мы должны будем пойти по линии создания таких специализированных отраслей промышленности, как литье, закрепляя на этом деле специальные металлургические заводы, которые должны будут работать не только по грубому литью, перерабатываемому потом в литейных цехах на машиностроительных заводах, но и на специальном, точном, отделанном литье. Это означает, что литейный завод производит либо готовый продукт, либо полуфабрикат для соответствующих специализированных машиностроительных заводов. Должны быть созданы центральные заготовительные базы по тяжелому литью, центральные поковочные, котельные, кузнечные и пресовые базы. Специализация должна будет решить еще одну очень важную задачу машиностроения; мы имеем в виду производство деревянных деталей (необходимых для различных видов машин) на специальных деревообрабатывающих заводах. Таким образом, эти функции, которыми сейчас занимаются сами машиностроительные заводы, имея соответствующие деревообделочные цехи, в значительной мере будут специализацией других, приспособленных для этого заводов по деревообработке. Это освободит и самое машиностроение от функций по существу им не нужных и приведет к значительной экономии лесоматериалов, позволяя более рационально, чем это имело место до сих пор при машиностроительных заводах, использовать лесное сырье. Конечно, разрабатывая план машиностроительных заводов, мы должны исходить из того простого соображения, что во вторую пятилетку страна обязана в максимальной степени использовать уже существующее оборудование, уже существующие заводы. Нельзя уже во вторую пятилетку довести специализацию машиностро-

ения до крайних пределов. Это неоправданно и нерационально, поскольку это означает уничтожение нынешних машиностроительных заводов и постройку заводов с законченной предельной специализацией.

Мы пойдем по линии специализации, мы будем строить максимально специализированные новые заводы, но мы связаны в специализации старых заводов необходимостью без коренной ломки, обеспечить их максимальную производительность.

Огромное значение в плане реконструкции машиностроения должна получить стандартизация производства машин. Во вторую пятилетку мы должны войти с разработанным типом машин для самых различных отраслей хозяйства, должен быть создан стандартный тип металлообрабатывающих орудий, подъемно-транспортного оборудования, моторостроения, оборудования для горно-рудных работ, стандартный тип энергетического и в особенности электротехнического машиностроения, станкостроения, производства химической аппаратуры, сельскохозяйственного машиностроения, в особенности комбинированных машин, машин для автостроительного строительства и т. д.

Специализация машиностроения, основные линии которой мы очертили, предполагает кооперирование машиностроения. По самому своему существу кооперирование означает создание таких связей между различными машиностроительными заводами, а также между заводами машиностроения, с одной стороны, и металлургическими заводами и лесной промышленностью — с другой, при которых будет обеспечен бесперебойный ход работы каждого из заводов. Если определенный металлургический завод прикреплен к определенному кругу машиностроительных заводов и снабжает их, скажем, высококачественными сталями, то совершенно понятно, что этот металлургический завод должен добиться образцовой организации производства, организации труда, правильной поточности производственного процесса и выполнения взятых на себя обязательств в точно установленные сроки. Это относится и к любому заводу машиностроения, специализирующемуся на

производстве тех или иных деталей и выступающему в качестве поставщика по отношению к машиноборочным заводам, или к сборочным цехам определенных заводов. Техническая и территориальная специализация машиностроения должна покоиться на продуманном и тщательно проработанном плане кооперирования.

Во вторую пятилетку особенно резко ставится вопрос о качестве продукции машиностроения. Ясно, что мы должны обеспечить производство машин наибольшей производительности. Это главный критерий при рассмотрении вопроса о качестве машин. Ориентируясь на эту высокую производительность машин, мы должны будем пойти по линии улучшения конструкции машин, следовательно, продумать целую систему мероприятий, направленных на разрешение этой задачи. Тут особо важной задачей является замена легким металлом металлов тяжелых по всяческим деталям машин, внедрение пластических масс, развитие и внедрение новых сплавов и т. д.

Советское социалистическое машиностроение должно обладать исключительной гибкостью, оно должно обладать способностью так или иначе перестраиваться на ходу, осваивая новые усовершенствования конструкций, постоянно реализуя те новые изменения, которые вносит развитие науки и техники в производство машин и в их строение. Преодоление косности машиностроения является одной из существенных задач. Повышение качества машин, разумеется, дается прежде всего специализацией машиностроения. Высокое качество машин дается и тем, что мы добиваемся, например в металлообрабатывающей промышленности, широкого применения специализированных станков (револьверные, шлифовальные, зуборезные станки и т. д.). Естественно понижается удельный вес универсальных станков: токарных, сверлильных, дробильных, строгальных и т. д. При проведении этих мероприятий опять-таки надо иметь в виду, что известным лимитирующим обстоятельством является обязанность максимально использовать наличное оборудование. Мы, конечно, не можем огульно отказаться от использования

имеющихся сейчас универсальных станков.

Крупнейшей задачей в плане реконструкции машиностроения на вторую пятилетку является реконструкция главных технологических процессов машиностроения (в области литейного дела, кузнечно-прессового и т. п.). Основными, руководящими принципами в этом направлении должны явиться действительное освоение качественного и в частности высококачественного стального литья, механизация процессов литья, рациональная постановка дела формовки, внедрение массовых приемов обработки металла — штамповка, электросварка и пр.

Это — далеко не полный перечень реконструктивных мероприятий в области машиностроения, показывающий на то, какие гигантские задачи стоят перед нами во втором пятилетии. Чтобы обеспечить действительно быстрый темп и высокое качество в области машиностроения, необходимо добиться широкого развертывания и углубления научно-исследовательской работы в области технической реконструкции вообще и реконструкции машиностроения в особенности.

Это означает решительное повышение качества научно-исследовательских кадров, разрабатывающих проблемы технической реконструкции машиностроения. Очевидно, мы должны будем пойти по линии повышения процента закрепляемых на научно-исследовательской работе специалистов из числа окончивающих высшие технические учебные заведения, улучшая подбор этих кадров, постоянно поднимая их квалификацию. Мы должны будем смелее выдвигать на эту работу рабочих и колхозников-изобретателей, дополнительно обучая их, с точки зрения задач научно-исследовательской работы, в той или иной конкретной области машиностроения. Чтобы решить задачи реконструкции машиностроения, нам необходимо широко развить связи научно-исследовательских учреждений с производственно-техническим активом самых машиностроительных заводов с тем, чтобы организовать совместную коллективную работу научно-исследовательских кадров высшей квалификации и производственно-техни-

ческого актива как и вокруг узловых проблем реконструкции машиностроения, так и вокруг конкретных задач, выдвигаемых работой данного машиностроительного предприятия. Реконструкция машиностроения потребует более смелого привлечения к научно-исследовательской работе кадров иностранных специалистов, поддерживающих Советский Союз. Они должны быть одной из самых активных сил в разработке плана реконструкции машиностроения. Наконец, мы должны добиться более решительного и более действенного поворота к задачам технической реконструкции машиностроения наших кадров естественников, физиков и химиков прежде всего. А перед научно-исследовательской работой в области машиностроения — огромное количество крупнейших задач. Взять хотя бы задачи сельскохозяйственного машиностроения во вторую пятилетку. Мы ставим перед сельским хозяйством во вторую пятилетку коренной задачей подъем урожайности. Решить эту задачу можно только тогда, когда мы добьемся дифференциации орудий обработки почвы в соответствии с требованиями различных культур. Отсюда задача создания дифференцированного сельскохозяйственного машиностроения. Мы ставим перед собой задачу полной механизации процессов сельскохозяйственного производства. Это требует создания нового типа комбайнов специальных для каждой отдельной культуры (свекла, хлопок, лен и т. д.). Отсюда соответствующая дифференциация комбайностроения. Мы ставим перед собой задачу обеспечения посева самых различных культур высокосортными семенами. Отсюда необходимость соответствующих сортировочных машин специально для каждой культуры. Механизация плодОВОЩНОГО хозяйства в свою очередь ставит ряд новых задач перед сельскохозяйственным машиностроением. Встает задача известных изменений технологического процесса на тракторных заводах в связи с проблемой усовершенствования тракторов (внедрение гусеничного трактора, установление предельной шкалы мощности трактора по принципу кратности, повышение скорости трактора).

Потребуется огромное количество спе-

циальных машин по первичной обработке сельскохозяйственных продуктов (первичная обработка льна и других волокнистых культур, овощей и т. д.). Или возьмем задачу электрификации и механизации животноводства. Из этой области особенно важной является механизация процессов приготовления кормов, электрификация процессов получения продуктов животноводства, — например, электродойка, механизация подачи кормов, уборки помещений и т. п. Потребуется целый ряд машин для первичной обработки продуктов животноводства. Отсюда, новая задача в деле производства сельскохозяйственных машин. Прибавьте к этому механизацию процессов уборки отходов, транспортировки продуктов сельского хозяйства, водоснабжения и лечебно-санитарного обслуживания животноводства, механизацию и химизацию процессов борьбы с вредителями и болезнями растений.

План развития машиностроения во второе пятилетие должен быть разработан таким образом, чтобы можно было обеспечить форсированный рост наиболее отсталых отраслей машиностроения, составляющих сейчас исключительно «узкое место». Имеется целый ряд таких отраслей, развитие которых мы должны двинуть с максимальной быстротой, чтобы привести их в соответствие с потребностями народного хозяйства. Достаточно указать на электровозостроение, тепловозостроение и станкостроение.

Социалистическое машиностроение во втором пятилетии должно использовать все лучшие образцы мировой техники и обеспечить развертывание производства своей продукции на основе принципов непрерывного потока, серийности и массовости.

За рубежом

ПАНИКА НА ОЛИМПЕ

А. Гарри

I

Один из богатейших людей на земном шаре, шведский миллионер Ивар Крейгер, выдающийся организатор послевоенного капитализма, неутомимый рыцарь наживы, один из самых яростных врагов Советского Союза, закончил свою жизнь трагикомическим фарсом. В самый разгар генерального биржевого сражения, где на карту было поставлено настоящее и будущее созданного им гигантского промышленно-банковского концерна «Крейгер и Толль», в котором он безраздельно властвовал, Ивар Крейгер, среди бела дня, в одной из комнат своих парижских апартаментов пустил себе пулю в сердце.

Самоубийство шведского миллионера не является тривиальной развязкой какой-либо личной трагедии. В столицах цивилизованного Запада ежедневно стреляются, травятся и вешаются десятки и сотни неудачников — разочарованных любовников, избалованных мошенников, разорившихся спекулянтов, не считая отчаявшихся пролетариев, выброшенных на улицу без куска хлеба мировым экономическим кризисом и предпочитающих самоубийство голодной смерти.

Ивар Крейгер не принадлежал ни к одной из перечисленных выше категорий. Идеальный человеческий механизм для руководства боями капитализма против социализма, выдержанный и трезвый биржевой игрок и талантливый организатор империалистической экспансии своих предприятий, он не имел

личной жизни, по крайней мере о его личной жизни никому ничего не известно. Точно так же не имел он ни семьи, ни привязанностей, ни друзей. Буржуазная печать, столь падкая до альковных сплетен, даже сейчас, после смерти своего героя, не в состоянии приписать ему какой-либо, даже самой невинной, романтической интрижки. Наоборот, печать утверждает, что Ивар Крейгер был не только холостяком, но и... девственником. Эта деталь из его личной жизни, впрочем, не представляет для нас никакого интереса. Любопытно лишь то, что этот хищник капиталистических джунглей, как опытный артист, сам себе составил маску своего психологического портрета: этот филистер был целомудрен, не пил, был ласков с детьми, щедр в благотворительных делах и чрезвычайно скромен в личной жизни.

Спекулянты, которым грозит разорение, лишают себя жизни потому, что им страшна перспектива резкой перемены жизненных условий, они боятся потерять свое положение в обществе, роскошь, доступную избранным, дорогие особняки и дорогих любовниц. Но Ивар Крейгер был настолько богат, что даже полное крушение всех его предприятий сохранило бы ему личное состояние в несколько миллионов рублей золотом. Поэтому и не боязнь персонального разорения, связанного с переменной бытовых условий, толкнула его на самоубийство.

Еще меньше могли мучить его угрызения совести за миллионы челове-

ских благополучий, которые он сбросил в пропасть своими маневрами на мировых биржах. Бесчисленное количество держателей мелких акций как крейгеровских предприятий, ныне обанкротившихся, так и предприятий, ранее разоренных Крейгером, эти трусливые, жалкие и доверчивые одновременно городские и деревенские стяжатели проклинали имя шведского миллионера, как имя антихриста. Астрономическая цифра миллионов, которыми распорядился спичечный король, накопилась не только за счет эксплуатации пролетариев, работающих на контролируемых им предприятиях, но и за счет множества городских и деревенских мелких рантье, у которых иллюзия благосостояния на старости лет столько раз после войны сменялась тупым отчаянием перед грудой пестрых, кричащих, но не стоящих больше своего бумажного веса акций фантастических предприятий. Ивар Крейгер вел большую политику маленького класса эксплуататоров, он жонглировал миллиардами, для его игры интересы отдельных разоренных категорий населения не входили в расчет. В крайнем случае, откупался он от своей филистерской совести периодическими пожертвованиями на разные благотворительные цели.

Поэтому, на первый взгляд, факт его неожиданного самоубийства представляется окруженным неким ореолом романтической таинственности. Он был человеком очень твердой воли, необычайно работоспособен, вполне физически здоров. На его решение лишить себя жизни не могли повлиять ни минутная слабость, ни временный упадок сил, ни душевная пустота. Он искренне любил свое грабительское дело, разорял своих конкурентов со сладострастным упорством маниака, борьба, поражения и победы были его стихией. Концерн «Крейгер и Толль» не в первый раз переживал денежные затруднения, правда, экономический кризис никогда не был так глубок, как сейчас, но Ивар Крейгер принадлежал как раз к категории тех капитанов, которые последними сходят с мостика тонущего корабля. И поэтому такой жалкий финал его полной кипучей деятельности жизни никак нельзя связывать только лишь с

плохими делами концерна «Крейгер и Толль».

Но и тайны нет никакой в факте его самоубийства. Конечно, можно было бы углубиться в психологические дебри и развить известную теорию о том, что так называемые принципиальные холостяки — люди глубоко неудовлетворенные, и рано или поздно, как ни пытаются они себя компенсировать другими, не сексуальными, переживаниями — опимом религии, наукой, искусством, бурной общественной деятельностью, — рано или поздно они становятся жертвой психологического надрыва, вызывающего притупление инстинкта жизни. Бесспорно, что Ивар Крейгер в известной дозе страдал мегаломанией, что с точки зрения обычных психологических норм он был человеком ненормальным. Но одновременно из всех обстоятельств, предшествовавших его самоубийству, никак нельзя сделать вывода, что упомянутый выше психологический надрыв наступил.

Ивар Крейгер рано утром приехал в Париж в сопровождении своего личного секретаря и остановился на своей частной квартире. Он вернулся из Нью-Йорка после неудачных переговоров о займе с американскими банкирами. Он вышел на несколько минут на улицу и в ближайшем оружейном магазине купил револьвер, назвав при этом, как это полагается, свое имя и адрес. Днем должно было состояться важное совещание с представителями фирмы «Крейгер и Толль» в разных странах; эти доверенные лица спичечного короля должны были к определенному часу слететься в Париж на аэропланах. Возвратившись домой после покупки револьвера, Крейгер позавтракал и лег отдохнуть. Больше живым его уже никто не видел.

Спичечного короля через несколько часов нашли застрелившимся у себя в постели. Он оставил несколько писем, в которых кратко излагался факт предстоящего самоубийства. Даже вездесущие репортеры парижских бульварных газет ничего не могли добавить к этим фактам. Покойник вообще недолюбливал репортеров и не считался с ними: еще бы, ведь он покупал оптом «общественное мнение» полусотни наций.

Покойник страдал несколькими чудачествами. Он, спичечный король, никогда не носил при себе спичек, пользуясь только зажигалкой, любил цветы, в частности гелиотропы, презирал искусство, предпочитал красные галстуки и никогда не имел при себе больше ста долларов наличными деньгами. В шести столицах мира он имел по одной весьма скромной квартире, где ежедневно были сервированы завтрак и обед: никто никогда не знал, когда и откуда может приехать хозяин. Никаких других признаков снобизма за ним никогда не наблюдалось. После него остались отец, мать, брат и четыре сестры, о существовании которых печать узнала только после его смерти.

Вот и все. И тем не менее тайна, которой пытается буржуазия окружить факт самоубийства Ивара Крейгера, уже не является больше тайной для десятков миллионов сознательного человечества. Эта «тайна» — неминуемость гибели капиталистического общества. Ивару Крейгеру было многое дано. С высоты своих миллионов он заглядывал не только в приемные президентов и королей, но и вглубь машинного отделения механизмов, движущих капиталистическую экономику. Для него в мире не существовало экономических тайн, охраняемых несгораемыми шкафами бирж, архивами статистических управлений и министерств, бумажными заповедниками международных разведок. Он знал все и неплохо понимал то, что знал. Его самоубийство — жест отчаяния одного из самых ярких представителей международного класса эксплуататоров перед картиной неминуемой гибели общества, системы, идей, во имя которых он боролся и жил. На его взгляд, игра капитализма оказалась проигранной, и он предпочел лишиться себя жизни, чем участвовать в беспорядочном отступлении побежденного класса.

II

Ивар Крейгер родился в 1880 г. в Кальмаре (Швеция). Его отец, Эрнст Крейгер, владел небольшой спичечной фабрикой. В 1844 г. шведский ученый Паск изобрел современную безопасную спичку, и уже в следующем году нача-

лось их промышленное производство в местечке Энкепинг, которое до сих пор является самым крупным центром шведской спичечной промышленности. Количество спичечных фабрик быстро росло, и уже в восьмидесятых годах прошлого столетия в Швеции насчитывалось 33 фабрики с 5 тысячами рабочих. Лишь в девяностых годах прошлого столетия начинается процесс концентрации и централизации производства.

Окончив политехнический институт в Стокгольме по факультету гражданских инженеров, Ивар Крейгер, двадцатилетним юношей, отправился в САСШ.

28 лет от роду, став высококвалифицированным инженером, Ивар Крейгер возвратился в Стокгольм, где вместе с неким Паулем Толлем организовал строительную компанию «Крейгер и Толль», наименование которой впоследствии перешло по наследству к крупнейшему в мире промышленно-банковскому предприятию.

В течение последующих шести лет будущей спичечный король очень мало занимался спичками. Он строил дома, фермы, иногда мосты, вечно раз'езжал по Скандинавии и, казалось, мало уделял внимания делам отца. Однако, как выяснилось впоследствии, он все эти годы тщательнейшим образом изучал международный спичечный рынок, цифры экспорта, сырьевую базу шведской спичечной промышленности. Необходимо отметить, что спички являются одним из тех немногих продуктов промышленности, сбыт которых в массовых масштабах обеспечен и даже почти гарантирован от кризиса. Несмотря на последние усовершенствования современной техники, на бензиновые и электрические зажигалки, громадное большинство населения, даже в мировых столицах, продолжает ежедневно потреблять огромное количество спичек для своих бытовых нужд. Не говоря уже о том, что проникновение европейских колонизаторов в дебри Африки, Австралии, Азии и т. д. неизбежно влечет за собой расширение спичечного рынка сбыта. Мировое потребление спичек исчисляется миллиардами коробок, и Ивар Крейгер в годы, когда он подготовлял себя к захвату мировой спичечной монополии, своевременно учел, что самая

незначительная надбавка к оптовым преис-курантным ценам на спички сулит огромные барыши. Как оказалось впоследствии, Крейгер не учел в своих расчетах только одного обстоятельства: возможности возникновения в одной шестой части мира социалистического государства с мощной спичечной промышленностью, государства, с которым нельзя будет вступить в сделку для совместного ограбления массового потребителя спичек, государства, решимость которого невозможно будет сломить ни угрозами, ни обещаниями.

Спичечная промышленность является старейшей и наиболее технически совершенной промышленностью Швеции. Концерн Люндстрема, объединяющий в 1846 г. несколько мелких фабрик в Энкепинге, до начала XX века успешно конкурировал на мировых биржах экспорта спичек, в Лондоне и Гамбурге, с другим шведским спичечным концерном, «Вулканом», организованным в Тидагольме в 1868 г. Концерны Люндстрема и «Вулкан» с переменным успехом оспаривали друг у друга первенство на европейском рынке, но в Индии они столкнулись с конкуренцией японских спичечных экспортеров. Чрезвычайно низкая заработная плата и дикая, даже для Европы, эксплуатация трудящихся на японских спичечных фабриках, а также дешевизна пароходных фрахтов из Японии в Индию дали возможность японским экспортерам почти полностью вытеснить шведов с индийского рынка.

Тогда лондонские экспортные агенты, которые одновременно являлись крупными акционерами обоих шведских спичечных концернов, конкурирующих между собою, поставили вопрос об объединении обоих концернов для совместной борьбы с Японией. В 1903 г. это объединение состоялось в форме организации акционерного общества «Энкепинг и Вулкан». В этот новый шведский спичечный концерн вошли компании Люндстрема, «Вулкан» и шесть второстепенных спичечных фабрик. Отец Ивара Крейгера и ряд других мелких спичечных фабрикантов не вошли в концерн и продолжали работать самостоятельно. В 1913 г. Ивар Крейгер нашел, что его время пришло

для того, чтобы вступить в игру. Он организовал компанию «Юнайтед Свидиш Мэтч Фэкторис», в которую, кроме его отца, вошли еще десять шведских спичечных фабрикантов-«единоличников», строительные предприятия о-ва «Крейгер и Толль» и несколько небольших химических заводов, которые Крейгер скупил потихоньку в годы своей кажущейся бездеятельности.

Для того, чтобы поставить на колени старый шведский спичечный концерн, для того, чтобы завоевать мировой спичечный рынок, Крейгеру нужны были большие наличные средства, которых у него в этот момент еще не было. Как раз в это время вспыхнула мировая война, и Ивар Крейгер сразу оценил те неограниченные перспективы, которые давал ему факт нейтральности Швеции. Ивар Крейгер стал работать на войну.

В бесчисленных некрологах, которыми было отмечено в мировой печати самоубийство шведского миллионера, газеты часто называли его «дорогим другом Франции». Тот факт, что дружба Крейгера стоила Франции действительно очень дорого, не подлежит сомнению. Сотни миллионов франков, принадлежащих доверчивым и алчным французским обывателям, вложенные ими в акции крейгеровских предприятий, погибли сейчас безвозвратно. Но не в этом дело. Крейгер не мог считаться другом Франции уже хотя бы потому, что во все годы мировой войны он активно участвовал в пополнении химических резервов германской армии. Используя с исключительной ловкостью нейтральное положение Швеции, Крейгер с лихорадочной поспешностью изготовлял полуфабрикаты удушливых газов и взрывчатых веществ на своих наскоро переоборудованных спичечных фабриках. Впрочем, не безговал он и союзниками: имеются сведения, что значительное количество военно-химических товаров в годы мировой войны были вывезены из Швеции и в Англию. Короче говоря, к концу мировой войны Ивар Крейгер обладал тем крупным состоянием, которое было ему необходимо для того, чтобы начать международную спичечную атаку.

К этому времени концерн Крейгера располагал несколькими десятком спичечных фабрик, заводами, изготовляющими хлорал и поташ, строительными предприятиями и 100 тыс. акров земельной площади. Без всякого труда Крейгер в течение нескольких месяцев проглотил старейшую шведскую спичечную фирму и ринулся на мировой рынок. Послевоенный экономический кризис поставил его, обладателя миллионов, в исключительно выгодное положение. Концерн «Крейгер и Толль» превратился в своеобразное национальное экспортное общество. До войны Швеция всегда нуждалась в наличных капиталах; после удачной спекуляции Крейгера на удешевившихся газах Швеция стала страной, экспортирующей капиталы. Спекулируя на послевоенных финансовых затруднениях большинства европейских государств, преодолевая таможенные барьеры при помощи покупки спичечных монополий, Крейгер, буквально как сыр в масле, катался в мировом экономическом кризисе, умножая свои капиталы с невероятной быстротой, беспрестанно выпуская новые акции и искусственно повышая их курс на бирже при помощи широко раскинутой сети банков, в которых он распоряжался, как у себя дома. С точки зрения организационной и административной, концерн «Крейгер и Толль» представлял собою идеально организованное предприятие, одновременно горизонтальной и вертикальной концентрации.

В настоящее время концерн контролирует более чем 250 спичечных фабрик в 43 государствах, с общей годовой продукцией в 26 миллиардов коробок спичек в год. Короче говоря, концерн объединяет всю мировую спичечную промышленность, кроме советской, и является единственным конкурентом советского спичечного экспорта.

Кроме того, Крейгеру принадлежали крупнейшие в мире фабрики телефонного оборудования «Эрикссон», громадные площади леса, лесопильные, целлюлозные, бумажные, химические, сталелитейные и машиностроительные фабрики и заводы, не только в Швеции, но и в ряде других стран.

Финансовые операции концерна, выпуск новых акций, предназначенных для реализации главным образом на нью-йоркской и парижской биржах, дали концерну те капиталы, которые необходимы были ему для завоевания мирового рынка специфической формой государственных монополий на производство и сбыт спичек.

В таких странах, как Швеция, Норвегия, Дания, Голландия, французская северная Африка и Палестина, спичечная промышленность целиком принадлежит концерну.

В Бельгии, Чехо-Словакии, Финляндии, Швейцарии, Австрии и Англии концерну принадлежат все крупные спичечные фабрики. В Бельгии, например, крейгеровский «Юнион алюметьер» в 1928 г. владел уже 8 фабриками из 18 и 60 проц. общей производственной мощности всех фабрик

Помимо этого, концерн находится в синдицированных отношениях с Финляндией, экспорт спичек которой находится в руках концерна, и является поставщиком спичечной монополии в Португалии. Установлено сотрудничество с Японией, где в 1927 г. три решающих спичечных группы — «Ниппон Мэтч Ко», «Коекиша Мэтч Ко» и «Токио Мэтч Ко» — объединились в один трест «Дейдо Мэтч Ко», который тесно связан с шведским спичечным трестом. Все 250 фабрик объединены в три треста: 1) спичечный шведский трест, 2) «Бритиш мэтч корпорейшен» (Англия), 3) «Интэрнейшен мэтч корпорейшен» (САСШ). Последний объединяет 150 фабрик с 50 тыс. рабочих и служащих в 28 странах, от Канады до Дальнего Востока.

Формально последние два треста являются филиалами первого. В руках этих трех трестов находится 90 проц. мирового экспорта спичек.

Эту огромную мощь концерн получил благодаря монополиям на производство или сбыт спичек в ряде стран. Монополии же он получил за предоставление им займов тому или иному государству.

Страна	Валюта	Сумма займа (в тыс.)	Проц.	Срок дейст- воности монополии
Польша (1925)	доллары	6.000	6 ¹ / ₂	20 лет
Польша (1930)	"	34.400	до	1965 г.
Латвия	"	6.000	6	35 лет
Эстония	"	1.876	6	28 "
Литва	"	6.000	6	35 "
Румыния	"	30.000	7	30 "
"	фунты	38		30 "
Греция	доллары	4.861	8,5	28 "
Югославия	"	22.000	6 ¹ / ₄	30 "
Венгрия	"	35.000	5 ¹ / ₂	50 "
Турция	"	10.000	6 ¹ / ₂	80 "
Франция	"	75.000	5	—
Германия	"	125.000	5	50 лет
Перу	(условия не опубликованы)			
Эквадор	доллары	2.000	8	20 лет
Гватемала	"	2.500	7	30 "
Данциг	"	1.000	6	35 "

Для многочисленных финансовых операций, которые вел концерн Крейгера в различных странах мира, ему пришлось организовать и подчинить своему влиянию десятки банков в разных государствах Европы и Америки. По неполным сведениям, к моменту смерти главы фирмы концерн «Крейгер и Толль» располагал состоянием около 1.500 млн. долларов, из которых свыше 800 млн. долларов принадлежало лично Ивару Крейгеру. Он был в курсе всех важнейших политических событий, для него не существовало государственных тайн. И совершенно естественно, что для того, чтобы обеспечить реальность предоставляемых им некоторым государствам займов, ему неоднократно приходилось активно вмешиваться в международную политику, во взаимоотношения между империалистическими государствами. Влияние миллионов Крейгера на международную политическую жизнь было огромно.

В своих далеко идущих расчетах шведский миллионер не предусмотрел только одного: глубины современного мирового экономического кризиса. У Крейгера был один выход из положения, могущий дать ему возможность удержаться на некоторое время: резкое повышение цен на спички, которое в течение буквально нескольких месяцев дало бы в его распоряжение огромную сумму свободной денежной наличности. Но довольно значительный советский экс-

порт спичек, рост советского экспорта, нежелание советских экспортных организаций войти в контакт с фирмой «Крейгер и Толль» для совместного ограбления потребителя заставили Крейгера отказаться от плана повышения цен и даже снизить продажную цену спичек в ряде государств во избежание потери этих рынков сбыта в пользу СССР.

Неутомимо разезжая из столицы в столицу, Крейгер старался укрепить рушащееся здание своего гигантского предприятия. Но тот самый знаменитый «кризис доверия», о котором недавно говорил американский президент Гувер, отразился и на делах концерна «Крейгер и Толль». На мировых денежных рынках финансисты сейчас заняты попытками заштопать собственные прорехи, и, не смотря на все свое влияние, Крейгеру пришлось выкручиваться своими средствами. Между тем наступали сроки неотложных платежей. Акции концерна «Крейгер и Толль», котировка которых дольше всех держалась на определенном уровне, стремительно полетели в пропасть. Американская печать утверждает, что, если бы Крейгер прожил хотя бы еще несколько часов, он стал бы свидетелем полного обесценивания акций своих предприятий.

III.

По мере углубления мирового экономического кризиса различные тресты и банки во всех концах земного шара начинают изымать свои капиталы из концерна Крейгера путем сброса его акций.

Финансовый кризис в Германии, Англии вызвал неслыханно большой приток акций из-за границы на стокгольмскую биржу. Это был самый сильный удар, который потерпел концерн Крейгера за все время кризиса. С 800—900 крон в 1928—29 г. крейгеровская акция в конце августа докатилась до 210 крон. Общая стоимость акций концерна без акций дочерних предприятий упала с 1.042 млн. крон в конце августа 1930 года до 584 млн. крон в конце августа текущего года. Заграница эвакуировала свои капиталы. За два месяца, июнь—июль, иностранные вложения в шведских банках (в большинстве крейгеровских) сократились с 589 млн. крон до 170 млн.

Последствием краха была утечка золота из подвалов Шведского государственного банка, валютные резервы которого в начале сентября этого года составили 116 млн. крон, вместо 348 млн. в соответствующее время прошлого года.

Большой интерес представляет и другая дополнительная причина падения крейгеровских акций. Она заключается в огосударвленном характере его спичечных монополий. Если до сих пор этот момент обеспечивал прочное положение концерна, то теперь, наоборот, он повлек за собой падение акций.

Экономический кризис настолько углубился, и его политические последствия настолько велики, что займы, предоставленные концерном различным государствам, становятся мало обеспеченными, равно как и платежи процентов по ним.

Таким образом, долгосрочные займы, предоставленные концерном взамен спичечных монополий, как правило, финансово-худосочным странам, в условиях углубления мирового экономического кризиса, нарастания бюджетных дефицитов и созреваания в отдельных странах революционного кризиса превращают самую прочную базу концерна—огосударственную спичечную монополию—в его Ахиллесову пятю. В известном смысле подтверждением являются события в Южной Америке, где, как, например, в Эквадоре, последний политический переворот был направлен и против кабальных условий, на которых Крейгер предоставил свергнутому в настоящее время правительству заем за спичечную монополию. Эти события, вместе с государственным финансовым банкротством южно-американских стран, вызвали сильное падение курсов крейгеровских акций.

В конце января текущего года Крейгер прибыл в Соединенные Штаты. Американские банки, которые владели большим количеством акций его предприятий, были, по его мнению, заинтересованы сами в том, чтобы прекратить дальнейшее падение курса этих акций. Требовался заем. Концерну «Крейгер и Толль» предстояли значительные платежи в апреле, государства-должники не в состоянии были выплачивать проценты по займам, и Крейгер слишком хорошо был осведомлен в делах своих

дебиторов для того, чтобы не понимать, что нажимать на них бесполезно, ибо попытка выкачать хоть копейку из опустошенных государственных казначейств европейских государств, если бы и дала какие-нибудь результаты, неминуемо бы вызвала в этих странах серьезные социально-политические потрясения. Переговоры с американскими банками, продолжавшиеся около месяца, однако ни к чему не привели, и 4 марта Крейгер возвратился в Европу.

Он созвал экстренное совещание своего международного генералитета для того, чтобы выяснить платежеспособность капиталистического мира и те выходы, которые могли быть найдены, из создавшегося положения. Но совещание состоялось без него, ибо Ивар Крейгер застрелился.

Известие о его смерти вызвало на мировой бирже невероятную панику. Его американский банк «Ли, Хиггинсон и К-о», пытаясь предотвратить неминуемую катастрофу акций крейгеровских предприятий, выпустил следующее «успокоительное» коммюнике:

«Мы узнаем с чувством искреннего сожаления о неожиданной смерти Ивара Крейгера в Париже. Во время своего последнего пребывания в Америке он был болен и казался накануне серьезного нервного потрясения. Он поправился достаточно, однакоже, чтобы врачи разрешили ему выехать в Париж 4 марта».

«Во время своего последнего пребывания в этой стране он не вел никаких переговоров о займах, но его взгляд на положение контролируемых им предприятий казался вполне удовлетворительным, принимая во внимание международное экономическое положение и биржевые затруднения во всем мире»

Однако же это паническое сообщение, конечно, никого не могло успокоить, и уже в ближайшие дни мировая печать взяла совершенно иной тон.

«Его самоубийство,—пишет орган манчестерских текстильных фабрикантов, «Манчестер Гардиан»,—является значительно более важным событием для мира, чем была бы смерть любого современного политического главы государства. Крейгера—заимодавца государств—можно сравнить лишь с Рот-

шильдами в период их наибольшего величия в девятнадцатом столетии или с Фуггерами из Аугсбурга, которые в шестнадцатом столетии финансировали обанкротившихся императоров и королей на основе промышленных концессий, впрочем, весьма отличных от спичечных монополий «Крейгера и Толль». Бросается в глаза та исключительная теплота, с которой относятся буржуазные писатели к этому империалистическому тигру, финансовые спекулянтства которого разорили миллионы людей и поглотили десятки миллионов индивидуальных сбережений. Но буржуазия не может плохо относиться к Крейгеру потому, что в течение последнего десятилетия он был знаменем капитализма, и деньги, которые он выколачивал из карманов обывательщины, он охотно одалживал обанкротившимся государствам для поддержания власти правительства, для вооружений, для «стабилизации» капитализма. Крейгер не имел национального лица, он был «другом» буржуазии каждого капиталистического государства, с которым ему приходилось иметь дело. Забыта его роль во время мировой империалистической войны, и Крейгер после смерти становится «другом» и Франции и Германии одновременно. Вот что пишет о нем «Энформасьон»:

«Что касается нас, французов, то мы не можем забыть, что в час, когда даже внутри страны многие отчаялись в финансовом подъеме, явился иностранец, который предоставил г. Пуанкаре денежные средства, обеспечившие начало подъема. Точно так же он поспешил в Гааге поддержать французский тезис, устранить трудности, заполнить провалы, установить сближения, умиротворить международные противоречия. Этого самого иностранца по национальности, но настоящего друга Франции толкнули теперь к самоубийству финансовые трудности, рожденные всеобщими, не зависящими ни от кого условиями».

А вот что пишут о нем его германские друзья из «Фоссише Цейтунг»:

«Германское государство потеряло в лице Ивара Крейгера *теплого друга*. Конечно, Крейгер был насквозь деловым человеком, но его доверие к хо-

зяйственному и политическому оздоровлению Германии все же простиралось далеко за пределы расчетов трезвого финансового деятеля...»

«Форс», орган известной французской шантажистки, героини краха банка Устрик, пыгающей под шумок крейгеровской катастрофы навязать совершенно растерявшемуся французскому обывателю акции своих дутых предприятий, описывает роль Крейгера и цену его «дружбы для Франции» с исключительной откровенностью.

«Крейгер был преданным другом Франции? Вот тебе и на! Посудите об этом сами по займам, которые он предоставил Германии из французских денег под прикрытием своего ньюйоркского банкира «Ли, Хиггельсон и К-о»!

«Но это еще не все. Крейгер, этот преданный друг Франции, был основателем трех главнейших германских банков: «Дейтче Юнион Банк», с капиталом в 10 млн. марок, «Прейссише Централь Боден Кредит» и «Дейтче Централь Боден Кредит». Не довольствуясь финансированием германской экономики при помощи французских капиталов, он по мере сил внедрял в сознание немцев мысль, что они могут жить не работая и лишь одалживая деньги без конца.

«Этим именно Крейгеру мир обязан в значительной степени за современный кризис...»

«Каким золотом Крейгер финансировал Германию? Шведским золотом? Нет, ибо Швеция бедна капиталами. Только французским золотом, французскими деньгами, французскими сбережениями, мошенническим образом мобилизованными агентами Крейгера и его сообщниками из «Лионского кредита», которые лансировали и искусственно вздували курсы акций «Крейгер и Толль».

Ряд серьезнейших мировых экономических журналов, оплакивая смерть Крейгера, утверждает, что он сам себя погубил своей мегаломанией, своим спичечным «наполеонизмом», своей жадной властью, своими безудержными спекуляциями. Экономические журналы, которые, как известно, до сих пор еще пытаются частично отрицать всеобщий характер мирового экономического кризи-

са, спорят о том, что, если бы Крейгер ограничился трестированием одних только спичечных фабрик, современный экономический кризис отразился бы на нем лишь в самой незначительной степени. Абсурдность этого невежественного лепета станет очевидной, если принять во внимание, что международное трестирование спичечной промышленности было неразрывно связано с необходимостью для концерна Крейгера вступить в финансовые взаимоотношения с целым рядом государств, что самая возможность существования каких-либо международных объединений, монополизирующих изготовление и сбыт определенной промышленной продукции, исключает возможность воздерживаться от вмешательства в другие экономические дела заинтересованных государств. Крах концерна «Крейгер и Толль» так далеко зашел именно потому, что этот концерн имел дела во всех государствах мира. Этот крах является характернейшим показателем глубины и всеобщего характера современного экономического кризиса.

Немедленно по получении известия о самоубийстве Ивара Крейгера шведское правительство издало декрет о моратории на платежи концерна «Крейгер и Толль», трех связанных с ним банков и десяти частных предпринимателей. В настоящее время этот мораторий продлен на неопределенное время, до тех пор, пока специальная следственная комиссия не выяснит истинной картины финансовых взаимоотношений между Иваром Крейгером и шведским государственным банком. Злые языки утверждают, что шведская государственная казна заинтересована в делах концерна значительно больше, чем об этом известно широкой публике. В последние месяцы, когда концерн «Крейгер и Толль» катился под гору, Ивар Крейгер, по видимому, основательно запустил руку в шведскую государственную казну, и поэтому катастрофа его концерна равносильна полному банкротству Швеции, как государства. Уже сейчас количество безработных в Швеции, экономическое положение которой до сих пор отражало лучи крейгеровского финансового могущества, далеко перевалило за 100 тысяч человек, с тенденцией к увеличе-

нию на 15 тыс. безработных в месяц, в среднем. Идет бурное сокращение заработной платы во всех отраслях шведской промышленности, незрелые заготовки, предприятия переходят на неполную рабочую неделю и частично закрываются вовсе.

Влиятельный шведский экономический журнал «Аферсвер ден» оценивает крах концерна Крейгера, как «тягчайший удар, понесенный когда-либо экономикой Швеции», и заявляет:

«Этот удар можно сравнить лишь с проигранной войной... Подобное критическое событие в истории Швеции сравнимо лишь с потерей ею Финляндии в 1809 году...»

IV

Бесспорно, что самоубийство Ивара Крейгера будет иметь для мировой экономики последствия, значительные которых в настоящее время даже трудно поддается учету. Буржуазия всех стран верила в него, как в бога. И эту веру он беспреданно подкреплял оптимистическими заверениями. В последние годы своей жизни он вел крупную международную политическую игру, тасуя, как колоду карт, отношения отдельных капиталистических государств между собою, действуя за кулисами всех без исключения последних международных конференций.

На ряду с Генри Детердингом, Лесли Урквартом, римским папой, банкиром Морганом и многими другими, он входил в ту группу международных финансовых олимпийцев, которые из года в год упорно и неуклонно подготавливают антисоветские интервенции, видя в уничтожении единственного в мире социалистического государства единственный выход из того критического положения, в котором оказалось современное капиталистическое общество.

Орган германской тяжелой индустрии «Бергверкс Цейтунг» следующей краткой формулой характеризует причины самоубийства шведского миллионера:

«Мировой экономический кризис положил конец развитию могущества Крейгера и тем самым повлек его поражение в борьбе с Советами».

Этот анализ причин самоубийства одного из самых могущественных промыш-

ленных и финансовых магнатов капиталистического мира является, конечно, неполным, узким.

Речь идет не о поражении Ивара Крейгера «Советами», а о гораздо более глубоком социально-экономическом явлении современности: о торжестве советской экономической системы, о торжестве социализма и о предстоящей гибели капиталистической системы.

Самоубийство Ивара Крейгера есть первый симптом паники, которой в настоящее время об'ят капиталистический Олимп.

За Иваром Крейгером сейчас последовало еще несколько впавших в панику олимпийцев. Через несколько дней после получения в САСШ известия о гибели Крейгера, покончил с собою известный американский промышленный магнат, владелец крупнейших в мире фотографических и кинематографических предприятий Джордж Истмен, личное состояние которого, по некоторым подсчетам, превышает миллиард долларов. Дела компании «Кодак», которой руководил Джордж Истмен, в настоящее время пока еще не так уж плохи. Этому семидесятилетнему старику, обогатившему мировую технику целым рядом ценнейших изобретений, пожертвовавшему в разное время различным университетам и благотворительным учреждениям около полумиллиарда долларов, вовсе не угрожало в ближайшем будущем разорение. И тем не менее он покончил с собою, следуя примеру Ивара Крейгера, уверовав в неизбежное крушение той социальной системы, которой он отдал свою жизнь, свои знания, свои гениальные способности изобретателя.

Гибель Ивара Крейгера повлекла за собою свыше десятка других смертей и самоубийств. В Берлине застрелился разорившийся владелец ряда машиностроительных фабрик Лорензен. В Стокгольме отравился один из держателей акций крейгеровского концерна, Тилльдон, в Вайффенштадте, близ Ревеля, повесился владелец крупнейшей консервной фабрики Мармюс. В Париже умер от разрыва сердца, получив сообщение о самоубийстве Крейгера, один из директоров шведской спичечной компании Ферандер. И так далее.

Растерявшаяся буржуазная армия чутко реагирует на панические настроения своих генералов. На ряду с мировым экономическим кризисом растет и ширится идейный кризис буржуазии, кризис буржуазной культуры. Один за другим закрываются театры, пустуют музеи, на книжный рынок выбрасываются дешевые, авантюрные и эротические романы: буржуазное искусство переживает небывалое оскудение.

Подобно воину, павшему на поле брани и завещающему оставшемуся в живых товарищу свое окровавленное оружие, Джордж Истмен накануне смерти завещал миллион долларов организациям фашистского юношеского движения в Италии. Эта сумма была недавно вручена по адресу одним из представителей компании «Кодак» в Риме.

Служители буржуазного искусства и литературы наперерыв пытаются избрести более или менее правдоподобные версии, могущие скрыть от буржуазного общественного мнения истинную картину паники, охватившей руководящие круги капитализма. Об'ятые паникой олимпийцы изображаются в виде жертв денежного бремени своего финансового могущества, в виде несчастных затравленных мучеников, изнемогающих от забот, которые в связи с их богатством накладывают на них жизнь современного общества.

Но с каждым днем становится все более и более очевидным, что ухищрения профессиональных организаторов общественного мнения не достигают цели. Паника, разразившаяся на капиталистическом Олимпе, охватывает все более и более широкие круги буржуазии. Все громче и громче раздаются панические голоса о необходимости как можно скорее обезопасить мир от надвигающейся неизбежно пролетарской революции, утопить в крови международное рабочее движение и единственное в мире социалистическое государство, на костях миллионов трудящихся воздвигнуть новое временное убежище капитализма, которое смогло бы просуществовать хотя бы еще несколько десятилетий.

И потому лихорадочно работают военные заводы,—единственная отрасль промышленности, не знающая кризиса, —

одна за другой создаются новые международные политические комбинации, имеющие целью собрать в кулак отдельные капиталистические армии для того, чтобы в последний раз попытаться оказать сопротивление надвигающейся опасности.

Гибель Ивара Крейгера является одним из характернейших симптомов того, что общество, которое он символизирует, не сможет найти другого выхода из создавшегося положения, как только вооруженное столкновение с наступающим классом. Однако исход этого столкновения также предрешен, ибо когда капитаны прыгают в воду, это означает, что корабль безоговорочно идет ко дну.

В момент, когда настоящая статья сдавалась в печать, буржуазная пресса опубликовала первые данные о результатах предварительной экспертизы финансового положения «Крейгер и Толль». Эти предварительные данные свидетельствуют о том, что в течение последних двух лет балансы концерна фальсифицировались, совершались систе-

матические подлоги, при помощи которых Ивар Крейгер вводит в заблуждение общественное мнение широких бирж и таким образом недобросовестными махинациями искусственно поддерживал курсы акций контролируемых им предприятий.

Это «открытие» никого, конечно, не может удивить. Но, поднимая газетную шумиху вокруг «мошеннических проделок» Крейгера, финансовые тузы пытаются свалить на мертвого миллионера ответственность за те миллиардные убытки для мелких держателей, которые они потеряли в результате краха концерна. Называя Крейгера «мошенником», продажная буржуазная пресса пытается внушить обывателю, будто бы существуют каких-то два капитализма: один — мошеннический, крейгеровский, а другой — «честный», тот капитализм, которому они служат.

Между тем, за биржевые махинации Крейгера, конечно, несут ответственность и банки, и печать, и отдельные политические деятели, которые не только были превосходно осведомлены о «секретах» крейгеровской бухгалтерии, но и изрядно на ней наживались.

Литература и искусство

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

(К 30-летию литературной деятельности)

А. Ефремин

Буржуазные защитники искусства «обеспокоены» судьбами литературы в период развернутого социалистического наступления; они «озабочены» перспективами искусства при социализме. Некоторые из мелкобуржуазных эстетов тоже склонны уверять, будто социализм и искусство несовместимы. Все они правы лишь в одном: в социалистическом обществе нет места классовому искусству эксплуататоров, каковому искусству действительно приходит конец. Расцветает искусство пролетариата, зарождается художественность освобожденного человека.

В пессимистической концепции буржуазных и мелкобуржуазных эстетов находит свое отражение пессимизм уходящих с исторической арены классов, враждебный скепсис и метафизические воззрения, отождествляющие буржуазное искусство с «вечным искусством». Вот недавно появился рассказ «Сказочное имя». Идея рассказа: большевики — туповатый, жесткий, сухой народ, истребляющий в корне всякий росток художественности; музыка, сценическое искусство, красота — все это обречено; под властью коммунистов жизнь станет пресной, скучной, аскетичной; для тонких, артистичных натур самое существование в СССР тяжело и невыносимо. Вот в чем смысл повести «Сказочное имя».

Пессимистический этот взгляд не имеет под собой никаких оснований. Социалистическое общество представляет необъятные возможности для созидательного

гения и для проявления его во всех сферах. Пропаганда пессимистических воззрений вредна и чревата многими опасностями. Вредоносность подобных измышлений сказалась прежде всего на самом авторе произведения, на Сергеев-Ценском (он написал «Сказочное имя»). В прошлом Ценский крупный художник. Но после революции он поблек. Снедаемый желчным скепсисом, писатель разменивается на дешевку. Озлобленность или равнодушие нейтрализуют его дарование, и вот на наших глазах происходит грустное и знаменательное явление: самовыхолащивание таланта.

«Сказочное имя» — не случайное явление в идейно творческом плане Сергеева-Ценского. Еще в 1923 г. писатель проповедывал то же, влагая в уста большевика Иртышова («Обреченные на гибель») самые изуверские высказывания насчет искусства и заставляя Иртышова совершать акты, достойные бандита или пещерного человека.

Эстетика Сергеева-Ценского откровенно буржуазна. Он не склонен прибегать ни к хитроумным уловкам, ни к контрабанде, чтобы утвердить свою тезу: социализм убивает искусство и убьет! Ценский открыто заявляет себе апологетом старых классовых воззрений. Он выступает в защиту эстетики индивидуалистической, эстетики реакционной. Причину оскудения своего таланта и талантов ему подобных Ценский склонен приписывать революционным процессам. Между тем причины оскудения лежат совсем в ином.

Сергеев-Ценский — плодовитый, зарекомендованный еще в дореволюционное время мастер. Он работает в сфере художественной литературы три десятка лет. Произведения его выдержали множество изданий, выходили неоднократно собраниями сочинений и довольно высоко расценивались критикой. Тем более внимательно должны мы отнестись к Ценскому теперь, когда дарование его явно на ущербе, а между тем по своим годам художник еще сравнительно молод и находится, так сказать, в цветущем возрасте (Сергеев-Ценский родился в 1876 г.). Личная трагедия Ценского в его отчужденности. Изолировав себя от общественности, от современных величайших устремлений, Сергеев-Ценский упрямо культивирует ветхий модус уединения и самососредоточения, не замечая происходящего вокруг. Между тем вне подлинной близости к современному строительству истинное творчество не мыслимо. Вот где надлежит искать причины истощения литературных ресурсов Ценского. Если он этого не понимает, тем хуже. Правда, в данном случае, может быть, имеется некая доля вины нашей критики, нашей писательской общественности, может быть, мы мало или плохо помогали писателю перестроиться, а без идейно-творческой перестройки ему не выбраться из болота самоповторений и самотолчения.

Одинокость—издавнее страдание Ценского. Тридцать лет назад в одном из первых же рассказов («Тундра») молодой и чуткий писатель скорбел: «Мне почудилось вдруг, что среди этих домов, и толпы, и шума — я в тундре, в холодной, ледящей, огромной тундре...» Уязвленный разобщенностью классового строя, Ценский стал поэтом угнетающего одиночества и изолированности. Хворый Никишка («Умру я скоро») и силач Шевардин («Сад»), интеллигенция («Снег») и буржуазия («Дифтерит»), юноши («Смерть») и старики («Уголок») — все изнемогают под бременем одиночества: среди лесов («Лесная топь») и степей («Печаль полей»), на юге («Благая весть») и на севере («Движения»), в несущемся поезде («Ближний»), в жару горячки («Бред»), в вихре карнавала («Маска»)... Персонажи Ценского антисоциальны и необ-

щительны. Пассивны ли они или энергичны, раздражительны или равнодушны, завистливые, апатичные, — все равно: их преследует по пятам неотступная одиночество. Раньше или позже она совет гнездо в сознании человека, она властно воцарится, заставит задуматься над бытием и сущностью жизни и разрешит проблему в определенном, заранее предусмотренном плане. И тогда люди обращаются в холодных эгоистов, мелких себялюбцев, эгоцентристов. Скучающие эпикурейцы, истеричные нищанцы, жадные и святые, мудрецы и параноики, сторожа и инженеры, аскеты и сластолюбцы — все одинаково обречены. Мечты никогда и нигде не сбываются. Все иллюзии идут прахом. Жизнь — скучная и жестокая игра случая и злой судьбы.

Студент Шевардин («Сад», 1904 г.) в одиночку хочет решить всю сложность социальных противоречий и осчастливить угнетенные массы своей жертвой. Мешает ли ему его социальная изолированность? «Сознание одиночества его подымало и ширило», утверждает автор. Правда, объективный ход вещей устанавливает иное, противоположное. Казалось бы, отсюда единственный вывод — искать путей к разрешению социальных конфликтов надлежит не в одинолических актах, а в организованном выступлении класса, которому принадлежит будущее, класса промышленных пролетариев. Но Сергеев-Ценский не становится на эту позицию. Наоборот. Выход им найден в ином, в противоположном, в служении буржуазии («Наклонная Елена»). Но об этом — ниже.

Роман «Валя» начат перед войной и закончен после революции. Читаем в нем: «Когда душа притихает, не кажется ли тогда излишне шумным решительно все на свете?... Это не одиночество, это только свидание с самим собой, радостное и милое, — ну просто куда-то сбежал от себя самого, долго скитался по чужим, и вот вернулся. И что бы ни говорили краснощекие, а хорошо это: закрыть ставни наглухо днем, занавесить окна черным, зажечь свечу скромную, сидеть перед нею, прижавши руки к вискам, и думать... И у кого тиха и глубока своя келья, и у кого длинна и ярка свеча, и у кого есть над чем заду-

маться надолго, — просто, самозабвенно, без слез и без гнева, — хорошо тому, потому что с ним бог...»

Экая тривиальность! И такое вульгарное вознесение эгоистического индивидуализма беззастенчиво преподносится послереволюционному читателю, и автор наивно полагает, что кто-либо умилится над теми, «у кого есть над чем задуматься... без слез и без гнева», — это во время войны, когда массы истекали слезами, кровью и гневом. Ценскому кажется, что «свидание с самим собой» — нечто куда как рафинированное. Вздор! Только трусость и мелкое себялюбие эксплуататорских классов, чувствующих близкий закат, могли искать утешения в закупоренном уединении, куда не долетал бы ропот угнетенных.

Герои Ценского одиноки не только в бытовом смысле. Они — евнухи, обреченные на органическое одиночество скопцы, без искры чувства, с пружиной, вместо сердца. Бабаеву («Бабаев»), под впечатлением рассказа о старике-некроромане, все люди чудятся мертвецами. Ценскому тоже все люди чудятся мертвецами. Дальше идти некуда. Дальше следует или полное универсальное отрицание сущности жизни или преодоление индивидуализма.

Объективная победа над одиночеством мыслима лишь на путях коллектива. Началу буржуазно-индивидуалистическому противостоит начало пролетарского коллективизма. Крайний индивидуалист, Ценский мыслит иначе. Он убежден, что генеральное содержание исторического процесса составляет развитие суверенной аристократической личности, свободной от всяких социальных ограничений. Соответственно сему реакционному воззрению, Ценский ищет преодоления роковой одиночности в культе «сверхчеловека». По мнению Ницше, народные массы составляют лишь почву для деятельности и роста «юберменша» (Uebermensch). Так же мыслит и Ценский. Ценский дореволюционного периода покуда не видит еще вокруг себя таких аристократов воли и духа. Но их даст ближайшее поколение («Верю», 1903 г., «Небо», 1908 г.), и они принесут на землю сияющую печать цивилизации.

Во имя каких идеалов и чьих интересов выступает апологетика сверхчеловека?

Ницше учил, что социалисты — это «шайка подстрекателей», которые обучают рабочих «зависти и мести». Не это ли самое буквально вещает Сыромолотов-отец в романе «Обреченные на гибель»? И не таким ли именно злостным подстрекателем и мстительным завистником показан большевик Иртышов? (там же). Ницше питал страстную и неприимимую ненависть к социализму, ведущему, дескать, к полной деградации человечества и к одичанию. Разве не так же изображен «Золотой век» социализма на символическом триптихе Сыромолотова? Сергеев-Ценский ищет «сильных людей» и не находит их. Одиноким, еще не утвердившимся в своем аристократическом качестве, он еще снедаем рефлексией, он еще подвержен сомнениям. Отсюда его неспособность. Сөвсем не прав А. Горнфельд («Книги и люди», 1908 г.), трактуя Бабаева в качестве «истерического Фауста». В Бабаеве от Фауста положительно ничего нет. Бабаев — истерик-ницшеанец, иными словами, неудавшийся ницшеанец. Его порок в том, что он не сумел освободиться от колебаний, тогда как истый сверхчеловек — «изначала ликующий эгоист». Бабаев допустил в себя сомнения, оттого и погиб, как жертва безволия, в возмездие за то, что не отгородился очоночательно от «черни» и от ее интересов.

Дореволюционная критика отмечала протест Сергеева-Ценского против мещанства. Но в каком плане отвергал писатель мещанство и во имя чего? Ценский разоблачал мещанскую сыть с целью утверждения «сверхчеловека», который мог бы властно поднять гордую голову над безликим месивом «плебса». М. Морозов пишет: «Бабаев потерял аппетит к жизни... Ему нечего делать здесь на земле, ничему не может он отдаться, он полон ненависти к мещанскому быту, к животной сытой радости и довольству, но он не преодолел их»¹⁾. Потому и полон ненависти, что мнит себя сверхчеловеком, а грубая сцена с денщиком, приведенная М. Морозовым, подтверждает именно нашу мысль. Ценский влагает в сознание Бабаева сомнения

¹⁾ М. Морозов. Очерки новейшей литературы. 1911 г.

в правоте властей, пославших Бабаева с карательной экспедицией пороть крестьян и расстреливать рабочих. Помешали ли поручику Бабаеву эти сомнения исполнить преступную волю царского правительства? Ничуть: Бабаев и крестьян высек и рабочих расстрелял. Исходил сомнениями, искал «смысла» и в то же время порол и расстреливал. Истериичность и неврастеничность Бабаева ничем не угрожали его начальству, но были весьма опасны для трудящихся масс, ибо от неврастенического ницшеанца до белогвардейского садиста расстояние не так уж велико. В 1905 году Бабаев сек и расстреливал равнодушно. В 1918-20 гг. Бабаевы вошли во вкус и действовали с волчьим упоением в отрядах Колчака и Врангеля. Но теперь Сергеев-Ценский не видел их, не заметил, не запечатлел в своих произведениях. Единственно, кто из офицеров попал на страницы послереволюционного творчества Ценского, — это смешной такой чудак-офицер Коняев, старомодный и нудный, но по существу безвредный («Капитан Коняев», 1927 г.).

Итак, писатель придает большое значение приходу «волевого» поколения. Для сего надо внушать массам «пафос расстояния» между чернью и аристократами, нуждающимися в особых условиях бытия. Дед Ознобишин прямо так и заявляет: «Это мы ведь просто привыкли к земле, потому и живем. Ну, а попробуй только, появившись на земле кто-нибудь, кто побольше человека... Умер бы он от тоски в одночасье, — и больше ничего» («Печаль полей»). Искания дореволюционного Ценского обусловлены тоскою о сверхчеловеке, имеющем возвыситься над серыми массами. Горечь жизни — по Ценскому — определяется не социальным укладом: горечь и терпкость имеют истоками роковые космические силы, стоящие на пути сильной личности. Что же касается масс, то они обречены на прозябание («Погост», «Сад» и др.): в этом их историческое предназначение. Все это рождает тоску и злобу. Мир охвачен печалью стихийной и неизбежной.

По существу подобные настроения свидетельствовали лишь о смутном испуге, точившем господствовавших властителей. На страницы буржуазной лите-

ратуры оседала тревога близких и неизбежных сроков. Вот почему надежды возлагались на «сильную личность», и взоры приковывались к герою воли и дела. Дальнейшее поступательное развитие Бабаева воплощено в образе Дерябина («Пристав Дерябин», 1910 г.). В. Л. Львов-Рогачевский увидел в Дерябине «сильную личность». Но это вздор Дерябин — тот же истерик Бабаев, но уже перешедший на службу в полицию, раздобревший, еще больше обнаглевший. Если раньше он был «циник без цинизма», то на новой службе он обрел и цинизм, и подлость, и жестокосердие, и сознание цели. Изредка его еще посещают сомнения, которые он хочет потопить в пьянстве и грязном распутстве, а своей подлости он ищет оправдания в огульном охаивании всех и вся: «Вы себе представить не можете, какие в общем все мерзавцы, подлецы, негодяи... Вор на воре! Мошенник на мошеннике!» Все это говорится потому, что Дерябин еще не утерял ощущения своей подлости. Не зря ведь он с надрывом вопит: «Я — дворянин! И горжусь своим дворянством и своей службой в полиции!..» А вслед затем жалуется, что нет стержня, что ось утеряна, и зыбка под ногами почва. Реакция со всеми ее скорпионами не давала ему уверенности, и хоть он убеждает собеседника, что «пристав — позвоночный столб полицейского государства», однако он ощущает подземные толчки движения и ропота масс. Отсюда его смятение и дикая злоба. Пройдет еще десяток лет, и Дерябины будут командовать отрядами Шкуро и Мамонтова, но отнюдь не превратятся в безобидных, хотя и егзовливых, капитанов Коняевых.

Что-то мешает человечеству народить крылатых людей, сверхчеловеков в духе Ценского: писатель видит мир, наполненный космическим злом. Страх и месть, жестокость и отчаяние кромсают жизнь, превращая ее в юдоль мучений и скорби. Логика зла неуловима для Ценского.

В основе изложенной концепции космизма по существу лежат реальнейшие социальные симпатии, сбрасывающие покрывала, как только дело касается революции. Поясню свою мысль примером. В течение десятилетий своего худо-

жественного творчества Ценский насаждал тезис о могучей и непобедимой стихии курсов. Живет на свете энергичный приобретатель Модест Гаврилович («Дифтерит», 1904 г.). Он трезвый рационалист и детерминист. Он издевается над метафизикой и мистицизмом. Но вот злой рок наносит ему визит: в поединке каузальности и телеологии победу одерживает вторая — и в душе Модеста Гавриловича заколыхался животный страх перед чем-то большим и всеильным, имя которому на человеческом языке — Жестокость». Жестокость (с большой буквы) поработает бывшего рационалиста и стирает, как стирают мокрой тряпкой меловые записи, все его логические построения, а на место их водружает знамя «подлого смеха». От крепкой семьи Модеста Гавриловича ничего не осталось. Перемерли дети, жена лишилась рассудка, а он, озлобленный и опустошенный, вышел в тираж и растоптан пятою Судьбы (опять-таки с большой буквы). Ценский любит показать: за кого судьба возьмется, — разможит до тла, без пощады. («Уголок», «Дифтерит», «Печаль полей» и др.). Вот Лиза («Скука», 1903 г.), милая девушка. Она стремится вырваться из трясины глухого прозябания. За это судьба жестоко карает Лизу, судит и казнит. Существует счастливая семья Дивеевых («Валя», 1914-21 гг.). Но судьба уже разыскивает человека, он придет со стороны неожиданно и беспричинно, вдруг ударит, как гром, и от семьи Дивеевых останутся черепки. Жестокость царит незримо и властно. Она неукоснительно преследует всех, простирая над миром когтистые лапы...

Эта Жестокость (с большой буквы) была в течение долгих сроков какою-то неуловимой, трансцендентальной. Она пронеслась в творениях Ценского, как смутный призрак, безблгный и неощутимый. Нынче жестокость под пером Ценского приняла вполне реальные контуры. Жестокость, оказывается, это метод гражданской войны, метод революции и вызванного революцией противодействия со стороны попранной собственности («Жестокость», 1922 г.). Из повести «Жестокость» мы узнаем о рабочем-коммунисте, что «теперь он готов был им (буржюям) без конца

мстить... — Их надо всех поуничтожать, чертей! В конце! — кричал он звонко и отчетливо». Латыш-чекист иначе не разговаривает с шофером, как держа у его виска ноган... Жесток до садизма большевик Семен Подкопаев («Старый полоз», 1927 г.). Жестокий человек большевик Иртышов. Жестока вся система большевиков, с конфискациями, социализациями, репрессиями и пр. Естественной реакцией против жестокости коммунистов является ответная жестокость контр-репрессий, так сказать, защитительная жестокость, — таков смысл повестей «Жестокость» и «Живая вода».

Подобное же воплощение космических стихий в социальные образы мы наблюдаем и в других сферах творчества Ценского. В рассказе «Взмах крыльев» заключен некий символ. Рабочий-слесарь в единоборстве с бешеной собакой сам взбесился. Безумный и могучий, он нагоняет на всех страх. Но «плохонький Гаврюшка победил его». И тогда все, изощряясь в мстительности за свой испуг, тиранили и терзали рабочего до того, что замучили насмерть. Месть хозяйничает в жизни, внося как бы некое пагубное равновесие. Рано или поздно всё получит отмщение. Месть ревнива. Стократ ревнива месть собственника. Она истребительна, как стихия («Живая вода», 1927 г.), и, как стихия же, натуральна. Естественно возникает заключение: если зло изначально имманентно миру, то не фантасты ли, не обманщики ли проповедают избавление от социальных зол? Человек — ничтожная песчинка, игральные стихий («Море», 1926 г.). Лишь в слиянии с космосом люди способны залечить раны злополучия («Снег», «Благая весть» и др.).

Большинство характеров Ценского сковано пассивно-созерцательной покорностью. Примат стихийности царит над всем и определяет тон. Стихия инертна и статична, а временами она вдруг подымается напорно-жгучая, и жар ее губителен. Таковы — по воззрениям Ценского — и народные массы: человек в одиночку фантастичен, а в толпе он приобретает черты темной стихии. Ведь широкие массы вообще не поддаются культуре: «дикий, дикий, как при Рюрике, мужик зверь-зверем» («Дифтерит»). «Спрашивается, зачем же он тысячу лет

прожил». («Маска»). «Эскимосы! Жалкая дрянь! Клобы!» («Дифтерит»). В повести. «Лесная топь» рабочие-торфорезы все поголовно дикари, насильники, убийцы. В «Печали полей» плогичная артель — все сплошь жестокие хулиганы. «Спокон веку так стали жить коричневозипунные, волосатые, медленные и тугие, — на земле, из земли, земля...» Всё это писано до революции. Однако те же взгляды остались у Ценского и ныне. Активность пробудившихся после Октября масс ни в чем не переубедила писателя, и нынешний мужик Ценского ничем не отличается от мужика прежних произведений писателя. «Человек — это машина хитрая: ты к ней с лаской, а она плети хочет!» — вещает дед Ознобишин («Печаль полей»). Так думал писатель в 1908 году. Несколько раньше нам представлена картина: поручик Бабаев свирепствовал с карательным отрядом в деревне, а затем впал в истерику. Тогда выпоротые крестьяне утешают его: «Барин! голубчик наш сизый! Убивается как!..» Ничего! Слышь ты, ничего! Мы стерпим!

Разве это не клевета на крестьянство? Революция 1905 г. и движение последующих лет показали наличие в рядах большинства крестьянства революционных возможностей; карательные же экспедиции, расстреливавшие и поровшие крестьян, действовали на сознание деревни так же, как расстрел 9 января — на сознание рабочих. Между тем крестьяне Сергеева-Ценского поступают вопреки всякой мыслимой логике, т. е. вопреки логике развития классовой борьбы. У буржуазной интеллигенции своя логика: логика испуганного воображения, логика истеричного нищезанца, рассматривающего трудовые массы в качестве навоза для культуры аристократической личности. «Человек — это машина хитрая: ты к ней с лаской, а она плети хочет...»

Изменил ли Ценский свои воззрения нынче, после революции? Ничуть! Бывший солдат империалистической войны дядя Митрий («Жестокость») рассказывает о себе, что он «в революцию пошел» потому, видите ли, что царь Николай II был пьяницей и безвольным человеком, а нужен-де другой царь — «построжей»... Оказывается, крестьянство отвернулось от царизма только

потому, что царь был недостаточно — на мужицкий вкус — строг! И этакая клевета и этокое извращение событий преподносятся читателю в качестве «об'ективно-художественного творчества».

Крестьянство Сергеева-Ценского конеет в сплошной покорности и в страхе. «Молчат люди, — пишет Шевардин о мужиках. — ... Да сколько же еще, — сто лет, тысячу лет, вы будете молчать, проклятые!» Это писано осенью 1904 г., когда земля горела от мужичьего гнева. Шевардин единолично выступил в защиту крестьянских интересов. За это от беднейшей крестьянки он удостоился эпитета «злодея», потому что, по концепции Сергеева-Ценского, народ отвергнет всякого, кто через насилие попытается разрешить социальные коллизии. Ту же мысль мы встретим у Ценского в рассказе, написанном через восемнадцать лет, на седьмом году революции.

В мире царит страх, как доминанта всеобщих настроений, и даже смелые не смелы, они лишь питаются иллюзией неустрашимости. «Я видел больших чак, летавших над черным озером... Я ясно видел, что они боялись не черного озера... они боялись сильного взмаха собственных сверкающих крыльев» («Взмах крыльев»). Не отличаются храбростью ни большевик Иртышов («Обреченные»), ни шесть комиссаров («Жестокость»), ни другие революционеры. Человек в массе робок. Мир полон страхов. Кто-то неуловимый садически услаждается застраиванием человека («Испуг»), жизнь Анны — почти «заячья жизнь» («Печаль полей»). Зинаида Ефимовна («Обреченные») — еще более запуганное существо: «у нее был настоящий талант отчаяния», она всего боялась и страх свой носила, как знамя. Павлик убежден: «Земля — это страшная вещь!» («Валя»). Семья доктора Аксенова пугалась всего на свете: «воров, мух, грома, и оттого целые дни двери были на крючках, и окна не открывались, и оттого воздух в комнатах был затхлый, и кто-то жил в них рядом с людьми, невидимый...» («Уголок», 1905 г.). Человек робок, да и как не робеть, когда невидимый только тем и занят, что пугает, угнетает, пришибает. Мраком и ужасом обвеяны белые страницы писателя. Они насыщены пассивной по-

корностью перед лицом «извечных тайн», они культивировали универсальную поработченность, а по существу культивировали смирение перед режимом эксплуататоров.

Если живут рядом пятеро: четверо здоровяков и один хилый заморыш («Умру я скоро»), то злой случай уносит в могилу краснощеких весельчаков, а хилый Никишка остаётся жить. Таков закон существования: везде и постоянно так. Гневливый рок опрокидывает все вверх дном, похабит, гадит, как проказливый бес. На веселом маскараде, в переполненных залах «Хохлов ясно видел, что в углах притаилось что-то бескрылое, ползучее, серое и сонно и мутно улыбалось» («Маска»). Вот это что-то подличает и вредит. Оно смешало воедино фальшь и искренность, любовь и похоть, натуру и бутафорию. Оно рождает тоску, оно плодит ропот и недовольство: «Уж у меня такая примета: чуть что тебе удастся сделать приятное, — так и знай, что не к добру веселился... Там уж что-нибудь ждет такое... возьмет и кокнет! Не тут, так там — уж где-нибудь оно есть: возьмет и кокнет!» («Дифтерит»). Об'ективный смысл такого «национально-русского» фатализма сводится вот к чему: причину всяческих зол и бедствий надлежит искать не в социальных установлениях, а много глубже: в недоступных разуму подсудных тайниках. «Идет человек, ни о чем не думает, вдруг откуда-нибудь из-за угла, из револьвера или серной кислотой в лицо...» Лютый рок каверзен и одинаково беспощаден после революции, как и до нее («В грозу», 1922 г.). Всё на свете творится *шиворот-навыворот*, не существует ни закономерности, ни причинности, ни опосредствования, ни диалектики — «и, может быть, самое ценное в жизни — случайность; и в неведении будущего — счастье жизни» («Скука»). Это уже не фатализм, а лотерея. В интересах какого же класса ведется проповедь столь анархического «оптимизма»? Во всяком случае, не в интересах угнетенных масс, равно как не в их интересах написаны нижеследующие строки: «Есть какая-то на земле своя солнечная правда. Человеку этого не дано знать, человек только чувствует это смутно, когда вдруг возьмет да поверит

сказке о том, что никогда не разлюбит, никогда не состарится, никогда не умрет...» («Неторопливое солнце»). В том же — смысл новеллы «Четыре подковы» и неудачной подражательной пьесы «Смерть».

Сергеев-Ценский скептик и пессимист. Надежды его на появление сверхчеловека ничем не обоснованы. Напрасно писатель в иступлении твердит: «Верю! Верю! Верю!» («Верю»). Волхования и знахарские заклинания свидетельствуют о бессилии классов, вытесняемых с исторической арены и смотрящих на мир сквозь темные очки безнадежности. Самый веселый из персонажей Ценского, Павлик («Валя»), заносит в дневник: «Мыслию бога, как существо в основе своей божное. Если бы не был болен бог, — не был бы болен мир». Стало быть, мир присно и вечно не излечим? стало быть, немислимо освобождение человечества от эксплуатации? стало быть, мероприятия коммунистов — бесцельные прожекторские эксперименты? (напоминаем, что роман «Валя» напечатан после революции.).

Скептицизм писателя-пессимиста может констатировать лишь «бег на месте», как исторический процесс. «На земле никто не говорит, только переставляет с места на место, как комнатную мебель, а суть все та же, что при Адаме» (тирада Фрола из поэмы «Лесная топь»). Чалдон Андрей Силин почти ничем не отличается от таежного медведя. Происходят роковые события в жизни Алпатова, погибает карьера, кончается жизнь, а чалдон Силин всё тот же, и культура его все та же медвежья («Медвеженок»). Цивилизация от времен древнего мира до наших дней одинаково прозрачна, обманчива, бесцельна («Полубог»). В наши дни русские крестьяне проявляют ту же необузданную дикость, что и гунны IV века («Место-кость»). И с этим народом строить социализм? Как видим, «философический» пессимизм Ценского щедро льет воду на мельницу меньшевиков и троцкистов, вопящих до хрипоты: «В дикой России немислимо построить социализм!»

Имеется у Ценского большое художественно исполненное полотно. В свое время оно встретило весьма благоприятную оценку. Речь идет о повести «Дви-

жения» (1910 г.). Изображено единоборство двух стихий: тишины и движения, статики и динамики. Кто ждет, что Ценский в эпоху злой реакции противопоставит энергию косности и активность застою, тот будет жестоко разочарован. В повести речь идет об ином: человеческой деятельности противопоставляет земная косность, повисая мертвым грузом на руках деятеля. Мы видим живописную картину делового жизнедвижения, искусно развернутого единственно для того, чтобы доказать его бессцельность. А читатель должен сделать вывод: стало быть активность и борьба — не больше, как бессмысленное верчение, не стоящее тех напряжений, какие были затрачены неумолимым Антоном Антоновичем. Таков замысел автора. Но мыслимо и другое заключение, не предусмотренное автором: созидательная энергия Антона Антоновича оказалась тщетной не потому, что злой рок предательски расставил свои капканы, а потому, что ныне уже обречено индивидуальное хозяйство. Система частной собственности уже не может наполнить жизнь. Вот почему движения единоличного хозяина вырождаются в конце-концов в бессцельные и напрасные рыскания. Для своекорыстных appetitов и для индивидуального обогащения прошли сроки, им положены пределы. «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением этого — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их скость»¹⁾. Когда происходит описанное, тогда беллетристы начинают писать повести, подобные «Движениям». Но это еще не все: цитата из Маркса не закончена, — тогда происходит еще кое-что поважнее, чем изготовление беллетристических повестей: «Тогда наступает эпоха социальных революций», продолжает Маркс. Социальная революция была совершена менее чем через десять лет после

появления повести «Движения». Но Ценский не читал Маркса, в социальных вопросах он не искусен и социальной пролетарской революции признавать не хочет, что отражается весьма пагубно на его творчестве, увядающем на бесплодной почве буржуазного эпигонства.

Сергеев-Ценский — агностик и релятивист. «Каждая минута любой человеческой жизни — целый мир, неразрешимо сложный и темный, и что ни скажи о ней, — все будет не то» («Валя»). Откровеннее и прямее высказывает ту же мысль Дивеев: «Вообще я не знаю уж теперь, что на свете чепуха, что не чепуха... Потерял разницу...» (там же). Разуверившийся бунтарь Фрол отстаивает тезис универсально-аморального нигилизма, изболочив тем самым непримиримость противоречий, в которых запуталось буржуазное мышление. «Чем больше я думал, тем яснее казалось мне, что человек — злостное смещение божества и амфибии, что в его страданиях виновато его тело, что он только тогда перестанет страдать, когда будет бессмертен» («Верю»). В подобной субъективно-идеалистической «лирике» ничего, кроме софизма, не заключено, а результатом таких умозрений является «пассивизм», убеждение в бессцельности борьбы, примат непротivления. Мир призрачен, непознаваем и иллюзорен, мир — зыбкий вихрь констативно-злых и обманно-нежных верчений — вот к чему сводится «философия» Сергеева-Ценского. Столь раз'едающим скептицизмом насыщены не только прежние произведения Ценского, но и современные, как-то: «Преображение», «Поэт и поэт», «Поэт и чернь», «В грозу» и пр. На них мы и остановимся.

Тридцатилетие писательской деятельности Сергеева-Ценского протекало в обстановке небывалых исторических потрясений, притом вторая половина тридцатилетия совпала с выступлением на историческую сцену победившего в нашей стране пролетариата, строящего социализм. Но Сергеев-Ценский не замечает этого. Подобная «слепота» не проходит бесследно. Всё имеет свою логику. Художник, не желающий писать о классе-борце, о классе-жиздители, стоящем в центре мировых событий, уступает место другим, сворачивает с большой дороги

¹⁾ К. Маркс. Предисловие к «Критике политической экономии».

искусства. Ему остается топтаться на пыльных, унылых проселках. Таков удел! В наше время обострений социальных противоречий нет места для классового индифферентизма. Этот последний неминуемо смыкается с классовым антагонизмом, переливающимся в классовую враждебность. И это мы воочию наблюдаем в писательстве Ценского. Непримирым разрыв с советской действительностью переключается временами у Ценского в более или менее скрытую, может быть безотчетную, недоброжелательность, а созерцательная недоброжелательность переходит подчас в противоборство социалистическим мероприятиям.

Эпопея «Преображение» задумана на десять книг. Опубликованы пока две: «Валя» и «Обреченные на гибель». Книжки созданы после революции¹⁾, но сюжет развивается в обстановке предреволюционного прошлого. Отлично! Вскрыть эксплуататорскую сущность господствовавших классов — задача весьма благодарная. Однако автор занят не этим. Он поставил перед собою совсем иную цель: изображение семейного быта буржуазной интеллигенции. Замысел романа «Валя» не оригинален. Он сложился из суммы подражаний, с одной стороны, Достоевскому, а с другой — бельгийскому декаденту Жоржу Роденбаху, т. е. писателю реакционным, упадочным и пессимистичным. Дивеев почти полностью совпадает с героями Роденбаха. Он тоже архитектор, как и Борлютт («Звонарь»). Он тоже влюблен в умершую жену, как Виан («Мертвый Брюгге»). Он тоже верит в метемпсихоз. Он тоже живет не настоящим, а прошлым, он тоже смотрит сквозь призму своей прошлой любви, смотрит как бы из потустороннего далёка и всё примеривается к загробному миру, принося оттуда замгильный тлен и прах склепа.

Роман «Обреченные на гибель» (1923 г.) звучит более «современно»: в нем сквозит современная ненависть буржуазии к пролетарскому строительству. Здесь записаны от лица автора лихие откровения о «реформаторах», которые «порвали бы свои кабинетные потуги осчастливить страждущее от социальных

зол человечество...» Но об этих откровенно реакционных намеках скажем ниже. Покуда же остановимся на планах автора дать сатиру на предреволюционное искусство

Сергеев-Ценский начал, как декадент. «Декадентские кривляния Ценского (А. Г. Горнфельд) в течение долгого времени служил мишенью для разносторонних упражнений критики. С течением времени манерный, вычурный, надуманный стиль Ценского надоедает ему самому. Писатель вводит в свое литературное письмо элементы реализма, достигая в этом смысле крупных успехов. Впрочем, как мы показали выше (например, в отношении «Движений»), реалистическая манера письма не означала изменения мироощущения писателя. Повесть «Движения» столь же органична творчеству Ценского, как и все остальные произведения. Итак, осмеивая кубофутуристов, Ценский критикует их с позиций заматарелого архаиста, не понимая положительной роли протестантов, резко выступавших против старых форм быта и литературы. Да и средства, применяемые Ценским для иронического осуждения кубофутуризма и прочих моднейших предвоенных течений, достаточно бедны. К примеру, скажем, изображен в романе «Обреченные на гибель» в гротескных тонах студент Хаджи, читающий «Поэму конца». Мы знаем, что был и в самом деле такой поэт Василиск Гнедов, исполнявший в богемном кабаке «Бродячая собака» свою поэму — «Поэму конца». Оригинальность поэмы заключалась в том, что она была совсем без слов и ограничивалась одним ритмодвижением. Но в жизни Гнедов был куда смешнее и саморазоблачительней, чем поэт Хаджи у Ценского. Образ этот в романе крайне бледен. Остальные образцы, впрочем, стоят на том же невысоком уровне.

Штукарям предвоенных лет Сергеев-Ценский противопоставляет искусство маститого полнокровного мэтра Сыромотова. Образ Сыромотова сложен со специальной целью показать его триптих (единая картина в три последовательных полотна, или картина в трех частях). Первая часть триптиха изображает как бы смятенное движение буржуазии перед лицом надвигающейся грозы.

¹⁾ Первые главы романа «Валя» были напечатаны до революции.

Сыромолов нашел секрет разрешения живописности в сочетаниях недобрых, затаенных мужицких лиц, как составной части зловещего пейзажа, со всей композицией надвигающегося катаклизма. Второе полотно изображает самой грозой. Жуткий блеск молний рождает пугающую трепетность. Толпа крестьян убивает колющими красивых мужчин и женщин. На горизонте пылают заводы и усадьбы. Третья часть картины освещена широкой великолепной розовой радугой, под шатром радуги полная успокоенность.

Триптих весьма недвусмысленно вмещает три этапа революции. Март 1917 года и октябрь того же года аллегорически представлены на первых двух полотнах. Третья часть триптиха, естественно, развертывает перспективы победившего социализма. Художник изобразил под шатром блистательной радуги «широкий русский вид» крошечного запустения, с заросшими травой дорогами, с выжженными усадьбами, с полуобгорелыми заводами. Социализм — это «гармония» одиночания... «С десятков существ, никуда не идущих, совершенно безгрешных с виду, блаженных. Были почти наги, но, видимо, не стыдились; были почти люди, но в тусклых глазах ни у кого не светилось мысли... Несколько мужчин, чрезвычайно обросших, несколько женщин, простоволосых и растрепанных, и трое детей... На одной из женщин бархатная синяя юбка, но ничем не прикрыта загорелая спина и сухие груди. На одном из мужчин остатки бархатной же, но только коричневой куртки, и ничем не прикрыты волосатые костлявые ноги... Но на пальцах у всех много золотых колец, в ушах у всех женщин золотые серьги; на голой грязной, заросшей груди одного блистала золотая судейская цепь, и он оправлял ее корявой жилистой рукой...»

Не зачем напоминать читателю, откуда почерпнул Ценский приведенное описание «социалистического рая»: белогвардейская печать изощряется на этом поприще с первых же дней пролетарской революции. Ценский является в данном случае только несовершенным учеником своих зарубежных учителей. Не забыть, что выродившиеся существа, дегенераты, питомцы и жертвы социализма — «все были в ласковом розово-золотом сказочном свете радуги». Читатель должен понять,

что-де в ласковом свете большевизма происходит спокойное одичание остатков человеческой особи, питомцев социализма. Сергеев-Ценский не преминул показать и апостола этого учения — большевика Иртышова. В романе ему отведено не мало места. Полупсихопат, полупаразит, грубое, нечистоплотное животное, Иртышов — типичный «хам», тупица, эгоист, да к тому же и бесстыдный вымогатель. Имеется у Иртышова сын — хулиган, вор и вымогатель. Отец, профессиональный партиз, сознавая хулиганские и воровские замашки сынка, всё же противопоставляет его интеллигентам, заявляя «Да, именно хулиган и вор, вымогатель.. но все-таки он не такая труха, как вы!»

Клеветнически-злостный пасквиль на пролетарскую революцию и на партийцев-большевиков изготовлен Ценским совсем недавно: роман помечен 1923 годом, а вышел он отдельной книгой в 1929 г. Роман носит название «Обреченные на гибель». Кто обречен на гибель? — замысел автора ясен, не вызывает сомнений и не нуждается в комментариях.

После «Обреченных на гибель» должны последовать еще восемь романов из цикла «Преображение». Каков характер будущих романов, мы не знаем. Но, судя по тем отрывкам и этюдам, которые писатель счел возможным опубликовать, можно сделать заключение, что никакого движения вперед автором не сделано. «Капитан Коняев» составляет этюд к девятой книге «Преображения», иными словами, к предпоследней части, отведенной февральской революции. Массы представлены здесь революционным матросом, который тут же украл кожаный козырек с фуражки Коняева «и спрятал в карман на подметки» (sic!), а другие революционные матросы катались на автомобилях и, разумеется, с проститутками.

Весь этот клеветнический вздор мы уже не раз читали в белогвардейской литературной мазне.



Архаические приемы и ветхая «филоσοфия» Сергеева-Ценского выглядят в послереволюционных произведениях, как ненужный и вредный хлам. Время ли нынче, перед лицом совершающихся

грандиозных процессов, вновь и вновь назойливо изощряясь в «достоевщине», в гипертрофированном психологизме и прочей ветоши. Писатель и сейчас погружен в свои былые классовые настроения. Он глух к зову времени. Отрешенный от современности, он коснеет в трясине своих дореволюционных переживаний, отравленный ядами мистицизма, квиетизма, индивидуализма — ядами старой эстетики. Оскар Уайльд посвятил эффектный этюд Томасу Гриффитсу Уэйрайту, который был не только поэтом, писателем, парадоксалистом и художником, но ко всему был еще весьма искусным отравителем. Он отправил на тот свет нескольких родственников с целью получения наследства. Статья о Гриффитсе озаглавлена Уайльдом так: «Перо, карандаш и яд». Наши эпигоны дворянско-буржуазной литературы — тоже отравители: их перья загрязнены ядом, их писательская деятельность сочетается с деятельностью отравителя, но их яд действует более широко, нежели яды Гриффитса.

На наших глазах происходят социальные и экономические сдвиги, меняются характеры, складывается новый тип борца и строителя. Разве это не тема для художника-психолога? Вырастают в напряженных темпах гигантские хозяйственные сооружения. Разве они не дают материала для сложнейшего сюжета? Уход от современности может принять самые разнообразные формы, но результаты его неприемлемы для советской общественности и фатальны для автора. Писатели из числа последней дворянско-буржуазной литературы должны отчетливо усвоить, что советская общественность не потерпит фиксации в художественной литературе чуждой и враждебной идеологии.

Испробовав силы на революционном материале и убедившись в убожестве своих ресурсов, Сергеев-Ценский обратился к исторической тематике, пытаясь обработать мотивы жизни и гибели Лермонтова и Пушкина.

Николаевщина затравила Пушкина, видя в нем одного из «корифеев мятежа». В настоящее время не остается уж сомнений, что дуэль Пушкина была ловко подстроенной провокационной интригой, неприкрыто рассчитанной на убий-

ство поэта. В заговоре принимали участие власти, двор, высшее общество, тайная полиция — вся шайка царско-феодалных сатрапов, стоявшая на страже режима. Нашло ли это хоть малейшее отражение в романе «Поэт и поэт»? (1931 г.). Ничуть. Николаевщина решила применить испытанный способ разбойничьей расправы и по отношению к Лермонтову, к этому мятежному поэту, не скрывавшему своих антипатий. Убийца Мартынов, был лишь простым орудием в ловких руках придворной шайки. Не Мартынов, так нашелся бы другой доброволец-карьерист, слепой исполнитель классовых замыслов царского правительства, истреблявшего всех, кто был носителем опасного духа «крамолы». Что же написал об этом Сергеев-Ценский? В повести «Поэт и чернь» фальсифицируя объективно-историческую истину, Ценский в сотый раз пережевывает шовинистически-казенную жвачку о дурном, неуживчивом характере Лермонтова. Дескать, поэт изводил насмешками гордого Мартынова, оскорбленный Мартынов вынужден был вызвать поэта на дуэль и в честном поединке застрелил противника. Повесть «Поэт и чернь» способна вызвать возмущение рабочего читателя. Последний имеет все основания квалифицировать повесть, как произведение реакционное в полном смысле слова.

Вот рассказ «Старый полоз» (1927 г.). Рассказ написан искусно, местами не лишен художественности, но эта последняя служит старому миру и должна быть отнесена в инвентарь реакции. В столкновении большевика Семена с пастухами-чабанами симпатии автора всецело на стороне чабанов, хранителей патриархальных традиций. Нет и не может быть никакой близости между коммунистами и крестьянством — вот в чем идея рассказа. Семен — закаленный в гражданской войне командир — зарисован в образе злого хулигана, лютого и убежденного разрушителя. Могут ли такие строить социализм? К тому же в рассказе имеются смутные намеки на эксплуатацию большевиком Семеном темного бетонщика Петра. Если присоединить сюда высказывания чабанов-татар, что им, дескать, всё равно, что белые, что красные; и те и другие грабят крестьянство, то смысл рассказа станет отчетливо ясен.

Произведение «Старый полоз» написано врагом советской системы.

Не лучше и повесть «Вождь» (1927 г.), написанная в ироническом жанре. Но вот вопрос: к чему адресована ирония? что именно и кого должно это дискредитировать? Ирония, как полемический прием, демонстрирует свое отношение к осмеиваемому. Какая же идея стала мишенью осмеяния?

В рассказе показан «вождь» Генька. Он вол, хитер, жесток, эгоистичен. Он фальсификатор. Он презирает «толпу». Он подкупает ее подачками. Комического эффекта автор не достигает, и никогда таких вождей, как Генька, не бывает. Из него мог бы вырасти атаман шайки хулиганов или главарь банды. Вожди же должны обладать иными, совсем другими, качествами. Сергеев-Ценский не может подняться до осознания функций вождя и вождения масс. Иронизируя над вождем, Ценский разоблачил свои настроения неискоренимого и недалекого индивидуалиста. В творчестве Ценского обыкновенно отсутствуют массы. Такое выпадение не может пройти бесследно. Оно мстит за себя сурово и неукоснительно, разоблачая плоскую «социологию» автора, его озлобленную беспомощность и бессильную озлобленность.

В рассказе «Живая вода» (1927 г.) читаем: «Толпа не бьет, а казнит, и тот, кого она бьет, знает, что уж больше он не встанет». Толпа жестока и слепа. Человек в одиночку добр, отзывчив и гуманен. «Живая вода» — повествование о надклассовой гуманности. Толпа умертвила большевиков. Три женщины спасли одного из них. Любовь и жалость к человеку — живая вода, воскрешающая мертвецов, вот в чем смысл рассказа.

Но из кого состояла толпа убийц? и каков социальный паспорт женщин-спасительниц? Автор представляет дело так, что это была толпа крестьян. Но читатель достаточно искушен, чтобы внести корректив в сообщение Ценского и заметить: большевиков зверски замучили кулаки. Далее. Большевика Титкова «в овраге подобрали три бабы из соседнего хутора...» Беднячки? середнячки? кулачики? — неизвестно; автора это не интересует. Но далее сообщается, что у них «лошадей была пара, и лошади были сытые». Стало быть, кулачики? — что

и требовалось доказать: кулачики проявили «надклассовую» гуманность!

Повесть «Живая вода» имеет целью смешать в кучу и стереть классовые грани, показать «агломерат» крестьян, действующих единой толпой. Точно так же представлено дело и в повести «Жестокость», где вся деревня совокупно казнит представителей советской власти. Здесь оклеветаны и комиссары, и солдаты-фронттовики, и комбед, и ревком, и бедняки, и середнячество. Комиссары казнены мучительной смертью за поругание собственности. Инстинкт собственника опозитивирован и в лирической новелле «Благая весть», и в романе «Валя», и в других произведениях. Рассказ «Мелкий собственник» (1928 г.) утверждает идею изначальности собственнических побуждений. Человеку, дескать, присуще извечное тяготение к собственности, оно рождается вместе с человеком и владеет им до могилы.

Сергеев-Ценский не хочет видеть, что пролетарская революция нанесла уже буржуазной форме собственности смертельный удар. Сергеев-Ценский не знает, что вечная форма собственности — мышление метафизики, что имущественные отношения были постоянно подвержены исторической смене соответственно классовой структуре общества, что индивидуальная частная собственность является одной из поздних форм собственности, и что, наконец, буржуазная форма собственности, защищаемая Ценским, существовала не всегда.

Но Ценский ничего этого не знает. Или, может быть, не желает знать? Его мировосприятие недвижно. В сферу революции Ценский пришел с полным набором старого инструментария. Ценский уверяет, что люди неизменны в своих симпатиях, и сейчас они жестоки, эгоистичны, беспомощны в такой же мере, как и во все времена. Жизнь человечества осуждена на бесценную повторяемость из поколения в поколение («Младенческая память», 1926 г.). Революция не внесла в житейскую канитель никаких изменений, если не считать трюка аморализма, который привит молодому революционному поколению: «ничто уж не пугало теперь их, этих детей, и нигде и ни в чем уж не было для них никакой тайны» («В грозу» 1922 г.). Рассказ «В грозу» пропитан

тоскою о прошлом и недовольством советской действительностью. Знаменателен диалог Мушки с Ольгой Михайловной.

Мушка (к матери): «Не понимаю... Я не понимаю, а ты понимаешь? То говорили: «Грех, грех!» — а вот кругом убивают, и никакого греха...»

Ольга Михайловна: «Потому что не с кого спросить... И некому спросить, снимаешь?.. Некому! А со временем спросят!..»

Стало бытъ, за все, что совершила революция, некому спросить. Нет хозяина. А со временем спросят. Иными словами, придет хозяин и потребует отчета за экспроприацию помещичьих земель, за национализацию фабрик, за все «грехи» большевиков. Если принять в соображение, что *Мушка* и *Ольга Михайловна* идеализированы автором в качестве полноценных художественных положительных натур, то станет очевидным, что за реплику *Ольги Михайловны* должен нести полный ответ *Сергеев-Ценский*.

Нам остается подвести итоги и сделать запрашивающиеся выводы. *Сергеев-Ценский* не видит творческих сил революции. Массы, с его точки зрения, дики и в дикости своей стихийно стоят на страже старого порядка, частной собственности. Коммунисты — рвань, хулиганье, проходимцы. Вот большевик, цыган *Манолати*, сто раз битый (не за конокрадство ли?). Вот *Семен Подкопаев*, головорез и темная личность. Вот комиссар труда (*ряванец*), без имени и фамилии. Детство его и юность прошли, как у *Семена Подкопаева*, в зверском хулиганстве, воровстве и вымогательстве, а затем он стал заводским рабочим, «вполне прилично играл на билларде, играл на гармонике, играл в карты и пел: «Вставай, подымайся...» («Жестокость»). Революция для него — как «средство от скуки жизни» (буквально).

Оклеветавши комиссара труда, писатель взялся за комиссара продовольствия. На такое хлебное место *Ценский* не мог не посадить еврея. Еврей, согласно канонам черносотенного шовинизма, наделен ушами «как у летучей мыши», анекдотической грубостью, комичным акцентом и национальной глупостью. Третий

комиссар, латыш, натурально — чекист и, разумеется, туп, как заступ. — слепое орудие злокозненных сил: «Он действовал спокойно, как автомат, как гильотина на двух ногах». За ним следует татарин «с несколько бараньим выражением масляных глаз и с таким прочным лбом, что не страшна бы ему была и палка средней толщины; скорее разлететься вдребзги могла бы палка...» Далее следует тупой украинец, и, наконец, последний комиссар — потомственный интеллигент. Последний вызвал наибольшую злобу крестьян своею очевидною отчужденностью. Замысел автора сводится к тому, что у интеллигенции нет и не может быть ничего общего с массами. Этой проблеме *Ценский* посвятил в старое время повесть «Наклонная Елена» (1913 г.). Повесть дает историю «выпрямления» инженера *Матийца*. *Матиец* не может примириться с мыслью, что он орудие эксплуатации пролетариев в интересах буржуазии. Мучительные переживания ведут к полному психическому распаду. Но вот неожиданно приходит исцеляющее средство: в столкновении с пролетарием *Матиец* убеждается в непримиримости интересов интеллигенции с интересами рабочего класса. Колебания кончились, и кризис миновал. *Матиец* нашел стержень устойчивости и стал уравновешенным дельцом и ревностным исполнителем своих хозяев. Итак, социальная функция интеллигенции определяется служением буржуазии. Но вернемся к повести «Жестокость». Охавши крымских комиссаров, *Ценский* переходит к характеристике сельских властей. Председатель ревкома — полудиот, председатель комбеда — то же, а прочие два члена комитета бедноты — воры и профессиональные конокрады. Корпус большевиков пера *Ценского* будет неполон, если мы обойдем молчанием упомянутый выше этюд: «Капитан Коняев». В сумасшедшем доме сидели умалишенные эсдеки: «Они часто прятали столовые ложки, солонки, полотенца в целях социализации предметов домашнего обихода». Читатель догадывается, что неумный пасквиль написан на большевиков. Правда «социализация» серебряных ложек имела место только в зломысленной фантазии классовых врагов пролетариата. Но писатель не побрезговал и клеветническими измыш-

лениями, чтобы свести счеты с пролетариатом.

Классовое лицо Сергеева-Ценского достаточно ясно. Для довершения характеристики остановимся на отношении писателя к национальной проблеме. Черты великодержавного шовинизма сквозят на протяжении всего послереволюционного творчества писателя («В грозу», «Море», «Обреченные» и мн. др.). Кавказцы — жестокие лихонимцы, тупицы-украинцы, отталкивающие поляки, «мышиноглазые» армяне, «колчелобы» татары, «лопоухие восточные человеки», еврейки, с такими отталкивающими ужимками, — весь этот букет можно найти у Ценского. Писатель с каким-то злорадством коверкает язык татарина, грека, еврея, украинца, грузина.



Подведем итоговую черту. Полное отсутствие диалектико-материалистического подхода к действительности в творческом методе Сергеева-Ценского обрекает писателя на слепоту и переводит его на рельсы плоского «реализма», а односторонне подобранные писателем факты и пристрастная их группировка характеризуют Ценского, как кривого, однобокого наблюдателя. Асимметрия восприятий, непонимание современности, общественная отчужденность и враждебная настроенность замыкают перед писателем перспективные возможности. Инерция прежнего, дореволюционного периода, когда Сергеев-Ценский культивировал буржуазный символизм, сказывается в пессимистической оценке действительности и в примате иррациональности и фатализма.

Рабочий класс никогда не занимал Ценского и не составлял объекта его творчества. В предисловии к роману «Обреченные на гибель» автор предупреждает: «Три первые части эпопеи посвящены довоенным настроениям и переживаниям русского общества в различных его слоях...» Но вот опубликовано уже около семисот страниц эпопеи, а о рабочем классе и крестьянстве еще не сказано ни слова. Так какие же классы понимает писатель под «русским обществом в различных его слоях»? Выпадение рабочего класса в качестве носителя организованного про-

теста в творчестве дореволюционного Ценского и отсутствие пролетариата, могильщика старого строя и борца-строителя социализма, в послереволюционных произведениях усугубляется введением карикатуро-пасквильных фигур коммунистов и изборождением крестьянских масс в качестве банды озверевших людей. Все это никак иначе нельзя квалифицировать, как глубоко реакционные акты.

Сергеев-Ценский чаще всего уходит от современных тем. Но через индифферентную видимость сквозит достаточно явственно лицо буржуазного эпигона. Сергеев-Ценский ничего не позабыл и ничему не научился. В дореволюционное время он являлся выразителем интересов либеральной буржуазии, свернувшей после революции на путь открытой формы капиталистической диктатуры (фашизм). Но современный Ценский не позволяет себе ни малейшей крупницы критики современного буржуазного мира. А если к этому присоединить хроническое искажение советской действительности в творчестве писателя, то все это вместе дает достаточно четкий социально-политический эффект.

Сергеев-Ценский подчас апеллирует к человеколюбию. Надо понять, что в наше время «надклассовая» гуманность — не что иное, как более или менее удачно замаскированная форма симпатии к кулаку и к мировой буржуазии, с которыми у нас идет ожесточенная борьба не на живот, а на смерть. «Надклассовая» гуманность ведет к размагничиванию волевой энергии рабочего класса и колхозного крестьянства и способна вызвать вреднейшие иллюзии о классовом мире.

Сергеев-Ценский культивирует исторические темы. Надо понять, что уход от советской действительности составляет один из замаскированных путей неприятия действительности, бегства от нее и ее поправки.

Все вместе запечатлевает весьма неблагоприятные складки на творческом лице Ценского. Реакционные тенденции его пера достаточно проявлены, чтобы отнестись к его инвентарю враждебных сил СССР, тех сил, которые противостоят строительству социализма, тех сил, которые потерпели полное поражение и не имеют никаких надежд на возрождение.